ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК

6 1937

В НОМЕРЕ

ПАМЯТИ А. М. ГОРЬКОГО
И. Бродский, П. Максимов, И. Груздев, И. Гринберг, Письма А. Горького.

ПРОЗА: М. Горький, М. Козаков, Ал. Грин, Г. Гор, Л. Фридлянд.

СТИХИ: П. Тычина, М. Рыльский, В. Сосюра, И. Кулик, Л. Первомайский, И. Вырган, С. Голованивский.

В ДНИ ОКТЯБРЯ: С. Спасский.

ТРИБУНА: В. Канторович.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ: Р. Мессер, А. Экк.

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: А. Рыбасов.

Пров. 50

8521

ГОСЛИТИЗДАТ • ЛЕНИНГРАД

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

«РГПУ им. А.И. Герцена»
0008CF7D
Библиотека Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. ГЕРЦЕНА
8521.

ИЮНЬ • 1937

6

ЛЕНИНГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

М. Горький — Отрывок из 4 части романа „Клим Самгин“ 3

ПАМЯТИ А. М. ГОРЬКОГО

И. Бродский — Встречи с Горьким.... 14
Письма А. М. Горького к И. И. Бродскому, К. И. Чуковскому, В. М. Эйхенбауму, Л. Н. Войтоловскому ... 21
П. Максимов — Забытые письма..... 31
Илья Груздев — Четвертый том „Клима Самгина“ 33
И. Гринберг — Вера в человека 39
М. Козаков — Девять точек, кн. IV (продолжение) 55
Ал. Грин — Два рассказа 102
Геннадий Гор — Ланжеро (повесть)... 125
Л. Фридланд — Старики (рассказ) 168

ПОЭТЫ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

Павло Тычина, Максим Рыльский, Володимир Сосюра, Иван Кулик, Леонид Первомайский, Иван Вырган, Савва Голованивский — в переводах Н. Брауна, М. Комиссаровой, А. Прокофьева..... 181

В ДНИ ОКТЯБРЯ

С. Спасский — Ленин на Александровском заводе. Октябрь 202

ТРИБУНА

В. Канторович — Заметки журналиста 238

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Р. Мессер — Роман Натальи Гирей ... 254
А. Экк — „Возвращение“ Ф. Олесова. 265

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

А. Рыбасов — Мастер русского романа 270

КЛИМ САМГИН

ОТРЫВОК ИЗ IV ЧАСТИ

М. Горький

Новый, 1912 год Самгин встретил у Елены.

Собралось не менее полусотни человек. Были актрисы, адвокаты, молодые литераторы, два офицера саперного батальона, был старичок с орденом на шее и с молодой женой, мягкой, румяной, точно оладья; преобладала молодежь, студенты, какие-то юноши мелкого роста, одетые франтовато. В трех комнатах было тесно и шумно, как в фойэ театра во время антракта, но изредка, после длительных увещеваний хозяйки, одетой пестро и ярко, точно фазан, после криков:

— Внимание! Силенциа! Тише! Слово искусству! — публика неохотно закрывала рты, и выступали артисты, ораторы.

Маленькая, тощенькая актриса Краснохаткина, окутанная пурпуровым шелком, из-под которого смешно выскакивали козьи ножки в красных туфельках, подняв к потолку черные глазки и щупая руками воздух, точно слепая, грустно читала:

Мы плененные звери,
Голосим, как умеем.

Ей благодарно рукоплескали, она охотно согласилась петь дуэт с Ерухимовичем, у него оказался приятный, гибкий баритон, и вдвоем с Краснохаткиной он безнадежно просил:

О, ночь! Поскорее укрой
Прозрачным твоим покрывалом,
Целебным забвенья фиалом
Томимую душу тоской
Как матерь дитя успокой!

Снова хлопали ладонями, но раздались и протестующие голоса:

— Гос-спода! Почему так много грусти?

— Правильно! — крикнул аккомпаниатор, молодой, но сильно лысоватый человек во фраке, с крупным зеленым камнем в булавке галстука и с такими же зелеными запонками.

— Долой уныние!

Старичок с орденом, держась за свою седую, остренькую бородку, внушал молодежи:

— Мы встречаем 12-й год, год столетия победы нашей над

Наполеоном и армиями Европы, встречаем седьмой год представительного правления — не так ли? Мы сделали замечательный шаг, и уж теперь...

— Правильно!

— Веселее, дети.

— Хор!

— Дружественные отношения наши с Францией помешают нам достойно отметить знаменательную дату, — настойчиво говорил старичок, а молодежь потолкалась и, соединясь плотной кучей, грянула:

Из страны, страны далекой...

Ерухимович, не двигая ни единой чертою каменного лица, отчетливо выводил:

Р-ради славного труда,
Р-ради вольности веселой
Собрались мы сюда...

— Довольно! — крикнул, выскочив вперед хора, рыжеватый юноша в пенсне на остром носу. — Долой безграмотные песни! Из какой далекой страны собрались мы? Мы все — русские, и мы в столице нашей русской страны.

— Пр-равильно!

— «Быстры, как волны» — аккомпаниатор!

— Просим волны!

Человек, украшенный зелеными камнями, взмахнул головой и руками, ударил по клавишам, а Ерухимович начал соло, и Самгин подумал, не издевается ли он над людьми, выпевая мрачные слова:

Что час, то короче
К могиле наш путь!

— Ну, знаете, — закричал кто-то из соседней комнаты, — встречать новый год такими песнями...

— «Более, чем оригинально» — как сказал царь Николай Второй, — поддержали его.

Но Ерухимович невозмутимо пел:

Умрешь — похоронят, как не жил на свете,
Сгниешь — не восстанешь...

— Довольно! — закричали несколько человек сразу и особенно резко выделились голоса женщин, и снова выскочил рыжеватый, худощавый человечек, в каком-то странного покроя и глиняного цвета сюртучке с хлястиком на спине. Вертясь на ногах как флюгер на шесте, обнаруживая акробатическую гибкость тела, размахивая руками, он возмущенно заговорил:

— Стыдно слушать! Три поколения молодежи пело эту глупую бездарную песню. И — почему эта странная молодежь, принимая деятельное участие в политическом движении демокра-

тии, не создала ни одной боевой песни, кроме «Нагаечки» — песни битых?

— Браво!

— Замечательно сказано!

— Правильно-о, — подтвердил аккомпаниатор, с явной радостью.

— Браво!

Оратору аплодировали, мешая говорить, но он кричал сквозь рыбий плеск ладоней.

Выделился голос Ерухимовича:

— Вот ты бы, Алябьев, и взял на себя роль Руже де Лиля, вместо того, чтоб в «Сатириконе» обывателя смешить...

— Довольно споров!

— Соединимы ли пессимизм и молодость?

— Да! — крикнули в ответ ему. — Большинство самоубийц — молодежь...

— Довольно!

— Давайте, споем «Отречемся от старого мира».

— Попробуй, отрекись, болван, — проворчал Ерухимович, медные его глаза на вспотевшем лице смотрели в упор и точно отталкивали Самгина.

Нужно было сказать что-то этому человеку.

— У вас очень приятный голос, — сказал Самгин.

— А характер — неприятный, — ответил студент.

— Разве?

— Да.

— Груб и неумен, — решил Самгин, не пытаясь продолжать беседу.

«Марсельезу» не приняли, удовлетворились тем, что запели:

Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.

В комнате, где работал письмоводитель Прозорова, был устроен буфет, оттуда приходили приятно возбужденные люди, прожевав закуску, облизав губы, они оживленно вступали в словесный бой.

Шум возрастал, образовалось несколько очагов, из которых слова вылетали точно искры из костра. В соседней комнате кто-то почти истерически кричал:

— Долой проповедников духовной нищеты, ограничителей свободы, изуверов рационализма!

У рояля ораторствовал известный адвокат и стихотворец, мужчина высокого роста, барской осанки, седоволосый, курчавый, с лицом человека пресыщенного, утомленного жизнью.

Девятнадцатый век — век пессимизма, никогда еще в литературе и философии не было столько пессимистов, как в этом веке. Никто не пробовал поставить вопрос: в чем коренится причина этого явления? А она — совершенно очевидна: материализм! Да, именно — он! Материальная культура не создает счастья, не создает. Дух не удовлетворяется количеством вещей, хотя бы они

были прекрасные. И вот здесь — пред учением Маркса встает неодолимая преграда.

Ерухимович рассказывал на украинском языке игривый анекдот о столкновении чрезмерной деликатности с излишней скромностью. Деликатностью обладал благовоспитанный человек либерального образа мысли, а скромностью Ерухимович наградил историю одной страны. История была дамой средних лет, по профессии — тетка дворянской семьи Романовых, любившая выпить, покушать, но честно вдовствовавшая. Суть отношений скромности и деликатности сводилась к бессилию одного и недостатку инициативы у другой. Кончилось тем, что явился некто третий и весьма дерзкий, изнасиловал тетку, оплодотворил, и почувствовавшая себя исполнившей закон природы тетка сказала всем лишним людям:

— П-шли прочь, дураки!

Рядом с Климом Ивановичем покачивался на стуле длинный, тощий, гениально растрепанный литератор Орлов, «последний классик народничества», как он сам определил себя в анкете «Биржевых ведомостей». Глуховатым баском, поглаживая ладонью свое колено и дирижируя папиросой, он рассказывал молодой, скромно одетой и некрасивой актрисе на комические роли:

— Дураков выкармливают маком. Деревенской бабе некогда возиться с ребенком, кормить его грудью и вообще. Нажует маку, сделает из него соску, сунет ребенку в рот, он пососет и — заснул. Да. Мак — снотворное, из него делают опий, морфий. Наркотик.

— Все вы знаете, все! — Вздыхая, восхищалась женщина.

— А — как же иначе? Вон они, там, о марксизме рассуждают, а спросите их, как баба живет? Не знают этого. Книжники. Фарисеи!

Книжники за спиною Самгина искали и находили сходства между «Многообразием религиозного опыта» Джемса и «Философией мистики» дю-Преля. У рояля сердился знаменитый адвокат:

— Позвольте-с! Англичане Шекспира выдумали, а у нас, вот, Леонид Андреев.

В соседней комнате кто-то очень веселый обещал:

— Подождите! Вздуют итальянцы турок, будут соседями нам в Черном море, откроют Дарданеллы...

— Потом — мы вздуем их...

— А — что вы думаете? Возможно!

К Самгину подошла Елена, спросила, шопотком и улыбаясь:

— Не скучно?

— Нет.

— Это вы — искренно?

— Вполне.

Погрозив ему пальцем, она взглянула на часы.

— Пора садиться за стол.

Адвокат и стихотворец, ловко взяв ее под руку, внушительно говорил кому-то через плечо свое:

— События конца японской войны и 5—7-го годов показали нам, что мы живем на вулкане, да-да, на вулкане-с!

Стол для ужина занимал всю длину столовой, продолжался в гостиной, и, кроме того, у стен стояло еще несколько столиков, каждый накрыт для четверых. Холодный огонь электрических лампочек был предусмотрительно смягчен розетками из бумаги красного и оранжевого цвета, от этого теплее блестело стекло и серебро на столе, а лица людей казались мягче, моложе. Прислуживали два старика лакея во фраках и горбоносая, похожая на цыганку, горничная. Елена Прозорова, стоя на стуле, весело командовала:

— Дамы выбирают места и кавалеров.

— Не справедливо! На каждую приходится по два и даже, кажется, с лишком.

— А куда лишек?

— Найдется место.

— Под столом?

— Прислуги мало — призываю к самодеятельности, — кричала Елена, а Самгин соображал:

— Женщины — не уважают ее: певичка, любовница старика. Но она хорошо держится.

Металлический шум ножей и вилок, звон стекла как будто еще более оживил и заострил слова и фразы. Взмахивая рыжей головой, ораторствовал Алябьев:

— Представительное правление несовершенно, допустим. Но пример Германии, рост количества представителей рабочего класса в рейхстаге, неопровержимо говорит нам о способности этой системы к развитию.

— Это — вне спора, — крикнул кто-то.

— Германия будет первым социалистическим государством мира.

В стеклах пенсне Алябьева сверкали рыжие огоньки.

— Представительное правление освобождает молодежь от необходимости заниматься политикой. Политика делает Фаустов Дон-Кихотами, а человек по существу своему — Фауст.

— Правильно, — сказал аккомпаниатор, сидевший против Самгина, тщательно намазывая кусок ветчины, сказал и несколько раз одобрительно, с улыбкой на румяном лице, кивнул гладко причесанной головой.

Соседями аккомпаниатора сидели с левой руки — «последний классик» и комическая актриса, по правую — огромный, толстый поэт. Самгин вспомнил, что этот тяжелый парень еще до 905 года одобрил в сонете известный, но никем до него неодобряемый, поступок Иуды из Кариота. Память механически подсказала иудино дело Азефа и другие акты политического предательства. И также механически подумалось, что в XX веке Иуда весьма часто является героем поэзии и прозы, героем, которого объясняют и оправдывают.

— Тор Гедбер, Леонид Андреев, Голованов, какая-то шведка,

немец Драйзер. — думал он, потому что слушать споры было скучно, думал и присматривался к людям.

Рядом с поэтом нервно подергивался, ковыряя вилкой сига и точно собираясь выскочить из-за стола, рыжий Алябьев, толкая солидную даму, туго зашитую в сиреневый шелк. Она уговаривала соседа:

— Не толкайтесь, Митя!

Чмокая губами, сосед Самгина раздумчиво говорил в ухо ему:

— В нашем поколении единомыслия больше было... Теперь люди стали... разнообразнее. Может быть, свободомысленней, а? Выпьемте английской горькой...

Пили горькую, пили еще какую-то хинную, и лысый сосед, тоже адвокат, с безразличным лицом, чернобровый, бритый как актер, поучал:

— При диабете полезен коньяк, при расстройстве кишечника — черносмородиновая.

Ерухимович читал стихи, голос его звучал комически уныло, и когда он произнес, со вздохом:

Велико, ваше величество,
Вашей глупости количество!

— половина стола отрадно захохотала.

— Не много нужно им, — соображал Самгин.

— Тише! — крикнул кто-то.

Часы над камином начали, не торопясь и уныло, похоронный звон истекшему году. Все встали, стараясь не очень шуметь. И пока звучали двенадцать однообразных нот пружины, Самгин подумал, упрекая себя:

— Прошел еще год бесследно...

Закричали ура, зазвенели бокалы, и люди, как будто действительно пережив тяжелую минуту, оживленно поздравляли друг друга с новым годом, кричали:

— Речь! Господа, — просим Платона Александровича... Речь!

Известный адвокат долго не соглашался порадовать людей своим талантом оратора, но, наконец, встал, поправил левой рукой полуседые вихры, утвердил руку на жилете, против сердца, и высоко подняв правую, с бокалом в ней, начал фразой на латинском языке, — она потонула в шуме, еще не прекращенном.

— ...сказал Марк Аврелий. То же самое, но другими словами говорил Сенека, и оба они повторяли Зенона...

— Так ты бы с Зенона и начал, — пробормотал Ерухимович.

Глаза Платона Александровича, большие, красивые точно у женщины, замечательно красноречивы, он владел ими так же легко и ловко, как языком. Когда он молчал, — глаза придавали холеному лицу его выражение разочарованности, а глядя на женщин, широко раскрывались и как бы просили о помощи человеку, чья душа устала, истерзана тайными страданиями. Он пользовался славой покорителя женщин, разрушителя семейного счастья, и когда говорил о женщинах, лицо его сумрачно хмурилось, синеватые зрачки темнели и во взгляде являлось нечто

роковое. Теперь, говоря о философах моралистах, он прищурился и зажег в глазах надменную улыбочку, очень выгодно освещая ею покрасневшее лицо.

— Я прошу простить мне этот экскурс в область философии древнего мира. Я сделал это, чтоб напомнить о влиянии стоиков на организацию христианской морали.

Маленькая лекция по философии угрожала разрастись в солидную, Самгину стало скучно слушать и несколько неприятно следить за игрой лица оратора. Он обратил внимание свое на женщин, их было десятка полтора, и все они как бы застыли, очарованные голосом и многозначительной улыбочкой красноречивого Платона.

Все, кроме Елены. Буйно причесанные рыжие волосы, бойкие, острые глаза, яркий наряд выделял Елену как чужую птицу, случайно залетевшую на обыкновенный птичий двор. Неслышно пощелкивая пальцами улыбаясь и подмигивая, она шопотом рассказывала что-то бородатому толстому человеку, а он, слушая, вздувался от усилий сдержать смех, лицо его туго налилось кровью, и рот свой, спрятанный в бороде, он прикрывал салфеткой. Почти голый череп его блестел так, как будто смех пробивался сквозь кость и кожу.

— Не считается с модой. И — с людьми, — одобрительно подумал Самгин.

— И вот, наконец, мы видим, что эти вековые попытки ограничить свободу роста души привели нас к социализму и угрожают нам страшной властью равенства. Господа! Мы все здесь — благодарение богу! — неравны. Я уверен, что никто из вас не желает повторить меня, так же как я не хочу повторять кого-либо из вас, хотя бы это некто был гениален. Мы все разнообразны, как цветы, металлы, минералы, как все в природе, и каждый из нас скромен в своем своеобразии, каждому дорога его неповторимая индивидуальность. Мой новогодний тост за разнообразие индивидуальностей, за свободу развития духа.

— Аминь, — густо сказал Ерухимович, но ироническое восклицание его было погашено, хотя и не очень дружным, но громким — ура. Адвокат, выпив вина, вызывающе посматривал на Ерухимовича, но тот, подливая в бокал шампанского красное вино, был всецело занят этим делом. Вскочил Алябьев и быстро, звонко начал:

— Я приветствую прекрасную речь многоуважаемого учителя и коллеги, но, приветствуя, должен...

Осталось неизвестным, что именно и кому он должен, ибо все уже охмелели и всем хотелось говорить.

— Комиссаржевскую перехвалили...

— Боже мой! Вы говорите что-то ужасное... Ее — не поняли, и — я вижу — все еще не понимают...

— Жорес уверен, что немецкие рабочие не позволят воевать...

— А — рабочие уверены в этом?

— Комиссаржевская — актриса для романтической драмы и

погибла, не досказав себя, оттого, что принуждена была тратить свой талант на реалистические пьесы. Наше искусство губит реализм.

— Ах, это верно! Это несчастие страны...

Ерухимович, пронзая воздух вилкой, говорил, мрачно нахмурясь:

— В макрокосме — кометы, в микрокосме — бактерии, микробы, — как жить нам, людям? А? Я спрашиваю: как жить?

— Это — балагурство! — закричал ему Алябьев, а Ерухимович спросил, оглядываясь вокруг:

— Разве?

Вмешался старичок с орденом, почти крикнув командующим тоном:

— Это — верно, верно! Болезни растут, да, да! У нас в министерстве финансов — за истекший год умерло...

Его дама напомнила:

— Но, ведь, всё старики...

И тотчас поправилась:

— Гораздо старше тебя.

Какой-то белобрысый молодой человек застонал, точно раненый заяц.

— Боже мой! До чего мы бедны идеями... Где у нас орлы?

И кто-то, высунув голову из-за портьеры, обиженно возразил:

— А — Мережковский? Лев Шестов? Василий Васильевич Розанов?

— Н-да, — медленно, как сквозь дремоту, бормотал сосед Самгина. — Личность. Двигатель истории.

— У англичан Шекспир, Байрон, Шелли, наконец — Киплинг, а у нас — Леонид Андреев и апология босяков, — внушал известный адвокат.

— Но — это от Достоевского, от его «униженных и оскорбленных»...

— Наши литераторы не любят свою родину, ненавидят Россию...

Постепенно сквозь шум пробивался и преодолевал его плачущий, визгливый голос, он притекал с конца стола, от человека, который, покачиваясь, стоял рядом с хозяйкой, — тощий человек во фраке с лысой головой в форме яйца, носатый, с острой серой бородкой, — и потрясая рукой над ее крашеными волосами, размахивая салфеткой в другой руке, он кричал:

— Стыд и срам пред Европой! Какой-то проходимец, босяк, жулик, Распутин хвастает письмом царицы к нему, а в письме она пишет, что ей хорошо только тогда, когда она приклонится к его плечу. Царица России, а? Этот шарлатан называет семью царя — мои, а?

— О Распутине существуют разные мнения...

— Не одни русские цари приближали к себе шутов, чудаков, блаженных...

— Нет, подождите! За ним ухаживают придворные, его слушаются министры, — а?

Кричал он так раздраженно и плачевно, как будто Распутин — обидел лично его, занял его место. На него уже шипели, кто-то крикнул:

— К чорту Распутина...

Но он всё взвизгивал, выл. Самгин почувствовал, что его плеча коснулась чья-то рука. Это — Елена.

— Милый Клим Иванович, скажите что-нибудь. Вас мало знают и будут слушать. Нужно прекратить этот кавардак. Уберут столы, потанцуем... Да? Пожалуйста.

Самгин, незаметно для себя, выпил больше, чем всегда позволял себе. У него приятно шумело в голове, и еще более приятно было сознавать, что никто из этих людей не сказал больше, чем мог бы сказать он, никто не сказал ничего, что не было бы знакомо ему, продумано им. Он — богаче. Он — сильнее. И не требуется особенной храбрости, чтоб выступить пред ними. Над столом колебалось сизое облако табачного дыма, в дыму плавали разнообразные физиономии, светились мутноватые глаза и всё вокруг было туманно, мягко, подобно сновидению. Он встал, позвенел вилкой о бокал и, не ожидая, когда люди несколько успокоятся, начал говорить, как говорил на суде, сухо, деловито.

— Господа! Из всего, что было сказано здесь, самое значительное это слова о Фаусте и Дон-Кихоте. Тема — издавна знакомая нам, тема Тургенева. Но здесь ее поставили иначе, так, как давно следовало поставить. Да, нас воспитывают Дон-Кихотами. Начиная с детства, в семье, в школе, в литературе нам внушают неизбежность жертвенного служения обществу, народу, государству, идеям права, справедливости. Единственная перспектива, которую вполне четко и ясно указывают нам, это — перспектива библейского юноши Исаака — жертва богам отцов, жертва их традициям...

Чувствуя, что шум становится все тише, Клим Иванович Самгин воодушевился и понизил голос, ибо он знал, что на высоких нотах слабоватый голос его звучит слишком сухо и трескуче. Сквозь пелену дыма он видел глаза, неподвижно остановившиеся на нем, измеряющие его. Он ощутил прилив смелости и первый раз за всю жизнь понял, как приятна смелость.

— Вы знаете, что Исаак был заменен бараном. В наши дни баранов не приносят в жертву богу, с них стригут шерсть или шьют из овчины полушубки. Но к старым идолам добавлен новый — рабочий класс, и вера в неизбежность человеческих жертвоприношений продолжает существовать. Я не ставлю и не решаю вопроса: осуществим ли социализм посредством диктатуры пролетариата, как учит Ленин. Этот вопрос вне моей компетенции, ибо я не Дон-Кихот, но, разумеется, мне очень понятна мысль уважаемого и талантливейшего Платона Александровича, чувство, высказанное в словах о страшной власти равенства. Я говорю о том, что наш разум, орган пирронизма, орган Фауста, критически исследующего мир, — насильственно превращали в орган веры. Но вера, извлеченная из логики, лишенная опоры в чувстве, ведет к расколу в человеке, внутреннему раздвоению

его. Именно отсюда, из этого раскола возникают качества, характерные для русской интеллигенции: шаткость, непрочность ее принципов, обилие разноречий, быстрая смена верований.

Клим Иванович Самгин был убежден, что говорит нечто очень оригинальное и глубоко свое, выдуманное, выношенное его цепким разумом за все время сознательной жизни. Ему казалось, что он излагает результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», красиво, с блеском. Увлекаясь своей смелостью, он терял привычную ему осторожность высказываний и, в то же время, испытывал наслаждение мести кому-то.

— Из этой шаткости основного критерия, мы получаем такие факты, как смену марксизма Петра Струве его нео-славянофильским патриотизмом, смену его «Критических заметок» сборником «Вехи», разложение партии социал-демократов на две враждебные фракции, провокатора в центральном комитете партии террористов и вообще обилие политических провокаторов, обилие фактов предательства...

Он не мог продолжать речь свою, публика устала слушать и уже всё чаще раздавались хмельные восклицания:

— Ваш Дон-Кихот и Фауст — бог и дьявол Достоевского...

— Правильно.

— В семидесятых годах признавали действующей силой истории — личность...

— А когда полсотни личностей было повешено...

— Вы говорите пошлости!

— Почему — пошлость?

— Через двадцать лет начали проповедывать, что спасение — в безличной воле масс...

— Правильно!

— Позвольте: что — правильно?

— Господа! Скажем спасибо оратору...

Десятка полтора мужчин и женщин во главе с хозяйкой дружно аплодировали Самгину, он кланялся, и ему казалось: он стал такой легкий, что рукоплескания, поднимая его на воздух, покачивают. Известный адвокат крепко жал его руку, ласково говорил:

— Я — восхищен. Такие зрелые мысли...

Носатый человек во фраке почти истерически кричал на аккомпаниатора:

— Вы пятьдесят раз провозглашали правильно, а — что?

Последнее, что Самгин помнил ясно: к нему подошла пьяненькая Елена и, взяв его под руку, сказала:

— Я в политике ни черта не смыслю, но вы, милый мой, превосходно отделали их... А этот Платон — вы ему не верьте. Он — дурак, но хитрый. И — сластоежка. Идемте, сейчас я буду развлекать публику.

Она стояла около рояля, аккомпаниатор играл что-то задорное, а она еще более задорно пела, сопровождая слова весьма рискованными жестами, подмигивая, изгибаясь точно кошка, вскидывая маленькие ноги из-под ярких юбок.

Да, пожить умела я!
Где ты, юность знойная?
Ручка моя белая?
Ножка моя стройная?

— Бр-раво-о! — кричала публика, заглушая звонкий, развеселый голосок.

Пиф-паф! Раздался
Ритурнель кадрили.
Пиф-паф! Вдруг меня
Всю воспламенили!

— Божественно-о! — рыдающим голосом крикнул кто-то.

Пиф-паф! Жизнь моя!
Пиф-паф! Знаю я
Кой-кого немного,
Да, немножко знаю я!

Старичок с орденом масляно хихикал и бормотал:
— Неувядаема! Ах, боже мой...

Франтику с картинки
Любо будет мне
Кончиком ботинки
С носа сбить пенсне —

— и нога ее взлетела в уровень плеча.

Под впечатлением этой специфически волнующей песенки Самгин шел домой и, проснувшись после полудня, тотчас же вспомнил ее.

Через день, в кабинете Прозорова, где принимал клиентов и работал Самгин, Елена, полулежа с папиросой в руке на кожаном диване, рассказывала ему:

— А вы здорово клюкнули, на встрече. Вы — очень... свежий. И — храбрый.

Он подошел к ней, присел на диван, сказал, как мог ласково:

— Вы очень хорошо спели, вы Беранже!

— Да? Приятно, что вам понравилось.

Легла удобнее и сказала, подмигнув, щелкая пальцами:

— Это у меня — вроде молитвы. Как это по-латински? Кредо квиа абсурдум, да? Антон терпеть не мог эту песню. Он был моралист, бедняга...

ПАМЯТИ А. М. ГОРЬКОГО

ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

И. И. Бродский

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВА

Впервые о писателе Горьком я услышал в 1898 году, когда вышло двухтомное собрание его нашумевших рассказов.

Как-то в Одессе, где я учился тогда в рисовальном училище, сидя на бульваре, мне пришлось выслушать разговор двух „босяков" о Горьком. С особой „босяцкой" гордостью они заявляли, что Горький „тоже из босяков", и что это „наш человек", и что, вообще, мол, „знай наших", „босяков". При этом они рассказывали о „своем Максиме" много фантастических историй и небывалых приключений, которые сильно рассмешили Алексея Максимовича, когда я при первой своей встрече с ним рассказал ему о неведомых его друзьях из одесского ночлежного дома.

С Алексеем Максимовичем Горьким я познакомился впервые в 1910 году во время своей первой поездки в Италию. Встретились мы случайно, на пароходе. Познакомились. Нас, группу молодых художников, пенсионеров Академии (в Италию ехали я, Прохоров, Печаткин, Шлейн и др.), Алексей Максимович пригласил к себе на Капри. Там вскоре мы договорились все вместе писать его портрет.

Вспоминается один любопытный эпизод. После сеанса Алексей Максимович обычно внимательно рассматривал начатые нами работы. Подойдя к моему холсту, он быстро окинул взглядом сделанный мною набросок и живо воскликнул:

— Ну, этот жарит под Бродского!

Каково же было потом его удивление, когда быстро выяснилось, что и есть работа самого Бродского. Оказалось, что, когда мы представлялись друг другу, Алексей Максимович не расслышал полностью моей фамилии, и теперь был очень обрадован и уже вторично, выражая мне свое удовольствие, стал знакомиться со мною. Всех нас тогда поразила зоркость глаза Алексея Максимовича, сумевшего с первого взгляда разгадать творческую манеру молодого художника, работы которого были, вероятно, ему знакомы только по журнальным воспроизведениям. Уже этот один факт убедительно говорит об огромной заинтересованности Горького в живописном искусстве и о том большом внимании, которое он уделял нашему творчеству.

Позировал Алексей Максимович хорошо, без всякого напряжения, не отвлекаясь, хотя сам считал себя очень „непоседливой натурой". Писать, любуясь его замечательной головой, как бы расчетливо высеченной гениальным скульптором, было большим наслаждением.

Сам он очень любил наблюдать за нашей работой. Он серьезно мне говорил, что завидует нам, художникам, и что его мечта научиться живописи. Его всегда интересовало, *как* мы пишем, он вникал в технику нашей работы и часто, с большим интересом, прослеживал весь процесс создания картины. Помню, как во время моей работы над одним пейзажным этюдом, в страшную жару, когда краски, расплавленные солнцем, стекали с холста, Алексей Максимович ни на шаг не отходил от моего мольберта до тех пор, пока я не сделал последнего мазка и не сложил кисти.

Подарить Алексею Максимовичу картину значило доставить ему много радости. Он долго благодарил и в письмах и при встрече — и всегда горячо и искренне. Однажды я послал ему свой этюд как память о нашей встрече.

„За подарок Ваш — восторженно благодарю, — писал он мне. — Вы знаете, как я люблю Вас и как велика для меня радость иметь еще Вашу вещь. Спасибо, милый, большое спасибо! В свою очередь я тоже что-нибудь сделаю Вам своей рукой". Нужно ли доказывать, что художественные симпатии Горького были на стороне реалистической школы живописи. Он сам был художником-реалистом огромной, почти исполинской силы, большим и страстным жизнелюбцем. Все то, что в искусстве уродовало, извращало, обкрадывало живую жизнь, ее формы и краски, было глубоко ему ненавистным. И в живописи, как и в литературе, он был до конца непримирим к тем, кто юродствовал, прикидывался нищим и убогим, нарочито фальшивил и кубиками и квадратиками пытался замаскировать свое убожество и нищету таланта. Но как он сильно умел любить тех, кто, как и он, поклонялись жизни, воспевали ее здоровые силы и умели воплощать ее в ярких и правдивых формах.

Из своих современников Алексей Максимович как-то по-особенному нежно любил Репина и Серова. С ними он был в большой, неразрывной дружбе, и все, созданное руками этих мастеров, расценивал необычайно высоко. В письмах ко мне он часто признавался в любви к этим навсегда дорогим и для меня именам:

„... Следует, чтобы он заглянул на остров Капри. Необходимо это! А то я огорчусь, сойду с ума, ослепну, оглохну и заболею чумой. Очень я его люблю, крепкий он человечище и художник божий", — это о Валентине Александровиче Серове.

„... Как бы хорошо было мне, отшельнику, иметь перед глазами кусок Репинского полотна!" — это в другом письме.

Оторванный от родины, в изгнании, живя в Италии, Алексей Максимович особенно загорался, говоря о своей любимой стране, о ее людях, о ее талантах.

Каждого, в ком он видел хоть долю талантливости, он в восхищении приветствовал, всячески помогал и помнил о нем.

Высокая оценка Алексеем Максимовичем моего творчества всегда была для меня стимулом к большой творческой работе.

Он сильно любил жизнь, природу, людей, — и этой любовью, работая рядом с ним, наполнялся и я.

Памятны и дороги мне слова Алексея Максимовича в одном из его писем ко мне.

Он пишет: „Жалко мне, что „Фонтан“ куплен частным лицом, а не музеем. Такая это ясная вещь и так хорошо было бы постоять перед нею полчаса где-нибудь в хорошей галлерее, постоять и подумать о детях, о весне, о радостях жизни.

В творчестве Вашем для меня самая ценная и близкая мне черта—Ваша ясность, пестрые как жизнь краски и тихая эта любовь к жизни...“

У многих из нас Алексей Максимович пробудил глубоко заложенные творческие силы, окрылил дружеским одобрением и заставил работать. Некоторым моим товарищам по Академии он оказывал материальную помощь. Часто он приобретал картины молодых художников, главным образом, из желания помочь им.

Страсть к коллекционерству была у него в крови. Он долго увлекался собиранием старинных монет, я сам ему в этом энергично помогал.

По своей широчайшей эрудиции он был выдающимся нумизматом,—с его определениями считались работники крупнейших европейских музеев. С не меньшей тщательностью Алексей Максимович пополнял свое собрание живописи. Много хороших работ было подарено им Горьковскому музею его имени. Будучи выслан в Арзамас, он сумел там собрать значительное количество произведений учеников академика Ступина (учителя Перова), картины так называемой „Арзамасской школы“, очень мало представленной в Третьяковской галлерее и Русском музее.

Дружба Алексея Максимовича с финским художником Галленом как бы закрепляла тесные связи его не только с русским изобразительным искусством, но и с творчеством других народов,—делала их интернациональными. Со всей ясностью понимал Алексей Максимович крупную роль живописи, которую любил как художник, и хотел „заставить каждого полюбить живопись, понять ее великое, культурное значение для России“ (из письма ко мне).

В 1911 году я был награжден за картину „Сказка“ юбилейной премией Общества поощрения художеств, давшей мне возможность снова поехать в Италию и снова увидеть Горького. В письмах Алексей Максимович сильно уговаривал меня поскорей покинуть Россию, расстаться „с Петербургской Его Императорского Величества грязью“ и приехать к нему, в Италию, в „уездный город Капри“.[1]

„Очень рад буду видеть Вас, потому что люблю, полагаю, что и Вам здесь было бы лучше, чем в ином месте. Спокойней, чем на святой Руси, теплее и красивее—не так ли?—писал он мне. — А у Вас там целое лето будут лить дожди, каждый день будете Вы читать газету, а в ней ежедневно—шестнадцать самоубийств...“

В том же письме, в приписке к жене, он звал нас к себе такими словами, что устоять, пожалуй, было трудно:

---

[1] У меня сохранилась фотография Алексея Максимовича с надписью: „Милому и любимому Исааку Израилевичу от известного конькобежца М. Горького. Уездный город Капри. 1910 г.“.

„Приезжайте. Исаак! Вы, я, Горелов—все будут писать красками, чернилами, на холсте, на бумаге—на земле. Мы ее несчастную красавицу, замученную и захватанную всякими пошлыми и грязными лапами, так распишем—не земля, сказка будет...“

И вот—я снова в Италии. С Алексеем Максимовичем встретились мы на этот раз уже как старые друзья, и я еще теснее сблизился с ним.

Помнится, в то лето, на Капри, чудесной лунной ночью мы долго гуляли с ним, и он много и замечательно мне рассказывал о своей скитальческой молодости. С упоением, как увлекательную сказку, я слушал его рассказы и очень жалел потом, что тотчас же не записал ничего из услышанного.

В первый же день моего приезда Алексей Максимович „угостил“ меня „Тарантеллой“. Вместе с ним мы направились вечером в кабачок, расположенный на горе Монта Тиберия. С невиданным мастерством хозяин кабачка со своей племянницей отплясывали „Тарантеллу“, и, главным образом, этим было популярно сие винное предприятие. Зрелище было необычное: я любовался сразу и тем, как замечательно танцует эта пара, и тем, как упоенно следит за ней восхищенный ярким проявлением народного творчества Алексей Максимович.

На Капри хорошо знали все Горького. Его любили дети, всегда окружавшие его, с ним дружили рыбаки, с которыми он не раз выезжал в море. Помню замечательный случай, о котором много тогда писали итальянские газеты и долго вспоминали каприйцы. Вместе с Алексеем Максимовичем мы (не помню, был ли еще кто-нибудь из русских художников) купались в море. Уже подплывая к берегу, вдруг увидели, что совсем недалеко, в море, всего лишь в нескольких метрах от нас, „резвится“ акула. Первыми ее заметили рыбаки, которые, находясь в лодке, тянули сети, наполненные рыбой. На эту добычу, не опасаясь людей, устремилась акула, и уже через несколько секунд лодку вместе с богатым уловом и рыбаками уносило в море. Первым чувством было желание крикнуть людям, чтобы они бросались в воду и плыли к берегу, оставив хищнице на съедение весь свой улов. В ту минуту не растерялся, пожалуй, один Алексей Максимович. Я даже не заметил, как он очутился в лодке и стал отражать нападение акулы. Лодку уносило все дальше, но с берега было видно, как рыбаки, руководимые Горьким, энергично били веслами по голове акулы. Окончательно добить хищницу им удалось уже далеко в море, и только через несколько часов бесстрашные охотники вернулись на берег, волоча за собой на буксире побежденного врага. В нашем присутствии акулу тотчас же распотрошили, сняли кожу, „разобрали“ ее внутренности, из которых сердце—огромный живой ком мяса—рыбаки преподнесли Алексею Максимовичу.

Кажется, в течение двух часов не замирало биение сердца убитой акулы. Весь, казалось, уже мертвый организм этого животного, все его внутренние органы—сердце, легкие, печень—еще долго жили, пульсировали, сокращались, как и все тело, уже лишенное своего покрова. Было странным наблюдать эту загадочную „жизнь после смерти“, и все мы долго любовались невиданной жизненной силой убитого животного. Помню, после этого Алексей Максимович долго рассказывал нам о жи-

вотном мире, о живых организмах, о многих новых научных открытиях, о которых мы бы, пожалуй, прочли не скоро.

Как память обо всем этом эпизоде с акулой, у меня сохранилась фотография, на которой каприйский фотограф разместил всех нас (одиннадцать человек) вдоль длинного тела акулы, распластанного на песке у наших ног.

В то же лето, помнится, Алексей Максимович уговорил меня поехать с ним в Неаполь, в театр оперетты, смотреть „Графа Люксембурга". Итальянских комиков он считал самыми лучшими в мире, и ему доставляло большое удовольствие видеть их игру даже в бессодержательном опереточном фарсе. Опоздав к началу, мы появились в ложе к концу первого действия. Приезд Горького едва не нарушил спокойного течения пьесы. Публика быстро узнала писателя, и все взоры устремились к нашей ложе. Кое-кто стал громко приветствовать каприйского изгнанника. Не желая быть виновником срыва спектакля, Алексей Максимович быстро покинул театр, предварительно извинившись перед труппой.

Широкая популярность Горького в те годы часто была для него тягостной: заедала расейская пошлость, которая настигала его и вдали от родины.

... Опершись на перила террасы, мы вместе любовались удивительными пейзажами Капри. Внизу по улице шли группой туристы, каждый с биноклем, направленным к Алексею Максимовичу. Это были русские путешественники, укороченным и дешевым маршрутом совершающие поездку по Европе. Как одну из достопримечательностей, они осматривали Горького. Такие группы приезжали на Капри часто. Завидя Алексея Максимовича, как бы заранее условившись, нестройным хором они обычно запевали:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...

Эта песня часто раздавалась под окном горьковского дома. Всегда, когда приезжали организованные экскурсии русских. Вначале такая несколько необычная форма выражения своего сочувствия казалась забавной Алексею Максимовичу, но вскоре, когда обнаружился срепетированный энтузиазм исполнителей, ему быстро приелись и стали неприятны эти „концерты".

— Ах, до чего надоело!.. Мешают только работать,—сказал он, заслышав первые звуки песни...

... Как-то перед началом очередного сеанса (я делал тогда зарисовки для нового портрета) Алексей Максимович задержался у себя в кабинете и появился на террасе с некоторым опозданием против условленного часа.

— А я зарезал женщину,—как бы в оправдание сказал он мне.— И знаете, очень удачно. Хорошо. Мне даже самому понравилось. Очень хорошо зарезал...

Лицо его было серьезным, а глаза смеющиеся. Невольно я подивился такому спокойному настроению человека, только что совершившего убийство.

— Обязательно Вам прочту. Очень занятно получилось,—промолвил он после некоторой паузы, и вскоре, кажется в тот же день, ве-

чером, прочел мне ту написанную им утром главу „Матвея Кожемякина", в которой один из героев убивает ножом женщину.

К большому сожалению, я не помню наших бесед на политические темы. С нетерпением Алексей Максимович ждал приезда Ленина на Капри и часто с увлечением мне говорил о нем, как о замечательной „натуре" для художника. Не зная еще в то время внешнего облика Владимира Ильича, я уже хорошо по рассказам Алексея Максимовича представлял себе его сократовского склада голову, всю его наполненную энергией фигуру, голос и даже манеру разговаривать.

В предвоенные годы мне с Алексеем Максимовичем встретиться не удалось. Изредка мы переписывались, договариваясь о совместном путешествии, которому война помешала осуществиться. Но и в те годы Горький был как бы среди нас. В доме Ильи Ефимовича Репина, моего учителя, всегда много говорилось о Горьком, читались его письма, оживленно обсуждались его последние произведения. В 1913 году в „Пенатах" у Репина вместе с Ильей Ефимовичем я писал портрет Короленко. Владимир Галактионович мог напролет долгие часы говорить о Горьком, который был ему многим обязан,—кажется, именно Короленко был первым, кто „ввел его в большую литературу". Невольно так получалось, что наши сеансы превращались в „Горьковские утренники", в часы воспоминаний об Алексее Максимовиче. После революции, приехав в Россию, Горький оказался в водовороте литературных, издательских и всякого рода общественных дел. Наряду с другими деятелями искусства я был вовлечен им в работу Исполнительного комитета по охране памятников старины и искусства как член Комитета.

Встречались мы также часто по ряду журнальных дел, различных художественных изданий и т. д. В квартире Горького и в эти годы можно было увидеть не только писателей, но и художников, часто молодежь, желающих получить у него не только помощь, но и дружеские творческие советы.

В 1920 году я приступил к созданию своего первого большого полотна на революционную тему „Заседание 2-го Конгресса Коминтерна", в работе которого принимал участие и Алексей Максимович. Сделанная мною с него альбомная зарисовка куда-то исчезла, но я не теряю надежды, что в скором времени она найдется,—появится на выставке или в каком-нибудь музее.

Последним моим портретом Алексея Максимовича была сделанная в 1935 году автолитография, получившая уже широкое распространение. Очень жалею, что мне не удалось сделать с натуры живописный портрет в последние годы жизни Алексея Максимовича.

Больно сознавать, что Горького уже нет, и надо думать о памятнике, о бронзовом Горьком.

Но отобразить в искусстве образ этого бессмертного писателя есть прежде всего дело нас, его современников, свидетелей его жизни, знавших его, горячо любивших вместе со всем народом.

Решение правительства об увековечивании памяти Алексея Максимовича Горького является мобилизацией всех нас, работников искусств, на огромную и почетную творческую работу.

Горький—символ всего лучшего, к чему стремился рабочий класс на протяжении своей революционной борьбы.

Он звал к новой жизни и сумел увидеть рождение нового мира. Страна социализма поставит своему певцу памятники, которые должны будут передавать облик беззаветного друга трудящихся, гениального гуманиста, величие этого человека, его тесную связь с народом и выразить те бессмертные образы его времени, которые созданы этим писателем.

Публикуемые письма Алексея Максимовича—только часть из полученных мною в период 1911—1916 годов. Установить дату каждого письма сейчас является невозможным, так как конверты с почтовыми штампами вместе с частью переписки были похищены у меня в 1918 году. Группа публикуемых писем относится ко времени 1911—1912 годов, к периоду жизни Алексея Максимовича на о. Капри.

ПИСЬМА А. М. ГОРЬКОГО

ПИСЬМА И. И. БРОДСКОМУ

1911—1912 гг.

Дорогой Исаак Израилевич!

Затрудняюсь ответить на Ваш вопрос определенно,[1]—мне очень хотелось бы этим летом пошляться по Италии, но я не знаю, будет ли у меня для этого свободное время. Так что ни да, ни нет не решаюсь сказать.

Конечно, очень рад буду видеть Вас, потому что люблю; полагаю, что и Вам здесь было бы лучше, чем в ином месте. Спокойней, чем на святой Руси, теплее и красивей, не так ли? А у Вас там целое лето будут лить дожди, каждый день будете Вы читать газету, а в ней ежедневно шестнадцать самоубийств. Катайте сюда, ведь и кроме меня на свете есть „натура", — здесь, вероятно, будут жить некоторые из артистов Худож[ественного] театра, м[ожет] б[ыть] Станиславский, уже сняли виллу Каменские и т. д.

За подарок Ваш[2]—восторженно благодарю. Вы знаете, как я люблю Вас и как велика для меня радость иметь еще Вашу вещь. Спасибо, милый, большое спасибо! В свою очередь я тоже что-то сделаю Вам своею рукой.

Сейчас здесь удивительно хорошо: цветут маки, дрок, герань, оливы, весь остров точно яркими шелками расшит. Чудесно! Конечно, много художников, есть и русские; живут весело. Чепцов[3] приехал, рассказывал про Вас.

Нет, право, приезжайте сюда! Если я и сбегу, так ведь не надолго, наверное, а Вам тут хорошо будет вдали от неприятных впечатлений.

Очень кланяюсь Любови Марковне,[4] поцелуйте Лидочку.[5]

Да, Федор[6] наверное будет здесь.

Будьте здоровы.

А. Пешков.

---

[1] В своем письме к Алексею Максимовичу И. И. Бродский интересовался планами А. М. на лето

[2] И. И. Бродский подарил Алексею Максимовичу один из своих итальянских этюдов.

[3] Чепцов Е. М. — художник.

[4] Л. М. Гофман — первая жена Бродского.

[5] Л. И. Бродская — дочь И. И. Бродского.

[6] Ф. И. Шаляпин.

Дорогой Исаак Израилевич!

Ваше письмо от 7-го октября оказалось очень своенравным: по дороге на Капри оно заехало на остров Крит, потом Кипр, и когда ему, наконец, надоело гулять—явилось куда следовало сего 14-го ноября.

Но и за пять недель бродяжничества оно не утратило милого аромата Вашей ясной души, не беспокойтесь об этом.

К делу: едва ли я могу помочь Вашему желанию писать Шаляпина, я давно уже не видал его и не знаю его намерений, не знаю, где он будет летом и весною. Я напишу ему все-таки, чтобы он ехал сюда—так? Но необходимо точно знать, когда Вы будете здесь, дабы ни Вам, ни ему не терять времени напрасно.

Он—натура капризная и еще более непоседливая, чем я.

Засим: Вы пишете „отобрал десяток лучших монет", но—государь мой, худшие-то может быть интереснее лучших. Вы пришлите мне все их, я Вам определю их ценность по каталогу и сохраню, не утая со своими, дабы Вы могли взять нужные Вам обратно, когда будете здесь.

Рад, что Ваш сезон начался так удачно,[1] рад медали, а более всего—тому, что Вы работаете. Желаю успеха, верю в него и жду снимков с „Павлинов", с новой картины и с моего портрета.

Кстати: издается галлерея портретов русских писателей и, может быть, к Вам обратятся с просьбою дать для этой галлереи снимок с Вашего портрета.

Я не знаю, захотите ли Вы это сделать, я ничего не рекомендую Вам, мне безразлично, будет моя рожа в этой галлерее или нет,—я просто сообщаю вам о возможной просьбе, а поступите Вы так, как найдете нужным. Вот и все.

Засим—будьте здоровы, будьте счастливы.

Кланяюсь Любови Марковне и все наши приветствуют Вас и ее.

Вот что еще: издаются какие-то монографии о художниках—вышли книжки. Гольбейн, Карло Дольчи, это издание я видел, очень неважно.—Я говорю о другом: если Вы знаете,—сообщите, хорошее издание или нет?

Стоит выписывать, нет?

Всего доброго.

А. Пешков.

Милый мой Исаак Израилевич!

Вы хотите, чтобы я прислал рукопись „Буревестника",—могу и, конечно, сделаю это для Вас с удовольствием искренним.

Но это вещь старая, тысячи ртов жевали ее, слова ее, когда-то налитые живым соком сердца, ныне омертвели, поблекли и скажу по совести—„Буревестник" уже не нравится мне.

---

[1] В 1912 г. за картину „Сказка" И. И. Бродский получил первую премию на выставке Общества поощрения художеств. А. М. ошибочно называет ее „Павлины".

Как бы чужая вещь. Повторяю—хотите—пришлю.

Однако—предпочел бы написать что-либо новое—и—для Вас. Постараюсь сделать это, пришлю, понравится—оставьте у себя, не давая в печать. Не понравится—возвратите и тогда я пришлю желаемого Вами „Буревестника".

Ладно?

А я недавно возвратился из поездки: был во Флоренции, Пизе, Сиене, Лукке и еще кое-в-каких маленьких городках. Смотрел Содома, Пинтурриккио, Перуджино,—я их очень люблю. Видел и еще много ценного, самое же удивительное, сказочное и чарующее—Сиена. Вот куда я поеду с Вами и это необходимо для Вас, поверьте. Это кажется наиболее уцелевший средневековый город, необыкновенной благородной красоты. Мы видели там на улицах людей в костюмах 15-го века,—смотрите открытки! Вот эти пажи, красавицы, яркие и милые, ходят там. Город разделен на 17 участков, и в каждом участке по сей день существуют знаменоносцы, обязанные представительствовать от своего участка во всех торжественных случаях жизни: на праздниках, похоронах и т. п. Мы, я и Зина, попали на похороны рабочего и нам показалось, что вдруг мы оба заехали за 500 лет назад.

Почти сон.

В городе по сию пору сохранились конные ристалища—остатки древних турниров. Ристалища эти бывают ежегодно на площади перед Palazzo Communale. Но—всего не перескажешь, надо видеть. Посылаю несколько открыток, чтобы дать Вам хотя приблизительное представление о странном и прекрасном лице города. Тащите Горелова,[1] тащите еще талантливых ребят с собою сюда, и это будет превосходно для русского искусства. Дорогою, пока мы ездили, Зиновий мой скоропостижно влюбился и—уже женат теперь.

Я не однажды пожалел о том, что Вас не было прошлое воскресенье—день, когда каприйцы приносили поздравления молодым,—это было трогательно и картинно. Горы цветов, подарков и сотни четыре человеческих лиц, искренно обрадованных чужим счастьем.

Чтобы не думали, что у меня плоха память,—посылаю Вам восемь строк из „Детей Солнца"—если Вам так нужен мой автограф.

Монеты еще не получил: Вы избрали длинный и опасный путь для посылки их,—боюсь—растеряют их в 3 ночи.

А теперь слово Вашей супруге, которая может и должна писать стихи.

Любовь Марковна, дорогая моя.

Я не буду убеждать Вас в необходимости этой письмами, ибо уверен, что мне удастся сделать это лично и устно здесь на Капри. Уверен, что благоразумие и все силы небесные и земные с петербургской Его Императорского Величества грязью заставят Вас выехать сюда к весне. Здесь Вы будете купаться, кормить дитя превосходным козьим молоком, будете читать,—у меня все современные поэты собраны. Исаак, Вы, я, Горелов,—все будут писать красками, чернилами, на холсте, на бумаге—на земле. Мы ее несчастную красавицу, замученную и захва-

[1] Горелов Г. Н. – художник.

тайную всякими пошлыми и грязными лапами, так распишем—не земля, сказка будет.

Согласны Вы? Превосходно.

О времени, когда решите ехать сюда, надобно известить нас заранее, дабы мы Вас тут могли устроить елико возможно удобнее.

А пока жму Вашу руку, будьте здоровы, будьте счастливы.

Вся наша каза приветствует Вас и Вас, Исаак.

Были у Гржебина?[1] Получу я Серова?[2]

Ну, еще раз—всего лучшего и доброго здоровья, что лучше всего.

А. Пешков.

Дорогой мой —

Вы меня ужасно обрадовали Вашим сообщением о картине Серова. Я попрошу Вас: оставьте ее пока у себя и когда поедете сюда, захватите—хорошо? И с нею вместе—этюд Ильи Ефимовича, ежели таковой будет. А Валентину Александровичу передайте сердечный мой привет: считаю, что он мне подарил эту вещь дважды. И скажите ему: известно мне, что собирается он за границу, а передовой[3]—не пускает его, так когда его, академика, художника отпустят, и за границу он попадет по всем божеским законам, следует, чтобы он заглянул на остров Капри. Необходимо это. А то я огорчусь, сойду с ума, ослепну, оглохну и заболею чумой. Очень я его люблю, крепкий он человечище и художник божий.

Монеты я не получил, увы. И надежд не имею получить их. Что, где они? Не знаю.

Так все небрежно на земли.

Сильно работаю, желаю быть свободен этим летом.

Будьте здоровы, дорогой.

Поздравляю с Новым Годом, Вас, Л[юбовь] М[арковну], дочку и всех добрых людей, кои около Вас.

Еще спасибо.

А. Пешков.

Но если Вы захотели выслать картину Серова—выньте стекло и посылайте обязательно почтой, хорошо упаковав. Мне, конечно, чем скорей, тем приятнее видеть ее у себя,—Вы это понимаете.

Очень ждем Вас.

А. Пешков.

Все кланяются.

---

[1] Гржебин З. — издатель.

[2] Речь идет о картине Серова „Солдатушки, бравы ребятушки! Где же ваша слава" (1905 г.), написанной художником для журнала „Жупел" и подаренной автором Алексею Максимовичу. Сейчас картина находится в Гос. Русском музее.

[3] По всей вероятности, речь идет об администраторе театра, руководимого С. Дягилевым. В. Серов оформлял одну из постановок театра, показанную в Париже.

Аничкин[1] — пишет плохо. Трудно сказать что-либо более ясное по поводу этих рассказиков,—просто плохо, натужно и—с претензиями, что всего хуже.

Рукопись высылаю.

Дорогой Исаак Израилевич!

Заработался до того, что никак не мог ответить на Ваше милое письмо. И не ездил никуда, сижу за столом, точно прикованный. Писал Вам в Рим,—письмо не застало Вас и воротилось.

Живу на всех парах, дни идут сумасшедше быстро, ветер воет, дождь хлещет, море чем-то разгневано—ревет! Количество живых существ в доме увеличилось: откуда-то явилась серая кошка, существо весьма угрюмое и самолюбивое. Она влезает на стул и шипит, а собаке это не нравится, она лает, а попугаям вся эта история кажется умори-тельной и они истерически хохочут. Ничего, довольно шумно.

Кончил „Кожемякина“,[2] очень хочу, чтобы Вы прочитали конец и сказали мне—как нравится?

Как Лидочка и Любовь Марковна? Что поделываете Вы?

Если увидите Шаляпина, — скажите, что я страшно обрадован успехом „Хованщины“ и его планы кажутся мне блестящими и как нельзя более своевременными. Наконец, он взялся за свое дело! И я уверен, что он сделает много. Представляю, как будут поставлены „Мейстерзингеры“ и как он будет петь Сакса!

Живет здесь Бунин, приехал Ранейзер, еще кое-кто и все говорят о России очень печально. А я не верю.

Как работаете? Подвигается ли большая картина? Напишите обо всем елико возможно подробно.

Если увидите Добужинского,[3] скажите, что обещание помню и на днях вышлю книги.

Будьте здоровы со всею семьей.

М[ария] Ф[едоровна] кланяется. Carmela—тоже.

Желаю Вам всего, всего доброго.

А. Пешков.

Милый мой Исаак Израилевич!

Сколько раз на протяжении лета я сожалел о том, что Вас нет на Капри, и как, порою, это было грустно. Лето было интересное и, мне думается, очень плодотворное: К. И. Горбатов написал чудесные полотна, мне они страшно нравятся. Превосходную вещь дал Бобровский[4]

---

[1] Аничкин — начинающий писатель, рукопись которого И. И. Бродский переслал А. М. для отзывов.

[2] „Матвей Кожемякин“ — роман А. М. Горького. Написан в 1912 году.

[3] Добужинский М. — художник.

[4] Бобровский Г. М. — художник.

и чудеснейшие рисунки сделаны им. Много и хорошо работал Вадим Фалилеев, большие успехи сделала его жена.[1] Вообще я много испытал глубоких радостей, глядя на работы этих людей, и очень полюбил их самих: хороший народ! Так верится, что они внесут в жизнь хмурой России много солнца, света, много высокой красоты искусства. Славные люди! И кажется, они хорошо сжились тут друг с другом, крепко подружились,—хочется, чтобы эта дружба окрепла навсегда у них, чтобы они составили на родине крепкое, светлое ядро людей, влюбленных в свое дело и способных заставить каждого полюбить живопись, понять ее великое, культурное значение для России.

Все часто вспоминали про Вас и все говорили об Исааке Бродском с искренней любовью к нему,—это меня всегда трогало и я еще больше сожалел о том, что Вас нет здесь.

Теперь все уже разъехались, остался один Чепцов с большой картиной, которую скоро кончит. Это тоже очень милый человечина.

Фалилеев написал превосходнейшие карикатуры на меня, Алексейча и Сашу Черного, как жаль, что к этому роду искусства у нас относятся не серьезно! Кстати: милостивый Государь! Вы просили прислать Вам карикатуры,[2] обещая возвратить их мне. Не забудьте! Особенно мою красную, которой необходимо починить бока.

А Сергей Марков Прохоров лето прожил в Алтайских горах на Уймоне, привез оттуда в Тюмень 16 этюдов и старейший сибировед, знаменитый этнограф Потанин написал по поводу прохоровской живописи большущую статью в „Сибирской жизни“. Знай наших!

О Павлове не имею никаких вестей.

Почему-то я уверен, что Вы, сударь мой, весною поедете на Капри и будете жить на острове все лето, до глубокой осени. Надобно Вам отдохнуть от Севера. Это говорилось всеми товарищами, а Горбатовым особенно часто. Он очень любит и ценит Вас и вообще он—очень хороший человек, интересный художник, способный, как я думаю, делать большие вещи.

Ну, дорогой мой, будьте здоровы!

Любовь Марковне—поклон и привет.

Крепко жму руку. Отвечайте.

А. Пешков.

Любовь Марковна!

Сейчас проводил с Капри Исаака, которого полюбил за это время, как родного. Чудесная у него душа и прекрасный, яркий талант, я очень обрадован знакомством с ним. Извините за это излияние, оно, быть может, покажется Вам неуместным.

И позвольте сказать Вам несколько слов по поводу двух стихотворений, присланных Вами.

В одном из них мне показалось неудачным и лишним начальное четверостишие, в другом—конец.

---

[1] Качура Е. И. — художница.

[2] Карикатуры на А. М., сделанные И. И. Бродским.

Выражение „громады“ несколько смущает своей неопределенностью: что такое громады? Вы, конечно, знаете, что по-украински громада—мир. В стихах надо избегать неопределенных выражений.

Рифмы первого стихотворения не оригинальны: лазури—бури, жить—любить,—это же не годится в наши дни. Вообще первое стихотворение значительно уступает второму, которое очень подкупило меня своей простотой, задушевностью и—краткостью. Стихи 12—14 м[ожет] б[ыть] требуют отделки более тщательной.

Мне кажется—Вам следовало бы писать—я не говорю—печатать, но—писать. Пока, конечно, а потом—сразу издать книжку. Ис[аак] Из[раилевич] говорил, что Вы совершенно не пишите—мне думается, это ошибочно.

Надо писать! Почему?

Потому, что второе стихотворение, — как впрочем и первое,—обнаруживает в авторе то свойство, которое нельзя не признать уменьем выражать мысль и настроение языком поэзии. Не думаю, чтобы я преувеличивал.

А затем—надо еще и потому писать, что мы живем в стране, уродливо бедной красотою, и должны беречь, должны хранить каждую искру священного огня красоты. Мы должны также ценить ее дороже, чем ценим.

Мне хотелось бы познакомиться с Вашими опытами более основательно и—если Вы не против этого,—я буду просить Вас прислать мне Ваши тетрадки. Я достаточно скромен, поверьте. Я был бы очень рад, если бы мне удалось стать полезным для Вас.

Примите сердечный привет мой. Я не знаю Вас, да, но Исаак так хорошо улыбается, вспоминая Вас, что мне кажется, как будто и я знаю Вас.

Письмо—нескладно. Ну, ничего, извините.

Всего доброго.

А. Пешков.

Прилагаю карточку, забытую Вашим мужем.

ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОГО К. И. ЧУКОВСКОМУ

Я думаю, дорогой Корней Иванович, что повесть на тему, избранную Вами, следует писать непременно прозой и для ребят среднего возраста. Малышам эта тема не будет понятна даже при Вашем исключительном уменье говорить „простыми словами о мудрых вещах“. И даже при той легкости, с коей Вам дается стих, Вы едва ли окажетесь в силе уложить [в][1] размеренные строки всю сложность, все разнообразие Вашей темы.

Подумайте: Вам придется говорить о льдах Арктики, о лесных массивах и тундрах Севера, о „вечной мерзлоте“ и всякой всячине этого рода в наше время, когда гипотетическое мышление становится все более обычным и „безумным“. Вон, капитан Гернет предлагает уничто-

[1] В подлиннике пропущено.

жить Гренландский ледяной лишай и возвратить Сибирь с Канадой в миоценовый период, а еще некто затевает утилизировать вращение земли вокруг ее оси, а третий ищет родоначальницу растительной и животной клетки. И всего этого Вы должны „коснуться".

Я не „запугиваю" Вас, мне затея Ваша горячо нравится, и я думаю, что Вы осуществите ее. Как надо ставить дело практически и чем я могу быть полезен Вам? Мог бы достать Вам денег в каком угодно размере для спокойной, непрерывной работы год, два.

Указать Вам метеорологов—не могу, никого не знаю. Но полагаю, что Вам не худо будет побеседовать с гелиотехниками—в Слуцке, Самарканде, с полярниками. А по вопросу о нашей атмосфере Вы найдете, пожалуй, интереснейшие намеки в „Геохимии" Вернадского. Вообще Вам потребуются химики-электрики, они в лучшем качестве—у Вас, в Ленинграде, около Иоффе,—Дорфман, кажется, с „фантазией". Сия последняя будет Вам великой помощницей.

Сердечно желаю успеха.

А Пешков.

3.VII-35 г.

ПИСЬМО ГОРЬКОГО Б. М. ЭЙХЕНБАУМУ

Уважаемый т. Эйхенбаум—

не помню, что я подумал—и подумал ли что-либо—при виде слез Л. Н. Толстого, вызванных рассказом о В. В. Берви. Но, помнится, мне показалось, что, зная „Азбуку социальных наук",—автора ее Толстой лично не знал. Мне кажется, что я могу сказать следующее: в отношениях людей существует нечто, чему можно дать наименование—национальный аристократизм. Этот аристократизм особенно чувствуется в англичанах,—при всей благовоспитанности своей великобританец почти всегда как будто говорит иноземцу:—да, ты—хорош, ты—Толстой, Гете, Бальзак, но—не англичанин! Это—немножко глупо, иногда—смешно, но это есть у немцев, французов, это свойственно и нам, русским. Так вот, когда Лев Николаевич говорил о Н. Ф. Федорове, о В. В. Розанове, о Вл. Соловьеве, Николаеве и других людях такого ряда, казалось мне, что он думает о каждом: хорош, но—не Толстой! Думать так можно,—разумеется—снисходительно, с сожалением, пренебрежительно и т. д., но—всегда свысока и от ума не широкого.

Я привык думать, что подлинная драма Л. Н. была в непрерывной борьбе его огромнейшего и прекрасного таланта с умом его—сравнительно—не большим, очень назойливым и суетливым. Гениальный художник не любил чужого ума, потому что свой был враждебен ему. Едва ли, среди больших людей мира, можно найти еще одного, в котором различие таланта и ума восходило бы до различия между львом и крысой. О Флеровском я не могу сказать ничего, кроме сказанного мной в одной из статей „По Союзу Советов" кажется о поездке в Баку. В то время—в 92 г.—когда я знал В. В. Берви, он был уже человек остановившийся на достигнутой высоте. К чужой мысли—не терпим, в отношении к людям—грубоват и властен. Эти качества он проявлял даже к людям своего круга, друзьям и ученикам своим, которые

уже отбыли ссылку и каторгу: И. С. Джабадари, Ольге Любатович, Здановичу, Гамкрелидзе и другим.—Кроме романа „На жизнь и смерть“, у него есть рассказы „Галахов“, „Философия Стеши“; они были напечатаны—(кажется) помнится—в журнале Н. Н. Златовратского „Устои“. В Тифлисе он читал молодежи начало повести „Барич“, но я на этом чтении не был. Не помню—кто, вероятно, А. М. Колюжный говорил мне, что у В. В. есть интереснейшие письма Теодора Ежа-Милковского, автора романа „На рассвете“ и др., письма относятся к событиям на Балканах в конце 70-х годов. Года два тому назад я слышал, что Берви еще жив и пребывает в Москве. Архив его должен быть весьма [хорошо] интересен. Издать его „Воспоминания“, роман и рассказы конечно следовало бы. Это гораздо интереснее, чем, напр., рассказы Н. Успенского или Наумова.

Ну, вот, сколько я написал! Желаю Вам доброго здоровия и успеха в работе. Книг Ваших о Толстом—не имею, к сожалению и не читал. У меня уже и читать—времени нет. Но если пришлете книжки—прочитаю все-таки. Посылайте не сюда, а в Москву, Малая Никитская, 6

Желаю Вам всего доброго!

А. Пешков.

14.III-33.

Работая над своей книгой о Л. Толстом, я заинтересовался вопросом об его отношениях с революционером-народником В. В. Берви-Флеровским, учившимся вместе с Толстым в Казанском университете. В своих воспоминаниях о Толстом Горький описывает, как он начал однажды рассказывать Толстому о Флеровском и вдруг заметил на глазах Л. Н. слезы. „Это смутило меня, я замолчал.—Это ничего, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный!“ Заинтересованный этим местом воспоминаний, я решил обратиться к Алексею Максимовичу с вопросом, не может ли он сообщить мне дополнительные сведения об отношении Толстого к Флеровскому и о самом Флеровском. Я написал письмо в Сорренто, где в это время (1933 г.) жил Горький, и очень скоро получил ответ, который и печатаю полностью.

Письмо написано на машинке, за исключением нескольких мест, вписанных Горьким от руки: слова „не широкого“, фраза „Едва ли среди больших людей“ и т. д., слова „о поездке“, слово „помнится“ (вместо машинного „кажется“) и конец („Желаю Вам всего доброго!“), подпись и дата.

Б. Эйхенбаум.

ПИСЬМО А. М. ГОРЬКОГО Л. Н. ВОЙТОЛОВСКОМУ [1]

Уважаемый Лев Наумович!

Вчера А. В. Луначарский передал мне конспект предполагаемой Вами работы по психологии толпы. Раньше—давно уже—тот же А. В. гово-

[1] Из письма, относящегося к периоду 1907—1909 гг., когда Л. Н. Войтоловский работал над своей книгой „Очерки коллективной психологии“.

рил мне о Вашем отношении к данному вопросу, так что я, до некоторой степени, с Вами знаком. Задачу Вашу считаю весьма ценной, книгу—своевременной и важной для нашего читателя, а потому готов по мере сил и возможности помочь Вам осуществить Ваш план.

Так как мне кажется, что мы с Вами люди одной и той же психической линии—я попрошу у Вас позволения говорить без обиняков: считая затеянное вами дело серьезным, как уже сказал и как думает А. В.,—я хотел бы видеть его исполненным солидно, построенным прочно. Вы, конечно, предвидите, что Ваша книга должна вызвать ожесточенные нападки со стороны индивидуалистов всех красок и толков?

Читая Ваши статьи „Текущий момент" и „Итоги модернизма"—я не мог не усмотреть в них явный отпечаток поспешной работы, что сделало их несколько спутанными для понимания нашим читателем. Не позволил бы себе сказать это, если бы не проверил моего впечатления: я разослал несколько экземп. „Текущего момента" по фабрикам в Сормово, Мотовилиху, на Брянский—рабочим и ото всех получил отзыв, который в среднем сводится к такой форме: трудно понимать, мысль запутана. Полагаю, что Вас не заденет это мнение—ведь оно исходит из уст читателя самого дорогого и близкого нам.

Все это я пишу потому, что Ваше письмо вызвало и у меня и у А. В. опасение: Вы слишком торопитесь с Вашей работой. На такой сложный и *новый* труд—месяца мало. Вы пишете: „Чтобы сделать работу короче, я буду избегать иллюстраций"—в этом нам чувствуется ошибка: в труде, подобном предпринятому Вами, иллюстрации не могут быть излишни, чем больше их, тем лучше. Это только поможет читателю уяснить основную идею книги.

Посему, если это нужно, то следовало бы расширить книгу листов до 20. Изложение необходимо сделать возможно более ясным и простым, имея в виду интеллектуальный уровень наиболее ценного читателя.

Вы скажете: все это требует времени. Конечно. Чтобы обеспечить себе свободу для труда, Вам придется взять аванс.

Определите и по возможности скорее сообщите Ваши условия—а я постараюсь их удовлетворить.

... Засим—не позволите ли Вы обратить Ваше внимание на книгу д-ра Котика „Непосредственная передача мыслей", изданную фирмой „Современные проблемы". Автор—свой человек—с.-д.—основная идея книги его: мысль есть вид материи, интересно заключение его труда, кое привожу буквально—приняв [примите] во внимание—„Быстрое порабощение людской массы разными эмоциями и огромную силу последних в толпе при совершении ею действий—мы должны будем придти к заключению, что психология толпы, законы подражания и все вообще загадочные явления массовой психики могут получить правильное освещение и толкование только с точки зрения непосредственного влияния эмонации психо-физической энергии".

... Затем—желаю всего доброго и жду Вашего ответа. В нем Вы изложите подробно Ваши условия.

... Крепко жму руку. Ан. В. и Анна Алек. просят передать их привет.

А. Пешков.

ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА А. М. ГОРЬКОГО

Просматривая комплекты ростовских газет „Южный телеграф“ и „Приазовский край“ 25-летней давности, я нашел в них три заметки об А. М. Горьком, в которых приводятся три его письма того времени. Первые два говорят об отношении А. М. к самодержавию. Несмотря на всю их важность как биографического материала о Горьком, они, сколько нам известно, не приводятся в его биографиях.

Интересно и третье письмо А. М. к неведомому маленькому „дяде Феде“, говорящее об отношении А. М. к детям: читая это письмо, так и видишь добродушную, ласковую улыбку А. М.

Приводим все три заметки полностью.

Павел Максимов.

Ростов н/Д.

I

„Южный телеграф“ за 30 октября 1911 г. № 3128.

В „Живом слове“ напечатано следующее „Письмо в редакцию“ М. Горького:

„В № 31 редактируемого Вами издания помещены две заметки, авторы коих предлагают русскому обществу „подать свой голос за разрешение Горькому вернуться на родину, а газетам—агитировать за всеобщую подписку петиции императору с просьбой...“ и т. д. Прежде, чем печатать такого рода измышления, Вы должны были осведомиться, как я отнесусь к Вашей затее.

Затем в одной заметке сказано про меня:

„Ему грозила смертная казнь—заменена изгнанием“. Позвольте заявить Вам, что ни о смертной казни, ни о замене ее изгнанием мне лично ничего неизвестно и что слухи эти я считаю вздорной выдумкой“.

Такая же заметка напечатана 2 ноября 1911 г. в другой ростовской газете—„Приазовский край“, № 288.

II

„Приазовский край“, 3 ноября 1911 г. № 289.

В „Киевской мысли“ напечатано следующее весьма интересное письмо Максима Горького:

„В Вашей газете, в телеграммах из Петербурга, напечатано:

„Шаляпин собирает под петицией Макарову[1] о разрешении Горькому возвратиться в Россию подписи литераторов, артистов и художников".

Позвольте заявить через посредство Вашей газеты, что слух этот оскорбляет меня, ибо ни Шаляпину, ни кому-либо иному я не давал полномочий ходатайствовать о позволении мне вернуться на родину

М. Горький.

Со своей стороны Ф. И. Шаляпин опровергает сообщение газет, будто он собирает подписи под петицией о возвращении в Россию Горького".

III

„Приазовский край" за 19 октября 1911 г. № 275.

„Горький—поставщик марок"

Ученик одного из среднеучебных заведений г. Владимира, увлекшись составлением коллекции русских и заграничных марок, послал письмо М. Горькому с просьбой прислать ему итальянских марок.

На днях он получил от Горького такое собственноручное письмо с вложенными в него марками разных государств и частей света:

„Посылаю Вам, дядя Федя, марок; очень рад буду, если это доставит Вам удовольствие. Будьте здоровы. Желаю всяческих успехов.

М. Горький,

поставщик марок для русских и иных наций мальчиков и девочек".

Из материалов о Горьком

„Биржевые ведомости", 2-е издание, № 180, 4 июля 1916 г.

„М. Горький проводит лето в Крыму, недалеко от Симферополя, в имении „Форос". 13 июня Горький приехал в Симферополь. Сейчас же после завтрака он отправился на площадь у кафедрального собора, где лет 20 тому назад известный писатель в качестве поденщика-рабочего таскал кирпичи и катил тачки с песком и известью. Затем он выразил желание посетить трактиры и ночлежки, где когда-то проводил ночи и отдыхал от тяжелой работы. Два из этих трактиров существуют до сих пор, и Горький провел в них некоторое время. К вечеру из имения „Форос" прибыл автомобиль Шаляпина, и писатель оставил город. Горький чувствует себя довольно сносно и ежедневно работает за письменным столом, дописывая последние главы повести „В людях" и просматривая доставляемый ему материал для журнала „Летопись".

Кроме того, Горький занят новой повестью, которую задумал еще зимою".

---

[1] Царский министр (юстиции?).

ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМ „КЛИМА САМГИНА“[1]

Илья Груздев

Рукопись посмертного произведения Алексея Максимовича осталась в черновом виде, неоконченная и частью недоработанная. Но изучение рукописи позволило в большинстве случаев прочесть точно текст, определить места многочисленных вставок и сохранить замысел автора во всех деталях. Наибольшая трудность возникла при встрече с такой особенностью работы Алексея Максимовича: намереваясь использовать ту или иную деталь, он колебался в выборе для нее места, и мы имеем в этой редакции случаи повторения ее в двух местах и в разных сюжетных связях. Иногда же встречаются и два сюжетных варианта, когда автор колебался в выборе того или иного сюжетного хода; есть несколько мест в рукописи, в которых даны ссылки на ненаписанные сцены—это следы неосуществленных замыслов, о характере и силе которых можно только догадываться.

Алексей Максимович имел обыкновение уничтожать свои черновики и первые редакции: близким ему людям сравнительно немного удалось сохранить от его властной руки. И эта рукопись, несомненно, является драгоценнейшим документом из всего его рукописного наследия. С глубочайшим интересом следишь по ней за ходом работы Горького над этим последним его творческим трудом, за тем процессом, которым он шел к наилучшему выражению своей последней творческой мысли.

Книга открывается широкими картинами жизни за рубежом—Берлин, Женева, Париж. Затем—российская провинция, Петербург эпохи реакции, Москва, деревня, фронт. Крепкий узел исторических событий, судьбы людей, жизнь которых проходила перед читателем в предшествующих томах. Огромное количество новых персонажей,—ни один из них не забывается даже в тех случаях, когда проходит эпизодически, мельком. Капиталисты всех калибров, интеллигенты всех мастей, рабочие, крестьяне, большевики во главе с Кутузовым. Рукопись обрывается на картинах Февральской революции. Доведя повесть до этой эпохи, автор оправдал ее второе название—„Сорок лет“.

Огромно будет познавательное значение последней части, так же как и первых частей романа. Но эта последняя часть отличается еще большей высотой художественного мастерства, большей сжатостью стиля,

[1] С согласия автора редакция печатает часть материала статей И. А. Груздева, помещенных в „Правде“ 22/XII—1936 г. и в „Известиях“ 6/III—1937 г.

большей плотностью материала и какой-то великолепной, еще небывалою мощностью повествования, напоминающей многопланность и мощь симфонической поэмы.

Поток событий, смена персонажей, превращение характеров и конечные судьбы людей,—все это дано в такой органической взаимосвязи и плотной сюжетной ткани, что почти невозможно демонстрировать материал цитатами или отрывками. Можно только назвать сцены, которые станут в ряду вершин русской прозы. Самоубийство Лютова, Безбедов в тюрьме на допросе перед Тагильским и Самгиным, убийство Тагильского, Самгин в гостях у кулаков,—такого юмора, как в последней сцене, не было у нас со времен Щедрина. Великолепна фигура Дронова, мещанина-демократа, Санчо Панса Самгина, ставшего во время войны спекулянтом; на его долю приходится „первая пощечина революции". Судьбы десятков людей, уже знакомых по прежним томам и очерченных со всей силой горьковского мастерства, проходят перед читателем. В одном из писем последнего времени Алексей Максимович жалуется на то, что, вспоминая о прошлом, о датах и хронологии, он замечает, что „его перегруженная память" начинает „пошаливать". Но „зрительная память,—пишет он,—на фигуры, лица, пейзажи все так же сильна. И она позволяет мне корректировать ошибки памяти разума".

„Жизнь Клима Самгина"—историческая эпопея, охватывающая 40 лет значительнейшей эпохи. Исторический романист создает свои вещи на основе изучения материалов и на основе творческого воображения. Эпопея Горького создана силой *воображения* и *памяти*. И какой огромный творческий труд, какое феноменальное напряжение памяти нужно было для создания этой вещи, воплотившей в живых образах сотни людей, изображенных социально значительно, исторически точно и с такой силой выразительности, что каждый из них, какое бы эпизодическое место в повести ни занимал, не забывается. Нет сомнения, что этот художественный подвиг будет в полной мере оценен грядущими поколениями.

Но, вместе с тем (мне уже приходилось писать об этом), повесть Горького меньше всего может считаться только чем-то вроде „исторической хроники", бесстрастного рассказа о нашем недавнем прошлом.

Последний творческий труд Горького есть в то же время последний боевой вклад его в борьбу за счастье великого народа, за творческий расцвет трудящихся всего мира, в борьбу с мировым фашизмом.

Чем замечательно более всего изображение центрального персонажа повести—Клима Самгина? Тем, что этот герой, самым тесным образом связанный с условиями социальной среды и исторического времени, биография которого так мастерски вплетена автором в биографию эпохи, этот персонаж перерастает отведенные ему рамки и по силе художественного обобщения становится в ряду типов мировой литературы. Историческая точность изображения Самгина подтверждается рядом документов времени, начиная с его молодости. Вот, например, лидер демократической интеллигенции второй половины 80-х годов Н. В. Шелгунов в одной из своих статей дает такую характеристику современной ему буржуазной молодежи: „Восьмидесятники—люди практические в обыденном смысле этого слова. Они слишком холодны и рассудочны, чтобы чем-нибудь увлекаться, и слишком любят себя и свое тело,

чтобы в каком бы то ни было случае забыть о себе. В них до непомерности развито чувство личного я, но только в сторону самосохранения. Наклонность ума стлаться по земле и уходить в мелкие личные интересы сообщает уму восьмидесятника низменный пошиб, лишает его порыва, полета вверх и вширь и приучает к холодной рефлексии, ко всяким сомнениям и даже к безверию в лучшие, благороднейшие человеческие стремления и в личную и общественную нравственность“.

Но ведь это же точная характеристика Самгина. Несомненно, что Горький издавна и пристально всматривался в этих людей, занявших в то время такое господствующее положение в обществе. Имея в виду Самгина, Алексей Максимович писал мне: „У меня после 1905—6 годов сложилось весьма отрицательное отношение к людям этого типа. Было недоверие к нему и раньше, „от юности моея“.

В 90-е и 900-е годы, в период нарастания первой революции, „люди этого типа“, любя больше всего „себя и свое тело“, опасались проявлять несочувствие к нараставшей революции, усиленно маскируясь ее сторонниками, но больше всего и всеми силами жаждали приближения отлива, который дал бы им, наконец, устойчивое и спокойное место на интеллектуальных верхах буржуазного общества. Недаром Самгин был так растроган красивой картиной ночной работы пожарных, разбиравших после подавления восстания московские баррикады. Он даже нашел, что пожарные похожи на римских легионеров.

Махровым цветом расцвели Самгины в эпоху реакции после 1906—7 годов. Мистика, эстетство, эротика наводнили литературу, являясь различными личинами животного страха перед повторением революции, в то время как вожди буржуазных интеллигентов призывали к преданности власти, охраняющей их своими штыками „от ярости народной“. Изображению этого мутного времени посвящена значительная часть четвертого тома повести. И нужно сказать, что это—одно из наиболее блестящих проявлений горьковской сатиры. Замечательно показано и нарастание тревоги перед новым подъемом демократических масс. Время от времени в эту среду доносятся отзвуки работы боевых работников пролетариата во главе с крепкой, веселой, обаятельной фигурой Кутузова, лучшим изображением в нашей литературе большевика-подпольщика. В этой сумятице мнений, в этом потоке событий проходит Клим Самгин, скрытный, немногоречивый, осторожный, ждущий своей очереди занять первенствующее место в обществе.

„Время шло с поразительной быстротой. Обнаруживая свою невещественность, оно бесследно исчезало в потоках горячих речей, в дыме слов, не оставляя по себе ни пепла, ни золы. Клим Иванович Самгин много видел, много слышал и пребывал самим собой, как бы взвешенный в воздухе, над широким течением событий. Факты проходили перед ним и сквозь него, задевали, оскорбляли, иногда—устрашали. Но—все проходило, а он непоколебимо оставался зрителем жизни. Он замечал, что чувство уважения к своей стойкости, сознание независимости все более крепнет в нем. Он не мог бы назвать себя человеком равнодушным, ибо все, что непосредственно касалось его личности,—очень волновало его“.

У Самгина, впрочем, нехватило дарования ни для того, чтобы стать писателем, ни для того, чтобы стать лидером политической партии или министром временного правительства. Он, как можно догадываться по

черновым наброскам, был после Февральской революции послан на фронт уговаривать солдат и во время стихийного отступления раздавлен артиллерийской повозкой.

Кто такой Клим Самгин? Это—мещанин под маской „аристократа духа". Этот мещанин, живущий в эпоху нарастания пролетарской революции, устрашенный грохотом истории, предан всем существом своим старому миру. Это—самодовольный умник, претендующий на право духовного господства над массами. Это—воплощение уклончивости, лжи и лицемерия, это—трус, бегущий от всякого прямого деяния и больше всего жаждущий материального довольства, личного покоя и душевного бездействия. Под маской высокой интеллектуальности здесь — прямая агентура капитализма в эпоху решающей и смертельной для него схватки с пролетарской революцией.

Самгин гордится своей „независимостью" и „стойкостью", позволяющей ему обороняться от „насилий действительности", как он говорит. Но на самом деле он обороняется от растущего сознания масс: ему сродни мир собственников, обещающий уютный и теплый быт. Капитализму Самгин—слуга.

Когда капиталист Бердников предлагает ему совершить мошенническую проделку, „независимый" Самгин кричит: „Вы с ума сошли!" Бердников, прижав его к стене, нагло заявляет: „А ты—умен! На кой чорт нужен твой ум? Какую твоим умом дыру заткнуть можно?"

Характер Самгина дан Горьким изумительно реально и в то же время с такой силой обобщения, что мы в праве сказать, что исторические судьбы Самгина не кончаются с Климом Самгиным. Самгины пронесли через эпоху революции и реакции мечту о подавлении революционных движений масс, прикрываясь личинами тончайших „аристократов духа" и туманящими философскими построениями, рисуясь независимостью и оппозицией власти, но на деле являясь преданнейшими слугами капитала.

После Октябрьского переворота, ожесточенные тем, что история отбросила их как ненужную ветошь, они становятся тайными идеологами реставрации капитализма, в условиях социалистического строительства двурушничая, подличая и предавая революцию. Великой исторической заслугой Горького является изображение „этого типа людей" в образе Самгина. И образ этот шире биографических рамок героя так же, как шире и национальных рамок. Тип Самгина—творческое обобщение интернационального масштаба, поскольку фашизм — организация спасенья капитализма—во всем мире мобилизует свою агентуру.

Вот не так давно каким характерным Самгиным „обернулся" возвратившийся из СССР Андре Жид. Типичнейшая черта Самгиных, этих самовлюбленных индивидуалистов,—тоска по „оригинальности". „Он, Клим Самгин,—пишет Горький,—еще в детстве был признан обладателем исключительных способностей. Об этом он не забывал, да и не мог забыть. Ему часто приходилось ощущать, что единство, даже сходство мысли—оскорбляет его, унижает, низводя в ряд однообразностей". Там, на Западе, его, Андре Жида, „дружба с СССР" была, очевидно, очень „оригинальной" для него и „утонченной" позицией. Он, вероятно, и сам был склонен верить в свои искренние чувства. Ведь так часто Самгины искренне любуются собой. Но вот Андре Жид

сам приехал в СССР, чтобы еще больше укрепить свою оригинальную позицию, и здесь он встретил такую оригинальность, какой, видимо, не ожидал встретить,—подлинное единство миллионов, охваченных одним чувством—пафосом социалистического строительства. Такой подъем масс, действительно,—конец всякому оригинальничанию. И Андре Жид почувствовал себя неуютно. Но ведь и Самгин относился с чрезвычайным раздражением к тому факту, что на его глазах росло сознание масс. „Едва ли страна выиграет от того,—с досадой говорил он,—что безграмотные люди начнут рассуждать“. Но как с тех пор выросло озлобление Самгиных, если Андре Жид наш советский народ, прекрасный, творческий, инициативный, называет „забитым“, „ленивым“ и „неподвижным“. И как трудно ему расстаться с мечтой о действительно забитом, смиренном и темном рабе, „мужике Марее“, который отлично делал свое дело, предоставляя людям „исключительных способностей“ „предаваться мечтам и страстям“.

Это очень ценил и Самгин. „Анфимьевна. Раба. Святая рабыня“,—с умилением вспоминает он о преданной служанке своей жены. Так же, как Андре Жид раздражен „комплексом превосходства“, сознанием советским народом своих преимуществ перед капиталистическими странами, так же и Самгин возмущался большевиками—передовым отрядом рабочего класса, неутомимо работавшим в условиях царского гнета. Большевистские газеты возмущали Самгина „иронией, насмешкой, грубостью языка, прямолинейностью мысли“. Но досадно было, что „их материал освещался социальной философией, которую он не в силах был оспорить“.

Самгин видит опасность для разума в „страшной силе равенства“, а Андре Жид кричит уже о том, что в единодушии советского народа, в таком состоянии умов—гибель культуры. Раздражение, как видим, сильно возросло со времен исторического Самгина, но все же Андре Жид не был бы Самгиным, если бы и тут не пожелал „на людях“ сохранить „оригинальную“ и „сложную позу“. Как известно, в его книге „Возвращение из СССР“ есть все: и умиление, и клевета, и слезы восторга, и желчь раздражения. Но если бы в ответ на фашистскую свистопляску, взвихрившую его грязную клевету, Андре Жид, „независимый“ и „честный“ Андре Жид, подобно Самгину в сцене с капиталистом Бердниковым, закричал бы негодующе: „Вы с ума сошли!“—фашизм мог бы уличить его, как Бердников Самгина, и так же сказать: „А ты умен! На кой чорт нужен твой ум? Какую твоим умом дыру заткнуть можно!“ Вот как неоригинальна позиция лакея капитализма.

В конечном счете „сложное“ общество эксплоататоров оказалось для Андре Жида милее нашего „простого“ социалистического общества: временно взбунтовавшийся мещанин снова стал покорен. Но та „простота“, от которой шарахнулся Андре Жид, испугала в свое время и Самгина, когда он, придя на площадь Финляндского вокзала посмотреть на приезд Ленина, стоял в толпе рабочих. Вот отдельные сохранившиеся записи этой сцены:

„Толкался, лез вперед и кричал:

— Т. Ленин, мы готовы! Мы понимаем, товарищ,—верно!

— Ильич!—Просто подошел и говорит: „Здорово, Ильич! а?“

. . . . . .

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней. Но толпа стала еще более грозной и как бы выросла.

. . . . . .

Было странно и очень досадно вспомнить, что имя этого человека гремит, что к словам его прислушиваются тысячи людей. Все, что он говорил, было очень просто и убедительно—тем более не хотелось соглашаться с ним".

Острие повести Горького сохраняет свою силу и по сей день. Думать, что Самгины исчезли в 1917 году, конечно, наивно. Искусно замаскированная „аристократизмом духа" преданность затхлому миру собственников заменяется после победы Октябрьской социалистической революции надеждой на реставрацию капитализма. Это та психологическая почва, на которой появляются и произрастают двуличные „друзья", тайные враги, контрреволюционные двурушники и предатели.

Было бы поэтому неправильно толковать Самгина только как некий исторический тип и ограничиваться сопоставлением его с другими аналогичными типами русской и мировой литературы. В литературной критике, как и в других областях, наша обязанность усиливать бдительность масс, а не стачивать острия и не затемнять политический смысл вещей „академическими" толкованиями.

Горький остается для нас тем же, чем был при жизни: не только нашею славою, но и нашим оружием.

ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА

И. Гринберг

Человек есть украшение мира, и он имеет все основания удивляться себе самому.
М. Горький.—Заметки читателя.

I

...Понятия мои о величии и счастии не совсем похожи на ваши. Ваше счастье основывается редко на чем-нибудь ином, кроме погибели ближнего. Зависть, страх, хула—вот печальные зеркала, в которых отражается улыбка высокого властелина. Слезы, проклятие, отчаяние—вот страшная трапеза, за которою роскошествуют эти хваленые счастливцы, из-за которой выходят охмелевшие и так идут, как в тумане, в царство вечности, перед престол бога... Мой идеал счастья умереннее: он заключается во мне самом. Все мои желания схоронены у меня в сердце.

Эти слова были впервые произнесены со сцены, на представлении драмы Фридриха Шиллера „Коварство и любовь" пятнадцатого апреля 1784 года.

Они выражали убеждения и принципы многих тысяч людей из мещанского сословия. „Умеренный" и эгоистический идеал Фердинанда был идеалом и этих людей. Добродетельный и скромный музыкант Миллер был их героем.

По докладу цензора от тринадцатого февраля 1907 года была запрещена постановка на сцене пьесы Максима Горького „Враги".

В пьесе этой старый рабочий Левшин говорит своим товарищам Рябцову и Ягодину:

„Дело общее, человеческое... Теперь, брат, всякая хорошая душа большую цену имеет. Поднимается народ разумом, слушает, читает, думает... Люди, которые кое-что поняли,—дороги"...

И Рябцов, который только что решил пострадать за общее, товарищеское дело, спокойно замечает:

„Да ведь я ничего не говорю. Хоть молодой, а я понимаю—нам надо цепью... крепче друг за друга".

Новые идеалы, новые убеждения, новые взгляды на жизнь, новые принципы—скрываются в этих простых и немногословных речах. Новые герои, ничуть не похожие на пылкого и умеренного Фердинанда,—выходят на сцену. Новая великая полоса открывается в искусстве.

Цензор, по докладу которого пьеса не была допущена к постановке, писал: „В этих сценах ярко подчеркивается непримиримая вражда между рабочими и работодателями, причем первые изображены стойкими бор-

цами, сознательно идущими к намеченной цели—уничтожению капитала, последние же изображены узкими эгоистами. Впрочем, по словам одного из действующих лиц, совершенно безразлично, каковы качества хозяина, достаточно того, что он „хозяин", чтобы для рабочего он являлся врагом. Автор устами жены брата директора фабрики Татьяны предсказывает победу рабочих. Сцены эти являются сплошной проповедью против имущих классов, вследствие чего не могут быть дозволены к представлению".

Как видим, цензор довольно точно определил идею пьесы, ее содержание, ее политический смысл. Но, разумеется, ее величайшего значения он не мог понять.

Во второй половине XIX века все чаще и чаще трактуется в искусстве вопрос об отношениях между капиталистами и рабочими.

Однако, как правило, для писателей эта тема была лишь одной из многих „социальных проблем", и от них были скрыты пути ее разрешения. Только Горький показал, что от решения этой—будто бы „одной из многих проблем" зависит в действительности будущее человечества, только Горький показал необходимость борьбы всего трудового человечества с капитализмом, только Горький показал, что организатором и вождем в этой великой освободительной борьбе является рабочий класс.

Великий смысл „Врагов" не только в изображении непримиримости интересов капиталистов и рабочих. Эта пьеса замечательна еще и тем, что она с большой силой раскрывает превосходство рабочих над эксплоататорами. Пролетариат—носитель лучших черт, лучших свойств, лучших качеств человечества. Обаяние и благородство революционных рабочих и ничтожность и вредоносность буржуазии особенно остро ощущаются в тех сценах, где эти две силы сталкиваются лицом к лицу—будь это допрос обвиняемых или „проходной" разговор генерала Печенегова с молодым рабочим Грековым. Вот почему с такой силой звучат обличения Нади: „мы всех тревожим!" „мы на земле—лишние"; прорицания Татьяны: „Эти люди победят!"; спокойные слова Левшина о „господах", которые „ничего, кроме себя, не могут понять".

„Мать" раскрывает эту же тему. Ниловна живет „обычной" жизнью дочери рабочего, жены рабочего, матери рабочего—жизнью тяжелой, мрачной, отупляющей. Уже впоследствии, когда мать увидела пути к новой жизни, открывшиеся перед ней, она говорит о своем прошлом:

> Думала я о своей жизни—господи Иисусе Христе! Ну, зачем я жила? Побои... работа... ничего не видела, кроме мужа, ничего не знала, кроме страха! И как рос Паша—не видела, и любила ли его, когда муж жив был,—не знаю! Все заботы мои, все мысли были об одном,—чтобы накормить зверя своего вкусно, сытно, во-время угодить ему, чтобы он не угрюмился, не пугал бы побоями, пожалел бы хоть раз. Не помню, чтобы пожалел когда. Бил он меня, точно не жену бьет, а—всех, на кого зло имеет! Двадцать лет так жила, а что было до замужества—не помню. Вспоминаю—и как слепая, ничего не вижу! Был тут Егор Иванович—мы с ним из одного села, говорит он и то и се, а я—дома помню, людей помню, а как люди жили, что говорили, что у кого случилось—забыла! Пожары помню,—два пожара. Видно,

все из меня было выбито, заколочена душа наглухо, ослепла, не слышит.

Заколоченные, слепые, глухие души—это души людей при капитализме. Капитализм должен быть уничтожен, потому что он ведет человечество к вырождению интеллектуальному, нравственному и физическому, потому что он подавляет все лучшее, все индивидуальное, все выдающееся, что есть в человеке.

И, напротив, в революционной борьбе, в борьбе за социализм, человек освобождается от развращающего и отупляющего влияния капиталистического строя, самые лучшие, самые благородные стороны человека получают полноценное развитие.

Сердечные мои—ведь это за весь народ поднялась молодая кровь наша, за весь мир, за все люди рабочие пошли они!.. Не отходите же от них, не отрекайтесь, не оставляйте детей своих на одиноком пути. Пожалейте себя... Поверьте сыновним сердцам—они правду родили, ради ее погибают. Поверьте им!

Это агитирует вчерашняя раба, еще недавно забитая и тихая женщина, жившая в страхе и в темноте, это агитирует Ниловна, сына которой только что арестовали, готовая заменить его в рядах революционных борцов, Ниловна—распространительница подпольной литературы, Ниловна—поборовшая отупляющий страх.

Материнская любовь—одно из прекраснейших человеческих чувств. Но и это чувство в атмосфере наживы и эксплоатации принимает уродливые, отталкивающие формы—вспомним Вассу Железнову—страшную мать. Однако, у трудовых людей капитализм не может до конца убить, вытравить все человеческие чувства. Сквозь побои, сквозь лишения Ниловна пронесла нежную и прекрасную любовь к сыну. И эта материнская любовь, разгораясь все ярче и сильнее, выросла в любовь к братьям по классу, братьям по борьбе.

Сын сидел в тюрьме, она знала, что его ждет тяжелое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память ее помимо воли вызывала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерцательное чувство, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны.

Так превращается неграмотная, темная, уже немолодая женщина в сознательную пролетарку, в сознательного бойца революции. Так выпрямляется человек, свободный от унизительного чувства страха и раболепия, человек, полный сознания собственного достоинства, человек, готовый отстаивать, завоевывать свои права на свободную и счастливую жизнь.

Герои „Матери“—все „люди одной судьбы“. Каждому из них свойственно то обаяние, которое мы ощущали у рабочих из „Врагов“,—обаяние людей, борющихся за счастье собственное и счастье всего трудового народа, людей, уверенных в правоте своего дела и знающих, что победа останется за ними.

Но и среди них образ матери особенно привлекателен. В судьбе Ниловны с особенной ясностью открываются необъятные творческие силы народных масс, их неистребимая готовность к борьбе и созиданию. Судьба Ниловны свидетельствует, что капитализм обречен, что ему не удастся поработить трудовое человечество, сломить его сопротивление, покорить его.

Вера в человека, вера в трудовой народ наполняет все творчество Горького.

„Превосходная должность—быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед красотой".

Это—строки из рассказа „Рождение человека", из рассказа, в котором описание появления на свет нового человека пронизано чувством громадной любви и к новорожденному, и к матери, и ко всему человечеству.

То же чувство любви к человечеству свойственно и Ниловне, и Павлу, и Андрею, и почти всем другим героям Горького—революционерам.

> Большое это дело,—говорит Рыбин,—породнить людей между собой! Когда вот знаешь, что миллионы хотят того же, что и мы,—сердце становится добрее.

> Я, знаете,—рассказывает Николай,—последние дни страшно хорошо жил—все время с рабочими, читал, говорил, смотрел. И в душе накопилось такое удивительно здоровое, чистое. Какие хорошие люди, Ниловна! Я говорю о молодых рабочих—крепкие, чуткие, полные жажды все понять. Смотришь на них и видишь—Россия будет самой яркой демократией земли.

И чем сильнее эта любовь к товарищам по борьбе, к народу, тем глубже ненависть к врагам, угнетателям, поработителям.

„Как простить человеку, если он диким зверем на тебя идет, не признает в тебе живой души и дает пинки в человеческое лицо твое? Нельзя прощать! Не за себя нельзя,—я за себя все обиды снесу,—но потакать насильникам не хочу, чтобы на моей спине других бить учились".

Так говорит Андрей, и очень скоро после первых своих шагов к революции мать убеждается в опасности и зловредности врага. Жандармы производят обыск у Власовых, и мать, наблюдая за офицером, все сильнее чувствует в его поведении всю глубину его враждебности, его „барского презрения к людям".

„Вот кого потревожили!"—думала она.

А немного времени спустя, тот же офицер арестует Павла, и ненависть к этому врагу укрепляет Ниловну, делает ее смелой и мужественной. Ей кажется, что офицер ждет ее жалоб и слез, и поэтому-то она, собрав все свои силы, сдержанно и спокойно прощается с ним.

Так, в любви и ненависти закаляется сердце рабочего человека, так вырастает он в сознательного, мужественного и сильного борца. Трудовое человечество из жестокой борьбы с угнетателями, с эксплоататорами выйдет победителем—такова идея „Матери", идея глубочайшей правильности, глубочайшей справедливости.

II

Один из самых отвратительных приемов буржуазии в ее отчаянной борьбе за сохранение своей власти—это попытка посеять среди народных масс неверие в себя, в свои собственные силы. Страшный яд пессимизма наполняет многие произведения западноевропейских и американских писателей. Герои этих произведений—люди, потерявшие всякую волю к борьбе и сопротивлению, мечтающие только о том, чтобы „бежать от схватки", чтобы сохранить свое „маленькое" счастье. Но жизнь настигает их повсюду, разрушает их последние иллюзии, безжалостно уничтожает их.

Выход? Выхода нет. Человек—обречен на муки, и всякая борьба бесполезна.

Казалось бы, подобные книги разоблачают капиталистический строй, показывают, как этот строй угнетает и мучит людей. Но, вместе с тем, они ослабляют силу сопротивляемости у нестойких и колеблющихся, они наполнены отчаянием и недоверием к человеку—они изображают людей раздавленными и ничтожными. В до конца разложившемся герое Селина или запуганном до отупения герое Фаллады невозможно отыскать хотя бы следов человеческого достоинства, нельзя обнаружить качеств, позволяющих верить возвращению их к жизни, участию их в борьбе.

Это неверие в человека помогает буржуазии угнетать народные массы, внушать им сомнение в собственных силах, в целесообразности борьбы.

Это неверие в человека глубоко чуждо тому строю человеческих отношений, который существует в нашей стране и за который борется сознательное трудовое человечество.

Социалистическому революционному искусству свойственна глубокая вера в человека, глубокое ощущение раскрывающихся и еще нераскрытых колоссальных возможностей народных масс, глубокая уверенность в победе над капитализмом.

В своей статье „О пьесах" А. М. Горький с негодованием писал о проповедниках пессимизма и отчаяния: „Есть люди, которые не верят, что человека можно перевоспитать, освободить от засоренности пылью и грязью векового насилия. Они не верят, потому что не знают, они сами засорены, но до того уже, что не способны знать, не способны изучать жизнь, видеть ее грязный, постыдный ужас и вооружаться творческим гневом на борьбу с организаторами ужаса".

Снисходительная жалость ничего не имеет общего с подлинной, требовательной, взыскательной любовью к человеку. Эта любовь требует, чтобы человек избавил себя от угнетения, нищеты, горя, чтобы он завоевал свое счастье. Поэтому людям, действительно борющимся за освобождение человечества от несчастья и эксплоатации, глубоко враждебны люди, которые кичатся своим несчастьем, которые „не желают" выходить из своего угнетенного состояния, которые проповедуют самоуничижение и покорность.

Поэтому с таким гневом А. М. Горький пишет о жалком тщеславии „униженных и оскорбленных" в своих „Заметках читателя".

В течение всего XIX века великие русские писатели выдвигали и обосновывали свои представления о человеческом счастьи и о путях

к нему. Горький первый рассказал о подлинно счастливом будущем человечества и о борьбе за это будущее, о людях, способных бороться и победить.

Конец 80-х и начало 90-х годов можно назвать годами оправдания бессилия и утешения обреченных на гибель. Литература выбрала героем своим „не героя"; одна из повестей того времени так и была озаглавлена: „Не герой". Эта повесть читалась весьма усердно. Лозунг времени был оформлен такими словами: „Наше время—не время великих задач". „Не герои" красноречиво доказывали друг другу правильность этого лозунга и утешались стишками:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат.
Кто б ты ни был—не падай душой.
Верь: настанет пора и погибнет Ваал...

(„О пьесах".)

В этой-то обстановке „малых дел", среди подобных „не героев" появились люди из рассказов, романов и пьес Горького—сначала полулегендарные, а потом вполне реальные люди, готовые решать „великие задачи", совершать подлинно героические поступки.

Это были люди сильных чувств, твердой воли, ясного ума, люди, знающие, чего они добиваются и что хотят уничтожить.

Рядом с „не героями" и вершителями „малых дел" они казались людьми новой человеческой породы.

Горький создал сотни образов людей, разных, не схожих меж собой. Он изображал и врагов, изображал их во весь рост, не преуменьшал их опасности, их силы, их способностей вредить революции. Но с особенным презрением он писал о „не героях" и о людях, им подобных, будто бы „страдающих за народ", а в действительности мелких эгоистов, любующихся собою, своей сложностью, утонченностью, изощренностью, и т. п. и т. д.

В образе Клима Самгина этот сорт людей—лицемеров, готовых каждую минуту предать революцию,—разоблачен до конца.

Так поступал Горький-художник. Точно так же поступал и Горький руководитель советской литературы.

Еще не так давно внимание многих наших писателей было целиком поглощено изображением тончайших и запутанных переживаний перестраивающихся интеллигентов. Надо при этом заметить, что в действительности „путь перестройки" интеллигентов по большей части прямее и проще. Но писатели изображали своих героев до предела сложными и противоречивыми, ищущими и не находящими окончательной точки зрения. Многие были уверены тогда, что глубоко раскрыть человека можно, только изобразив его сложным.

А. М. Горький писал тогда:

Сложность—печальный и уродливый результат крайней раздробленности „души" бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной, мелочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни. Именно „сложностью" объясняется тот факт, что среди

миллионов мы видим так мало людей крупных, характеров резко определенных, людей, одержимых одной страстью,—великих людей.

Горький любил изображать таких героев—„людей крупных", „характеров резко определенных".

Горький изображал и людей, развитие и рост которых были остановлены капиталистическим строем и, тем не менее, таящих в себе громадные возможности. О каких замечательных людях рассказывает он в своих автобиографических повестях, в своих путевых рассказах. Все это интереснейшие человеческие индивидуальности, привлекательные и одаренные, „несмотря" на свою „несложность", а вернее говоря,—цельность и определенность.

Горький знал, что в послереволюционной России, во всем нашем социалистическом Союзе республик для роста человека, для развития его способностей открыты широчайшие возможности, что теперь уничтожены те условия, которые порождали „раздробленность души".

Горький знал, что среди наших современников все больше становится людей полноценных, значительных, что глубокое и правдивое художественное раскрытие обаяния этих людей имеет не только познавательный смысл, что образы эти являются мощным воспитательным, организующим средством, что, изображая большевика, сознательного героического борца за социализм, художник мобилизует на борьбу новые народные массы, разоблачает лживость пессимизма, основанного на неверии в человека.

Поэтому А. М. Горький в своих статьях и устных выступлениях неустанно подчеркивал важность изображения людей-героев, людей-созидателей, людей-борцов.

В „Заметках читателя" он пишет:

> Меня занимает вопрос об отношении молодой литературы к герою всех драм, романов и рассказов, к „хозяину жизни",—человеку, врагу природы, окружающей его, создателю „второй природы" на основе познанных и порабощенных им сил первой, врагу и „ветхого Адама" в себе самом. Мне кажется, этот „ветхий Адам" более понятен и более интересен молодой литературе, чем Прометей, похититель небесного огня и враг богов. Во всех книгах действует,—а чаще, бездействуя, только говорит,—человечек вчерашнего дня, засоренный и запачканный мелкими грешками, осколками великих и дерзновенных смертных грехов.
>
> Для молодой литературы человек остается все еще ничтожеством, хотя многие из авторов на протяжении десяти лет видели его героем, а некоторые и сами, лично, принимали участие в событиях героических.

А в статье „О пьесах", несколько лет спустя, А. М. Горький пишет с еще большей определенностью и настойчивостью:

> Наши молодые драматурги находятся в счастливом положении, они имеют перед собою героя, какого еще никогда не было, он прост и ясен так же, как велик, а велик он, потому что непримирим и мятежен гораздо больше, чем все Дон-Кихоты и Фаусты прошлого. Именно таким должен видеть его драматург для того, чтоб помочь ему почувствовать таким же себя.

Вспомним, что совсем недавно еще „типичными“ и излюбленными героями нашей литературы были—Старцев из „Городов и годов“, Кавалеров из „Зависти“, Шелехов из „Севастополя“, Сережа Иванов из „Наследника“. Вспомним, что в это время некоторые писатели и критики настойчиво требовали „действенного самоанализа“, вспомним поучительную неудачу „Рождения героя“, произведения, в котором старый большевик изображался как „раздробленная“ и „сложная“ личность. Вспомним, что рядом с этим, с другой стороны, имелись прозаики, драматурги и поэты, которые пытались доказать своим творчеством, что человек имеет второстепенный интерес, что все дело в событиях, а не людях. Был даже опубликован „лозунг“, который, вероятно, теперь и автору его кажется диким:

мы щиплем теперь
индивидумов
как раньше—
щипали царей.

Вспомним—и тогда нам станет особенно очевидной важность и необходимость требований Горького—писать о людях—о новых, о непримиримых и мятежных людях.

Горький указывал писателям на необходимость видеть не человека „для того, чтобы“, а человека, „потому что“ он есть источник самой изумительной энергии, преодолевающей все сопротивления.

Как немного было еще тогда—десять лет тому назад—произведений, изображающих людей не „для того, чтобы“, а „потому что“,—„Разгром“, „Чапаев“, „Неделя“, „Железный поток“...

Но горьковский дух явственно ощущался и в книге Фурманова, и в книге Фадеева. Это были произведения, раскрывающие рост человека, формирование новых людей—непримиримых и мятежных.

„Перестройка интеллигенции“ в советской литературе была темой преходящей. Но тема роста человека, роста широчайших народных масс останется надолго основной темой нашего искусства. Все больше и больше появляется произведений, изображающих передовых людей нашего времени, простых и ясных и великих. Вместе с тем, увеличивается число книг, раскрывающих превращение людей с ограниченным, эгоистическим образом мышления в полноценных строителей нового общества.

И в тех и в других произведениях мы видим человека, борющегося с капитализмом и вырастающего в этой борьбе, человека, охваченного любовью к товарищам по борьбе, к трудовому человечеству, охваченного ненавистью к эксплоататорам, к их прислужникам и агентам.

И мы вспоминаем о „Матери“, о романе, открывшем новую, замечательную полосу в истории литературы, о романе, воплотившем великие принципы революционного пролетариата, о романе, показавшем всему миру людей, освобождающих человечество от рабства и угнетения капитала, о романе, полном прекрасной требовательной любви к человеку.

И мы понимаем, какое глубокое и благотворное влияние оказывает и будет оказывать этот роман на тот еще только начинающийся период истории литературы, который смело может быть назван горьковским периодом.

III

Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину. В этой песне не слышно было печального раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганной страхом, безличной и бесцветной, и не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающие крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить, бессильное что-нибудь создать,—в этой песне не слышно было ничего от старого, рабьего мира.

Так замечательно описывает А. М. Горький в „Матери“ одну из революционных песен. Но эту характеристику можно применить и к лучшим произведениям нашего искусства. В них нет унылой, рабьей тоски и приниженности, в них нет стихийной ненависти и злобы, им чужды разрушительные, нигилистические устремления. Напротив—они полны гордой уверенности в победе над врагом, они полны ненависти к врагу, ненависти сокрушительной именно в силу ее сознательности, они полны созидательной, творческой силы.

С развитием советской литературы, с новыми ее успехами все явственнее выступают горьковские черты—глубокая идейность, любовь к трудовому человечеству и ненависть к его врагам, мужественная и резкая прямота характеристик, обаяние человечности в самом высоком смысле этого слова.

В то же время все отчетливее сказывается чужеродность тех литературных явлений, к которым Горький всегда относился резко отрицательно—поверхностного бытописательства, внешней неглубокой характерности, надутой, ложной патетичности, слезливой и расслабленной сентиментальности, декадентского юродства, формалистического снобизма, всего того, что уводит литературу от глубокого и правдивого изображения жизни, помогающего познавать жизнь и перестраивать ее.

Все яснее становится, что плодотворно работать в нашей литературе может лишь писатель с серьезным и оригинальным—в лучшем смысле этого слова—взглядом на жизнь, писатель, способный мыслить государственно, писатель, умеющий изображать людей полно и всесторонне, во всем их жизненном многообразии.

Достаточно вспомнить „орнаментальную прозу“ первых лет советской литературы, проблемно-бытовые романы и повести середины двадцатых годов, серые и однообразные „фактографические“ очерки 30-31 года, нескончаемые „беседы писателя с самим собой“—достаточно это вспомнить, что все это „жанры“, ушедшие в прошлое безвозвратно и не имеющие права на существование, чтобы понять, какой путь прошла наша литература, несмотря на свойственные ей слабости и недостатки, чтобы понять, как быстро совершается „отборочный процесс“, отметая все чуждое и суррогатное. Ведь после „Поднятой целины“ о колхозе писать посредственно нельзя, точно так же как нельзя ставить посредственные картины о гражданской войне после „Чапаева“ или об интеллигенции после „Депутата Балтики“.

Четвертая часть „Последнего из Удэге“ А. Фадеева и „На Востоке“ Павленко, „Одиночество“ Н. Вирты и рассказы В. Гроссмана—книги, несхожие меж собой. Но всем им свойственны в более или менее скрытой форме те черты, которые свидетельствуют о силе горьковского влияния на развитие нашей литературы.

Сама жизнь Николая Островского может служить прекрасным образцом величия души большевика, революционера, полноценного человека, может свидетельствовать о том, на какое благородство, на какое мужество способен человек. Островский и жизнью своей и своим творчеством опровергает ложные и развращающие теории—„сладости несчастья“ и „бесцельности борьбы“.

> Самое дорогое у человека—это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире— борьбе за освобождение человечества.

Так размышляет Павел Корчагин, и эти мысли стали для многих юношей и девушек указанием, программой жизни.

То же могут сказать о себе и герои романа „Рожденные бурей“. Правда, ни Андрий, ни Раймонд еще не сформировались в такого выдержанного и стойкого большевика, каким является Корчагин. Но в них мы находим отличные задатки, которые полноценно развернутся в обстановке революционной борьбы.

Как много обещает Андрий Птаха—этот веселый и мечтательный, смелый и впечатлительный парень! Озорное мальчишество его быстро переходит в настоящий героизм. Охваченный одной мыслью протестовать, поднять народ против насильников—он не дает смолкнуть тревожному гудку. Он запирается в котельной, не забывая при этом о товарищах, оберегая их от преследования, от подозрения в помощи ему.

> Выбегай через запасную! Ребята, по-дружески прошу, выбегай сейчас же! Я гудеть буду, чтобы народ поднять.. Пущай меня одного мордуют... Выскакивай, хлопцы, а то вдарю ломом! Живей!—Он замахнулся. Кочегары гурьбой бросились к запасному выходу.

И один, обстреливаемый и атакуемый, Андрий борется с белополяками, не сдаваясь, не прекращая призыва, тревожащего, волнующего весь город.

Сколько смелости, сколько мужества у этого мальчика, еще только вступившего на путь революционной борьбы!

Это же мужество, эта гордость, это чувство человеческого достоинства проявляются и в поступке слесаря Глушака. Он погиб, защищая от полесских жандармов женщину, ему почти неизвестную. Он не мог стерпеть оскорбления, не мог стерпеть насилия над человеком. И смерть его поднимает на борьбу новые массы—никакими зверствами не подавить волю народа к свободе, к борьбе.

Вот почему так естественно звучат слова Раевского о машинисте Ковалло и его дочери:

Что ты думаешь об Олесе Ковалло? Она из хорошего рода. Их двое—отец и дочь. Кровная связь—кровное дело. Она, кажется мне, смелая девушка.

Подлинно—это „хороший род";—рабочий род, в котором из поколения в поколение передаются традиции борьбы с угнетателями.

А род графов Могельницких, род, представители которого, как говорит один из героев, поступают с народом „по-зверячьему",—как отвратителен, как ничтожен он по сравнению с славным пролетарским родом машиниста Ковалло!

Герои Николая Островского отдают себя „самому прекрасному в мире—борьбе за освобождение человечества"—и в этой борьбе они находят свое счастье, в этой борьбе они, освобождая других людей, и сами вырастают в передовых бойцов, в сознательных революционеров.

Они идут по тому пути, по которому прошел Павел Власов и его мать, по пути, о котором так прекрасно рассказал А. М. Горький,—по пути пролетарской революции.

Вот почему книги Островского принадлежат к числу тех произведений, которые с особенной силой свидетельствуют о глубине горьковского влияния на развитие нашей литературы.

В третьей и четвертой книгах „Последние из Удэге" влияние художественных принципов Горького еще более ощутимо.

Петр Сурков перед тем, как бежать из города, заходит попрощаться с матерью. Это—усталая, старая женщина, измученная работой и нищетой, темная и приниженная, пьющая водку от горя, от тоски. Петр находит ее пьяной и одинокой. Увидев сына, она, однако, сразу трезвеет, и „одновременное выражение испуга, радости и виноватости" появляется у нее на лице. Она плачет, обнимая Петра, и тот чувствует, „что если бы он попытался произнести хоть слово, из горла его вырвались бы такие звуки, от которых ему самому стало бы страшно".

Через несколько месяцев, когда Лена Костенецкая, обиженная Петром, в свою очередь оскорбляет его и его мать, Сурков с любовью и жалостью вспоминает об этой последней встрече. С нежностью он думает о том, как защищала его мать от страшного и враждебного мира, как заботилась о нем, как урезала себя во всем, чтобы больше ему досталось.

Петр гордился тем, что он был истинным сыном рабочей слободы, породившей и воспитавшей его, потомком великих поколений тружеников. И обида и гнев, снедавшие его, были величайшей обидой и гневом за себя, за мать, за первую любовь, за всю рабочую слободу.

Фадеев раскрывает прекрасные чувства, чувства матери, чувства труженицы, таящиеся в душе пьяной и темной женщины. Угнетение и невежество не могут заглушить в ней, не могут скрыть свойственных ей черт благородства. И гордость Петра—это замечательная гордость пролетария, любящего и уважающего свой класс, любящего и уважающего трудовое человечество, уверенного в его силах, в его победе над эксплоататорами. Именно эта гордость, это чувство человеческого достоинства помогает Петру, Алеше, семье Борисовых, Марии Цой вести трудную

и долгую борьбу, помогает им вовлекать в эту борьбу все новые и новые народные массы.

Это та самая гордость, которая звучит в словах Павла Власова: „Мы должны показать тем, кто сидит на наших шеях и закрывает нам глаза, что мы все видим,—мы не глупы, не звери, не только есть хотим,—мы хотим жить, как достойно людей! Мы должны показать врагам, что наша каторжная жизнь, которую они нам навязали, не мешает нам сравняться с ними в уме и даже встать выше их!"

И точно—мы видим, насколько выше Алеша и Петр белогвардейца Лангового, на какой неизмеримой высоте стоит над своими мучителями откатчик Игнат Саенко, по прозвищу „Пташка".

Сквозь страшные истязания и пытки он проносит несломленное достоинство человека, рабочего, революционера. Это достоинство, эта неспособность предать товарищей в самой крови Пташки, проникает все его существо, является его органическим свойством. Только перед самой смертью он до конца понимает всю глубину вырождения и дикость людей его мучающих, до конца понимает всю их страшную зловредность, до конца понимает необходимость их уничтожения.

> И Пташка понял, что люди эти пресытились всем и давно уже перестали быть людьми; что главное, чего не могли они теперь простить Пташке, это как раз того, что он был человек среди них и знал великую цену всему, созданному руками и разумом людей, и посягал на блага и красоту мира и для себя и для всех людей.

Ненависть овладевает сердцем Пташки.

Без этой ненависти к угнетателям, к врагам истинная человечность так же немыслима, как и без крепкой любви к народу. Без этой ненависти, спокойной и глубокой, человек не может стать полноценным борцом за счастье человечества, не может до конца преодолеть рабьи навыки, преодолеть развращающее влияние капитализма. Вот почему, приобретая эту ненависть, Пташка сразу вырастает, становится более зрелым, более сознательным бойцом.

Человек вырастает в борьбе. Поэтому-то и говорит Петр в беседе с Леной Костенецкой о человечности—„Люди, нашедшие в себе силы отдать себя на борьбу со всем этим гнусным устройством жизни, достигают настоящей человечности в отношениях друг к другу".

Только люди, завоевавшие, овладевшие этой человечностью, ходят по земле как хозяева жизни, знают, чего хотят, уверены в своей победе, только они по-настоящему любят человечество и не только желают, но и добывают ему счастье, только они по-настоящему любят и чувствуют полноту жизни.

Замечателен переворот, происходящий в Лене Костенецкой, позволяющий ей по-новому, радостно и остро воспринять мир, открывающийся перед ней,—„огромный мир природы и людей". Основа этого переворота в постепенном избавлении Лены от „раздробленности", от рефлексии, от склонности к „мучительству". Только сблизившись с людьми, обладающими истинной человечностью, Костенецкая поняла настоящую ценность и прелесть жизни, и ее пессимизму был нанесен решительный удар.

Здесь подмечены очень важные, очень существенные черты, отличающие полноценных людей, полноценных борцов за социализм. Истинное жизнелюбие, истинный, органический оптимизм у них тесно соединены с целостностью взглядов, с единством мыслей и действий, с твердой уверенностью революционера в победе того великого дела, за которое он борется.

Рапповские „теоретики", в свое время, усиленно требовали изображения людей „во всей их противоречивости". Впоследствии некоторые из них пытались уверить читателей, что этим самым они боролись за глубокое раскрытие действительности. Однако, нетрудно заметить, что проповедники „живого человека" в этом случае проделывали несложный и без особого труда разоблачаемый вольт.

Герои произведений, состряпанных по рапповской рецептуре, вовсе не сложны,—они лишь „мучительно противоречивы". Авторы, кого бы ни изображали они,—выдержанного и стойкого большевика, мелкого буржуа, матерого контрреволюционера,—рисовали своих персонажей колеблющимися, мятущимися, раздвоенными, путающимися в неразрешимых противоречиях. Враги, изображенные ими, выглядели безвольными, неопасными, неуверенными в себе.

Люди революции в книгах этого рода оказывались оболганными и очерненными. Вспомним „Рождение героя" Либединского—эту гадкую карикатуру на наших современников. Ни одним из свойств, характерных для передовых людей нашей эпохи, не обладает Шорохов, которого Либединский рекомендует как старого большевика.

Рапповские „теоретики" и „практики", по троцкистской указке, приписывали безысходные противоречия нашей советской действительности. Эту „методологию" они распространяли и на наших советских людей.

Они изображали их бессильными, неспособными к решительным действиям, к подвигам, к упорной борьбе с трудностями и к преодолению их. Они изображали людей революции неуверенными в правоте своего дела и в его победе.

Этим „теориям" и этой „практике" были глубоко враждебны горьковские взгляды на жизнь и на искусство, горьковская любовь к людям, цельным, мужественным, стойким, горьковское умение создавать образы резкие и отчетливые, образы сложные и в то же время чрезвычайно четкие и определенные.

„Людей крупных", „характеры резко определенные", людей, которые „просты и ясны так же, как велики", — вот каких героев учил изображать А. М. Горький, вот каких героев изображал и сам он, создавая таким образом гениальные образцы для наших писателей.

И ценность образов Петра Суркова, Алеши маленького и некоторых других героев „Последнего из Удэге" определяется во многом именно тем, что это образы целостные в своей сложности, тем, что они показывают, как неуклонно и упорно растут люди революции в жестокой и кровавой борьбе, какая уверенность, какая сила сказываются во всех их поступках, какой органической чертой их характера оказывается истинная человечность.

В глубокой любви к жизни, глубокой любви к человеку, в нена-

висти к врагам народа, борющегося за свое освобождение, в идейности романа—обаяние „Последнего из Удэге".

Это—обаяние идей, наполняющих творчество А. М. Горького, обаяние идей, ведущих человечество к освобождению от власти капитала, обаяние идей коммунизма.

IV

„Мы живем в атмосфере ненависти к нам со стороны дикарей Европы, ее капиталистов, нам тоже нужно уметь ненавидеть"—писал А. М. Горький.

„Уметь ненавидеть"... Именно потому, что мы любим человечество, именно потому, что мы хотим видеть его счастливым, мы не можем не ненавидеть врагов человечества, врагов народа.

Это чувство ненависти к врагам должно наполнять произведения советского искусства.

Это чувство должны воспитывать в себе наши художники.

Некоторые наши молодые писатели умеют очень тонко, очень любовно описывать советских людей, работников „мирных" профессий, показывать величие, героизм, заключающийся в самых „скромных" делах.

Но в их произведениях отсутствует иногда нужная жесткость, нужная резкость, нужная суровость.

Эту резкость молодые писатели должны в себе воспитывать. Ведь они имеют верную основу для воспитания ненависти к врагу. Эта основа—крепкая любовь к людям нашей страны, людям, строящим социализм.

В этом отношении характерно творчество двух молодых и талантливых писателей—новеллиста и романиста—В. Гроссмана и Ю. Германа.

Их дарование направлено на раскрытие облика „среднего" советского человека.

Они—в особенности Герман—любят рассказать о людях „мирных", „негероических" профессий. Герои „Наших знакомых"—врач, прораб, агент по закупкам, повар, заведующая детским комбинатом—бывшая домохозяйка.

В рассказах Гроссмана—рядом с комиссарами из „Четырех дней", рядом с коммунистами из „Весны" встают — беспартийный молодой инженер Кругляк из „Цейлонского графита", инспектор безопасности из рассказа того же названия.

В этом-то значение рассказов Гроссмана. Писатель тонко и умно передает обаяние советских людей, показывает, какие возможности таят в себе рядовые работники нашей страны, как быстро растут они и как естественен, органичен этот рост.

И Кругляк, веселый, неугомонный, болтливый Кругляк, съедающий три обеда в день и ведущий нескончаемые, сложные романы,—он отличный работник, упорный борец, блестяще выполняющий важное дело, порученное ему, и вся его жизнь наполнена большим и важным содержанием. Его рассказ о том, как добивался он замены виргинского можжевельника ольхой и липой, южноамериканских смол искусственными

смолами Охтенского завода, цейлонского графита сибирским графитом,—этот рассказ полон подлинного пафоса.

Вся деятельность героев Гроссмана проходит под знаком мечты, прекрасной мечты о счастье человека, мечты реальной, мечты, которую они могут осуществить и которую они осуществляют, выполняя дело, порученное им страной. Вот поэтому-то так счастливы герои Гроссмана, поэтому они живут радостной, интересной, напряженной жизнью.

> Здесь ночью, в предгорьях Алтая, глядя на далекий костер и прислушиваясь к стуку двигателя, он, как никогда, понял все: и громадные темные домны, и тяжелые трактора, и весь в сизом табачном дыму свой рабочий ночной кабинет в Обкоме, и великую радость и смысл своей жизни.

Эти строки из рассказа „Счастье"—описывают переживания секретаря Обкома Безбородова. Но то же самое можно было бы рассказать и о Кругляке, и об угрюмом инспекторе безопасности, и о Волынком—командире одного из отрядов Красной армии, бьющей поляков, и о комиссарах Верхотурском, Факторовиче и Москвине—ведь жизнь их также полна смысла, полна радости, радости людей, борющихся за счастье человечества.

С такой же любовью и энтузиазмом относятся к своей профессии и герои „Наших знакомых".

> Вот таким образом, товарищи, мы вышли из затруднений и с честью дожили до сегодняшнего дня. Мы отборный продукт дали нашим детям. Мы вкусный суп дали в нашей столовой и рагу из кролика и компот. И сейчас отпускаем обеды на дом как в готовом виде, так и в виде полуфабриката. Мы отпускаем с семи до десяти горячие завтраки, и в клубе нашем, в культурном очаге буфет полон недорогих закусок.

Это говорит руководящий повар, шеф-кулинар Вишняков в конце своей речи на собрании поваров-производственников.

И речь эта не может не напомнить нам о словах инженера Кругляка, которые приводились выше. Не потому, что Вишняков и Кругляк говорят об одном и том же, а потому, что одно и то же замечательное чувство пронизывает их речи—чувство преданности своему делу, чувство влюбленности в него.

Так же работает Щупак. Так работают и Сидоров и Сивчук. Так работает Антонина—окончательно преодолевающая в себе „рабу", именно в тот момент, когда она вступает в ряды строителей жилмассива, когда у нее появляется чувство кровной тревоги за порученное дело.

Отношение нерыдаевцев к работе тесно связано с их отношением к людям. И суровый Сидоров, и заботливая Женя, и мечтательный Щупак, и Вишняков—важный и добродушный,—все они горячо приняли к сердцу судьбу Антонины—в сущности совершенно чужой, незнакомой им женщины. Это внимание, оказанное ей посторонними людьми, сыграло благодетельную роль в самый острый, переломный момент в жизни Антонины, оно помогло молодой женщине стать полноценным работником страны.

Сидоров покрикивает на Антонину, посмеивается над ней, разговаривает с ней резко и прямо. И это требовательное отношение к Антонине оказывается лучшей формой помощи ей. Именно поведение Сидорова заставляет Тоню подтягиваться, рвать последние связи с прошлым, работать энергично и хорошо.

Итак, оба писателя—и Гроссман и Герман, несмотря на все существующие между ними различия, увлечены одной темой. Оба они раскрывают в своих книгах обаяние, свойственное людям нашей страны, глубокий смысл, наполняющий их жизнь, все новые возможности, обнаруживающиеся по мере роста людей.

Глубокое уважение и любовь к человеку, советскому человеку, лежит в основе творчества этих писателей. Эта любовь соединяется с презрением ко всем, кто живет ограниченной, эгоистической, паразитической жизнью.

Правда, пожалуй, в книгах Германа и Гроссмана самым страшным врагом является мещанин, обыватель. Но мы можем ожидать, что в следующих своих книгах писатели станут злее, мужественнее, резче, что они расскажут о более опасных и коварных врагах, о тех, кто ненавидит нашу страну отвратительной ненавистью хищника и против кого должна быть направлена ненависть всех, кому дорого счастье человечества.

В 1927 году А. М. Горький писал:

> Мне кажется, что молодая литература не совсем ясно чувствует глубокое различие героизма на час от героизма на всю жизнь, что ею все еще не понята необходимость поэтизации труда.

С тех пор прошло десять лет. Выросла наша страна, выросли люди. Советская литература многому научилась, многое поняла. Ее окружают подлинные герои—герои на всю жизнь; ее окружают люди, для которых труд стал радостью, стал творчеством. И все больше проникается литература глубокой любовью к людям, любовью неотделимой от ненависти к врагам, любовью взыскательной и настойчивой—горьковской любовью.

Великий бой идет на всем земном шаре, между хищниками, пытающимися обмануть, ослепить, удержать в повиновении народные массы, и людьми, ведущими массы на борьбу за счастье человечества, на борьбу под знаменем Маркса-Ленина-Сталина.

Великий бой идет и в искусстве между пессимистами, внушающими человечеству уверенность в его бессилии, ничтожестве, обреченности на страдания, и художниками, которые поднимают чувство людского достоинства, которые зовут людей завоевывать свое счастье, которые знают, что трудовое человечество победит капитализм, уничтожит все следы его.

В этом бою пароль и отзыв всех художников революции—имя Горького—имя великого жизнелюбца, страстно любившего людей и воспитывавшего в людях несгибаемое мужество, непреклонную готовность бороться до конца, до победы.

ДЕВЯТЬ ТОЧЕК

Михаил Козаков

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

IV

Киев отставал. Часовая стрелка революции на киевском циферблате подвигалась медленно, готовая и совсем остановиться.

Первого марта газеты не поместили ни одной телеграммы из столицы, но напечатали приказ главного начальника военного округа генерал-лейтенанта Ходоровича:

> В день кончины в Бозе почивающего императора Александра Второго приказываю музыкантам, горнистам и трубачам—не играть и барабанщикам—не бить.

Было много снегу,—и полицеймейстер Горностаев особыми распоряжениями обязывал домовладельцев очищать трамвайные линии, тротуары и мостовые:

> Желающие для этой цели получить рабочих-военнопленных должны подать заявление в полицейский участок и уплатить вперед деньги по расчету 2 р. 50 коп. за 9-часовой рабочий день.

Было очень холодно,—и комендант города генерал-лейтенант Медер обязал население к сбору одеял для замерзавших на вокзале увечных русских воинов, тысячами пересылаемых с линии фронта.

И в этот мартовский вьюжный день, когда воспрещено было играть трубачам и горнистам и в барабаны бить барабанщикам, в свистящий вой южной метели, закружившейся над городом, вползли, как приглушенный трубный глас, как едва слышный, неясный барабанный бой,— вползли слухи о неожиданных событиях в северной столице ..

И тем, кто не верил этим слухам, предлагалось высунуть нос из квартиры и поглядеть на улицы—на опустевшие, засыпанные снегом киевские улицы: маршировали по ним части гарнизона, объезжали город казачьи патрули, и грелись у костров на углах усиленные наряды городовых в желтых башлыках.

Можно было подумать, что власти нашли лучший из всех способов бороться с метелью: винтовки, пики и шашки.

Еще только вчера Георгий Павлович Карабаев жил той жизнью, которой привык жить. Еще только вчера утром посетил он собрание всероссийского общества сахарозаводчиков, членом которого недавно стал.

— Мы теперь—все равно что фальшивомонетчики!—шутя говорил он, вернувшись домой.—Благодаря стараниям крикливой прессы, население так и смотрит на нас: фальшивомонетчики и мародеры...

Он повторял то, что утром слышал от председательствующего—старика-миллионщика графа Бобринского. Черносотенный граф брал под свою защиту сахарозаводчиков-евреев Доброго, Бабушкина и Гепнера, арестованных недавно военными властями за крупную биржевую спекуляцию.

Жену и Теплухина Георгий Павлович считал нужным держать в курсе промышленных дел:

— Площадь посева свекловицы с 771 тысячи десятин сократилась до 517. Бобринский,—о, он большой знаток этого дела, Бобринский!—утверждает, что при среднем урожае свеклы мы получим всего 67—70 миллионов пудов сахару, а стране и армии нужно свыше ста миллионов пудов... Разрешен ввоз из-за границы 20 миллионов. Это чепуха! Откуда и как вы их изволите ввезти? Предполагается также снять запрещение с сахарина.

— Боже, кто такой пакостью будет пользоваться?—поморщилась Татьяна Аристарховна.

— Будут,—спокойно сказал Карабаев.—А ты его когда-нибудь пробовала?—добродушно-насмешливо спросил он жену.

— Нет... что ты, Жоржа!

— Так откуда ты знаешь, что это такая пакость?

— Слыхала, Жоржа!

— Слух—это не вкусовое ощущение, как известно,—продолжал он насмехаться. -Я бы посоветовал кой-кому заняться этим делом, сахарином...! Не правда ли? -загадочно посмотрел он на Ивана Митрофановича.—Надо учесть, а то учтут другие. Вы можете проявить самостоятельность, друг мой, и не пожалеете,- давал он деловой совет своему смышленному помощнику.—Но главное, господа, надо расширять площадь посева. А для этого владельцы заводов должны быть уверены, что получат и необходимое топливо—минеральное топливо, и необходимые рабочие руки, хотя бы желтый китайский труд, и—это непременнейшее условие!—справедливые государственные цены на сахар, которые оправдают наши расходы, а не бессмысленные преследования промышленников!

— Смешно, Жоржа!—сказала вдруг Татьяна Аристарховна.—У тебя теперь свой собственный сахарный завод, а мы покупаем сахар в магазине... и это совсем не дешево, Жоржа!

Логика!..—вспомнил иронически-добродушно Георгий Павлович о жене, когда она вышла из комнаты.—Хорошо еще, что в своем кругу... Ох, женщины,—а, Иван Митрофанович? Когда женщина имеет дар молчать, она обладает качеством выше обыкновенного!

Это было днем, все шло своим порядком, но вечером в карабаевский дом принесли первое известие о петроградских событиях—и обычное течение жизни, обычный распорядок был нарушен: даже детям было разрешено присутствовать во время разговора в кабинете. Детям, которые раза три только, пожалуй, и видели эту комнату при электрическом свете.

... Сегодня, оказывается, в три часа дня один из высших чинов-

ников управления юго-западных железных дорог начал разговаривать с Петроградом по особому проводу, но не успел он сказать и нескольких слов, как ему предложили прервать разговор:

— Срочно передается важная телеграмма на имя железнодорожников,—пояснили ему и попросили вызвать начальника дороги.

И тотчас началась передача телеграммы за подписью члена Государственной Думы Бубликова. Небывалый случай! Еще не была принята вся телеграмма, но первые фразы ее:

Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной. Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти...

уже облетели все канцелярии и кулуары управления дорог.

Сначала это известие вызвало растерянность и недоверие не только среди высшего чиновничества, но и среди всех служащих: неподготовленные к происшедшим событиям, все выражали сомнение в правдивости телеграммы:

— Не мистификация ли это?

Но вскоре краткие известия стали дополняться более подробными, и к пяти часам стал известен весь текст обращения Государственной Думы к железнодорожникам.

Начальник дороги Шуберский, снесясь с военным округом и полицией, приказал задержать до позднего вечера всех служащих в управлении: ему предложено было „пресечь возможное распространение всяческих антиправительственных слухов".

— ...Пошли телеграмму Льву, попроси ответить! Он-то ведь должен все знать!—советовала Татьяна Аристарховна.—Правда ведь, господа?

Карабаев молча вытягивал рукой свой смолянистый цыганскийус, задумчиво поглядывая на сбежавшихся домочадцев. И так же, не произнеся ни слова, протянул жене только что полученный номер „Вечерней газеты", ткнув пальцем на ее первую полосу с жирным набором:

От редакции.

До 1 часу дня в редакцию телеграмм от собственных корреспондентов из Петрограда и Москвы не поступило.

Это служило красноречивым ответом на предложение жены.

Список членов думского комитета во главе с Родзянкой повторяли бесчисленное количество раз, обсуждая каждую фамилию, строя догадки о Чхеидзе и Керенском: эти две фамилии сбивали суждения Георгия Павловича о политической окраске того нового правительства, которое, вероятно, не сегодня-завтра утвердит, по его мнению, идущий, очевидно, на уступки государь.

— При чем здесь социалисты только?!—открыто недоумевал растерянный Георгий Павлович.

Недоумевал совершенно открыто—вопреки своей всегдашней привычке говорить в присутствии жены и детей обо всем с той убежденностью и категоричностью суждений, которые всегда должны были приниматься ими как самые верные, более верные, точные и справедливые, чем их собственные суждения—жены и детей.

И, словно это открытое недоумение служило теперь разрешением с его стороны высказать им всем свое собственное мнение,—Татьяна Аристарховна, а вслед за ней и старшая дочь, Катя, быстро предположили:

— А, может быть, прости нас, там случилась вдруг революция?

— Глупо!—сказал горячо Георгий Павлович, и—странное дело!—ни жена, ни дочь не обиделись, не отнесли теперь к себе этого горячего карабаевского порицания.

И не ошиблись. В этом они убедились через минуту.

„Глупостью" называл Георгий Павлович революцию. Да, да, революцию, при которой возможен был приход к власти таких людей, по его мнению, как Чхеидзе и Керенский... Не потому, что они страшны были сами по себе,—досадовало то, что без них, очевидно, уже нельзя было обойтись, коли им дали место рядом с Милюковым, Коноваловым и Родзянко...

Значит — случилось что-то такое „чересчурное", как выразился Георгий Павлович, чего эти последние и не ожидали!

Неужели в Петрограде так сильно распоряжается „улица" и так мало сил оказалось у думского „прогрессивного блока"?

Странно как-то... И неожиданно как-то! Чхеидзе есть, а, скажем, того же Лёвушки, брата,—нет! Казалось бы, кому, как не Лёвушке, быть сейчас в первом списке общественной власти? Не так ли?..

О старшем брате Георгий Павлович имел свое собственное мнение, но он ни с кем и никогда бы им не поделился. Это мнение, впрочем, не мешало ему от души любить и уважать Льва Павловича—и как человека, и как политического деятеля. Но... но *правду* о брате, политическую, что ли, правду,—ему казалось, он знает только один.

А правда эта заключалась в том, что брат Лёвушка всю свою жизнь был и остается столь широко распространенным типом русского провинциального интеллигента, представителем „третьего элемента", к которому себя-то Георгий Карабаев не относил. Брат был способным (это—верно), очень трудолюбивым человеком, с нежным и чистым сердцем семьянина, человеком, искренне верящим в свое общественное призвание и, без сомнения, достойным той славы и признания, которыми пользуется; однако, был он, в конце концов, человеком, „рассчитанным" не на всероссийский государственный, а на губернский масштаб призвания.

Собственно говоря, ведь случайно Лёвушка из врачей попал в „финансисты",—думал о нем не раз Георгий Павлович. Только благодаря своей общей одаренности, позволявшей ему в молодости быть и не плохим ботаником (помнится, составил богатейший гербарий) и хорошим химиком, и благодаря трудолюбию—брат в области бюджетных вопросов настолько освоился, что мог удачно выступать на думской трибуне с оппозиционными суждениями. Но,—убежден был почему-то младший Карабаев,—*настоящим* знатокам финансов, теоретикам-ученым и практикам брат Лёвушка вряд ли мог импонировать. Им, вероятно, должен был быть очевиден его дилетантизм.

Однако, благодаря личным своим качествам, он в Думе был одним из самых популярных и любимых депутатов. Пресса всегда его хвалила, и правительство как-никак всегда с ним считалось. В партии его по-

пулярность была очень велика, и в скольких случаях в своей жизни сам Георгий Павлович ощущал над собой этот яркий навес братниной известности, благодаря их родству и одной и той же фамилии!

А как любят Лёвушку! Особенно в провинции: его доклады и лекции собирают множество народа. „Средние круги",—думалось Георгию Павловичу,—чувствуют больше свою духовную связь с Лёвушкой, чем с Милюковым—признанным политическим вождем. Лёвушка кажется этим кругам „своим", из того же самого „теста", что и они сами.

Как оратор, он говорит легко и свободно, ход его мыслей всегда очень ясен и доступен, нередко его полемика находчива и остроумна, манера речи и голос подкупают аудиторию. Если его можно без большого сожаления перестать слушать, то никогда,—признавал это Георгий Павлович,—не приходилось чувствовать, что его и не стоило слушать.

Георгий Павлович вспоминал „Бесы": Достоевский в них говорил, что ни одного оратора нельзя слушать больше двадцати минут. Для нынешней провинциальной публики это утверждение великого писателя было совершенно неверно: она любит многословие и принимает испытываемую ею скуку за доказательство серьезности и особой ценности выслушанной лекции или речи.

Сам Георгий Карабаев в своих выступлениях был краток и весьма деловит: краткость,—считал он,—душа умной речи. Впрочем, ему никогда, в противоположность брату, не приходилось выступать перед большой аудиторией: люди, с которыми он имел дело, в редких случаях собирались в количестве, большем двадцати.

Брата—некогда скромного земского врача—вознесла не случайная удача, не чужая рука, а его собственная работа,—за это он любил Льва Павловича, ценил его и, когда по первому известию о событиях в столице узнал, что тот почему-то не упоминается нигде,—досадовал и недоумевал искренне и даже болезненно.

„Как это случилось?—терялся он.—Ведь Государственная Дума, а затем эта знаменитая заграничная прошлогодняя поездка к союзным правительствам так выдвинула Лёвушку в первые ряды и подготовила безусловно всех к тому, что Лев Карабаев явится одним из несомненных кандидатов на министерский портфель, как только старая бюрократия уступит место ответственному министерству... А теперь что же это?—сокрушался он.—В конце концов многие другие ничуть не лучше Лёвушки! Подумаешь, Караулов или какой-то там Ржевский?!."

В сущности, он был прав.

Говоря по телефону в этот вечер с местными заправилами кадетской партии и некоторыми участниками утреннего собрания сахарозаводчиков, Георгий Павлович у каждого из них проверял полученное известие. И каждого, затаив истинную свою цель, просил называть точно фамилии членов думского исполнительного комитета, ссылаясь на то, что сведения на сей счет якобы не совпадали: в одном месте ему, мол, назвали депутата Караулова, а в другом—совсем иную фамилию.

Огорчительно было еще по одной причине: хорошо было бы сейчас иметь брата *министра*! Хорошо—по разным соображениям.

Но о них, конечно, Георгий Павлович также никому не поведал.

Поистине, этот день богат был сюрпризами!

Часов в десять вечера старший дворник принес заклеенный конверт и через горничную вручил его Георгию Павловичу.

Теплухинское письмецо было написано торопливой рукой и чрезвычайно неясно по смыслу.

В самом деле, что за неожиданный отъезд, о котором еще два часа назад ничего не было известно? И куда? Поездом, и далеко ли?

Да, было от чего недоумевать...

Тот, к кому мчался в этот момент Иван Митрофанович, стоя, за взятку старшему кондуктору, в переполненном вагоне отбывшего на север поезда,—провел этот день не менее беспокойно и тревожно.

Он жил в Петербурге, а столица походила теперь на огромную бутыль, которую взбалтывали и опрокидывали так, что любая капля в ней могла соприкоснуться с другой—вчера еще далекой от нее. И потому протопоповский человек—Вячеслав Сигизмундович Губонин, сопровождаемый своим верным Лепорелло-Кандушей, вместе с рядом других людей, не имевших никакого отношения к военным кругам, очутился, загнанный событиями, в последней цитадели военного министерства—в Адмиралтействе.

События шли так:

В то время, как в Могилеве происходили сборы и литерные поезда царя и свиты двинулись по направлению к столице, генералы Хабалов и Зенкевич вместе с военным министром Беляевым, с кучкой верных им офицеров и солдат перешли из Зимнего дворца в здание Адмиралтейства. Здесь они заняли фасады, обращенные к Невскому, артиллерию поставили во дворе, во втором этаже разместили пехоту, а на углах, подходящих для обстрела, расставили пулеметы.

Снарядов было мало, патронов почти совсем не было, есть было нечего. У казачьей сотни лошади были непоены и некормлены.

Казаки были расквартированы в казармах Конного полка,—пришлось отпустить их туда, но мало кто из них возвратился оттуда. А те, что и пришли обратно, в разговорах были угрюмы и насмешливы.

Кандуша вертелся среди них, ловя по привычке каждое слово.

Огромный казак в лихо закинутой назад папахе, из-под которой выбивался жесткий чуб кудрявых волос, с белым сабельным шрамом поперек лба, рассказывал, как расстреливали при нем на улице стрелявшего с чердака в толпу городового:

- ...А ён перед паганом пузо втягивает, вьется—сука!.. Как берет на огне, его, голубчика, поводит. Ех, дела пошли, прости господи!..

Кандуша мгновенно представил себе, как это „поводило“ полицейского, как втягивал он от страха свой живот,—и дрожь и тошнота охватили его самого.

— Сыщик?—исподлобья глядя, спросил его другой казак и подмигнул остальным.

— Чиновник, казаки... чиновник!—поспешно ответил Пантелеймон Никифорович.—Вот, мы-с вместе с тем господином начальником...— показал он рукой на стоявшего в отдалении Губонина, беседовавшего с каким-то офицером.

— Сыщик...—упрямо и убежденно, скучным голосом, откашливаясь, сказал плотный, коротконогий казак.

— Почему так?—не отказал себе в любопытстве Кандуша.

— Видать сыщик... Вашего брата, ежели что, керосином обливать будут и спичкой задницу запа́лят,—верное слово!

— Шуточки!—позеленел Кандуша.—Но я, между прочим заметьте, никакой не сыщик вовсе...

— Сыщик...—все тем же вялым, скучающим голосом дразнил его казак.—Ну, может, шпик. Шпик или сыщик—все есть равно. А знашь как говорят? В земле, сказывают, черви, в воде черти, в лесу, сказывают, сучки́, в суде крючки, а везде шпики,— куда, значит, уйти?

Полный, коротконогий, широкозадый, как Санчо Панса, казак вдруг зло и холодно процедил:

Ох, казачки́, не люблю, смерть как, жидов и сыщиков!

В его глазах было столько безмерной ненависти, что испуганный Кандуша почувствовал себя одновременно и тем и другим... Он поспешно ретировался.

Из главного штаба пробрался сюда дежурный адъютант. Он доставил Хабалову запрос по прямому проводу спешившего на выручку генерала Иванова.

Новый командующий петроградским округом, наделенный царем диктаторскими полномочиями, требовал ответа на десять пунктов:

1. Какие части в порядке и какие безобразят?
2. Какие вокзалы охраняются?
3. В каких частях города поддерживается порядок?
4. Какие власти правят этими частями города?
5. Все ли министерства правильно функционируют?
6. Какие полицейские власти находятся в вашем распоряжении?
7. Какие технические и хозяйственные учреждения военного ведомства ныне в вашем распоряжении?
8. Какое количество продовольствия в вашем распоряжении?
9. Много ли оружия, артиллерии и боевых припасов попало в руки бунтующих?
10. Какие военные власти и штабы в вашем распоряжении?

Хабалов ответил телеграммой по пунктам:

1. В моем распоряжении здание главного Адмиралтейства, четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен и две батареи. Прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются, по соглашению с ними, нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя прохожих, обезоруживая офицеров.
2. Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются.
3. Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.
4. Ответить не могу.
5. Министры арестованы революционерами.
6. Не находятся вовсе.
7. Не имею.
8. Продовольствия в моем распоряжении нет, в городе к 25 февраля было 5 000 000 пудов запаса муки.
9. Все артиллерийские заведения во власти революционеров?

10. В моем распоряжении лично начальник штаба округа. С прочими окружными управлениями связи не имею.

Революция победила,—оставалось ждать помощи с фронта.

Губонин, узнав от знакомого офицера текст хабаловского ответа, быстро оценил положение. Надо было прежде всего уйти из Адмиралтейства и скрыться на некоторое время,—ближайший день-другой покажет, что надо будет потом делать.

Прибытие в Адмиралтейство адъютанта морского министра еще больше укрепило принятое Губониным решение: адмирал-министр, лежавший в жестокой инфлуэнце и уже подвергнутый домашнему аресту, требовал от Хабалова очистить все здания морского ведомства и „перейти куда угодно". Адмирал сообщал, что, по его сведениям, крепость Петра и Павла готова начать обстрел Адмиралтейства, а вооруженная толпа с улицы пойдет на штурм.

Совещание длилось недолго,—через час Адмиралтейство пало. Для этого не потребовалось ни единого выстрела.

Артиллерия была отправлена обратно в Стрельну, откуда была вызвана раньше; были оставлены замки от орудий. Пулеметы и ружья спрятали в здании, и пехотинцы вышли на улицу без оружия.

Затесавшись в ряды солдат, Губонин и Кандуша под вечер очутились на Невском, а через час—в губонинской квартире на Сергиевской.

Их встретила в прихожей жена Вячеслава Сигизмундовича: круглолицая, с лихорадочным румянцем на щеках, с влажными темными глазами и пухлыми, словно только что нацелованными, красными губами.

— Вячек...—полушопотом говорила она. За вами днем приходили уличные... боже, как я перепугалась!

Он поцеловал ее руку, она—лоб его.

— И что же вы сказали, Аннет?

— Я сказала, что вы уже неделю в отсутствии, в министерской командировке на Кавказ.

— Они поверили?

— Да, да—поверили! Но, правда, не все, Вячек... „Смотрите вы,—угрожал мне один из них.—Мы придем сегодня же и проверим. Если вы нас обманули—будете тоже арестованы". Они вас искали, Вячек, по всей квартире, даже кладовку открывали. Они рассказывали, что Щегловитова нашли в кухне его соседей по дому. Представьте, он сидел там переодетый в простую солдатскую шинель и любезничал, как кум пожарный, с молоденькой прислугой! Боже, что со всеми вами сделалось, господа!.. Я сказала, что у девочек скарлатина,- и они не вошли в детскую, а только заглянули туда. Воображаю, если бы они знали, что это только корь,—уж наверно бы под кроватями!.. Вячек, что же дальше? Как это кончится?

Они заговорили по-французски, и больше говорил теперь Вячеслав Сигизмундович, а жена внимательно слушала, изредка подавая реплики и роняя восклицания.

Потом они оба ушли в глубь квартиры, и Кандуша остался один в столовой, дожидаясь распоряжений своего начальника.

Через четверть часа тот вновь появился, но его сразу и не узнать было: годами носимая широкая голландская бородка пала жертвой безжалостной бритвы! Лицо преобразилось,—бритое, „актерское", теперь

лицо с тупым квадратным подбородком!.. От непривычки ощущать его голым, незащищенным Вячеслав Сигизмундович поминутно прикладывал к нему руку, инстинктивным жестом поглаживая место несуществующей уже бороды.

— Гос-споди, боже мой, до чего довели!—смешливо и жалостливо воскликнул Кандуша, всматриваясь в новое лицо своего начальника.— За эту, осмелюсь сказать, парикмахерскую хирургию—слезы кровью у них капать будут! Ох, будут, когда его императорское величество с войсками сюда прибудут!—погрозил он кулаком.

Губонин усмехнулся голым, тонким ртом:

— Прибудет, говоришь?

— А как же иначе?—не мыслил другого Кандуша.

— Н-да... Я слышу весть, но с верой—я в разлуке, друг мой! И с семьей в разлуке... понимаешь?

Губонин оглянулся: не слышит ли его из соседней комнаты жена.

— Мы с тобой сейчас прах и тень. Боюсь, что все кончено, Кандуша. Боюсь... А надо видеть последний час бесстрашными глазами. Последний час—ты понимаешь? Где-то за границей я видел как-то башенные часы. На них была старинная надпись на циферблате: „все удары часов приближают к смерти, последний удар несет смерть". Все—ранят, последний—убивает...

Казалось, он говорит теперь сам с собой. Кандуша никогда не видел, чтобы глаза его так блуждали, а плечи ежились, как будто все тело сжало ознобом,—и Кандуше стало не по себе.

— Дудки!—инстинктивно уже защищая самого себя от такого состояния, выкрикнул он.—После дождичка в четверг!..

— Тише!—остановил его Губонин.—Не напугай моих детей...

Он расстался со своей минутной слабостью и стал уже прежним Губониным: предусмотрительным, деловым, распоряжающимся.

Отдав все приказания по дому, он попрощался с женой, предупредив, что ближайший день-другой пробудет в конспиративной квартире на Ковенском и оттуда постарается сноситься с домом: он взглянул на Кандушу, и жена поняла, кто будет осуществлять эту связь.

Уходя, Вячеслав Сигизмундович переоделся: на нем была теперь шинель путейского инженера и такая же фуражка. Маленький, узенький красный бантик, наскоро смастеренный женой, как бабочка, припал на булавке к его груди.

— Понимаем!—сказал Кандуша и попросил красной ленточки и для себя.

Они вышли на улицу, держа путь к конспиративной департаментской квартире, ключ от которой был у обоих.

Но не так-то легко и просто было попасть теперь туда: от угла Сергиевской весь Воскресенский был закрыт для пешеходов. На нем выстраивались какие-то войсковые части, почему-то забаррикадировавшие себя со всех сторон. Пришлось повернуть обратно, дабы окружным путем, через Кирочную, выйти к Знаменской артерии.

Сергиевская и прилегающие улицы были полны народа. По ним беспрерывно тянулась толпа в одном направлении—к Государственной Думе, в Таврический дворец.

С музыкой и факелами, понапрасно зажженными, потому что было

еще достаточно светло, проходили войска—отбивая попрежнему молодцеватый походный шаг, но уже не безмолвные, а возбужденно, весело оглашающие улицу криками приветствий народу.

Громыхала артиллерия по мостовой, сотрясая стекла в домах. С винтовками за плечами, в черных бушлатах, с обтянутыми красным околышами матросок, с развевающимися позади ленточками, торопливым полубегом (казалось—на цыпочках) заворачивали к Таврической прибывшие в столицу кронштадтские моряки.

Хрипели остуженно сирены сдавленных в толпе грузовиков, пробивавших себе дорогу. Какой только не был на них груз!

Огромные рулоны бумаги и ящики папирос. Горы винтовок и револьверов и воинские полушубки. Какие-то арестованные люди под конвоем солдат и студентов, и тут же, на том же грузовике,—бочки с керосином. Обледеневшие туши мяса и груда жестяных кружек. Пудами колбаса, консервы и хлеб—на грузовиках и в легковых машинах с красными флажками.

Все это, стиснутое в пути неумолимой каменной стражей домов, туго напирало друг на друга, загораживая надолго путь отдельным пешеходам, как Губонин и Кандуша, стремившимся выбраться из общего потока, чтобы итти своей дорогой и к своей собственной цели.

Ну, видал?—тихо спросил Вячеслав Сигизмундович своего досадливо фырчавшего спутника.

Примечаю, пипль-попль! В оба глаза примечаю... Причесать бы их сейчас из конца в конец пулеметами. Гос-споди, боже мой, неужто не причешут под самую холодную машинку завтра или когда там?! —громче нужного, теряя осторожность, сказал „с сердцем" Кандуша.—Глядите, пищи сколько награбили!

Он весь день ничего почти не ел и болезненно чувствовал сейчас свой лающий, бурчащий от голода желудок.

— Позволю сознаться,—уже совсем громко проворчал он,—кушатки так хочется, как другому в то место, куда сам царь пешком ходит!

Он был услышан. Какой-то по-детски маленький, пучеглазый человечек с каракулевым пирожком на голове, сползшим на затылок, с расстегнутым портфелем подмышкой схватил его за рукав:

Товарищ! О чем же вы думаете, как индюк, у которого запор?.. Я иду туда—пошли со мной! Так только и питаюсь эти два дня: на иждивении у революции. Рабочий? Я вижу—рабочий. Ну, так в чем же дело? Крушить к чортовой маме царский режим можно, а скушать бесплатно два революционных бутерброда нельзя? Хо-хо, пошли!

Вокруг на панели весело посмеивались. Незнакомый человечек сыпал словами, как пулемет пулями.

— Простите, где же это революция бесплатно кормит рабочих?—вежливо улыбаясь, спросил, вместо оторопевшего Кандуши, Вячеслав Сигизмундович.

Незнакомец, задрав голову (шапка чуть-чуть совсем не свалилась с нее), посмотрел на рослого „инженера" с красным бантиком на груди:

— Не только рабочих, но и всех, кто за революцию,—народ! Народ включает в себя и его, и вас, товарищ инженер, и меня—журналиста.

— Вы журналист? Вот интересно. Вы, наверно, много чего знаете в таком случае?—полюбопытствовал уже Губонин.

— А вы как думаете?! — весело подмигнул человечек. — Куда, знаете, сатана не может сам пойти, туда посылает он гонцом газетчика!

Расталкивая людей на панели, он стал пробираться вперед, а за ним— Вячеслав Сигизмундович и Кандуша. Один—увлекаемый желанием узнать как можно больше новостей о враждебном лагере, другой—по той же причине да еще томимый голодом, с которым Пантелеймон Никифорович всегда, по природе своей, трудно совладал.

Ни тому, ни другому это путешествие на соседнюю улицу не представлялось рискованным: их и раньше никто не знал в лицо (Кандушу-то—наверно), а теперь—и подавно любой знакомый Губонина с трудом признал бы его, резко изменившего облик после того, как сбрил столь характерную для него „голландскую" бороду.

Предводительствуемые шустрым и разговорчивым журналистом, они через четверть часа очутились в помещении какого-то кредитного общества, расположенного в бельэтаже большого дома, у ворот которого стояла теперь почему-то пушка, охраняемая по всем воинским правилам артиллерийской прислугой.

В длинной, просторной конторе кредитного общества кишмя кишел народ: здесь открыт был питательный пункт.

Четыре огромных самовара, поставленных на табуреты, собрали вокруг себя очередь за кипятком, за чаем. Его наливали в кружки, в стаканы и даже в бутылки (нехватало нужной посуды) сменявшие друг друга женщины. Затем люди переходили в другую очередь—к „вексельному" окошку потерявшего свой чинный облик кредитного общества, и там то одна, то другая деревянная солдатская ложка ловко высыпала в подставленные кружки и стаканы сахарный песок. Он был желт,—таким его выделывали в последнее время,—и в нем было немало мелкого мусора, но сладость горячего чая Кандуша ощутил сейчас, как никогда раньше, приятно.

На расставленных вдоль стен столах лежали колбасы и хлеб. Вооруженные ножами всяческих размеров, стоявшие за столами, как за ярмарочной стойкой, люди нарезали колбасу и хлеб для бутербродов. Эти люди большей частью также сменялись,—таково было неписанное правило, установившееся здесь: подкрепился едой—становись на работу. Заменят тебя—можешь продолжать свой путь. Куда?—об этом можно было и не спрашивать: все, как правоверные в Мекку, стремились теперь попасть в неумолчный, бессонный круглые сутки Таврический дворец.

Невольно подчиняясь общему порядку, которого меньше всего, на первый взгляд, можно было ждать от этой бурно гудящей, толкающейся во все стороны толпы, Кандуша, отстав вначале на минуту от своих спутников, уже далеко стоял от них в очереди и за кипятком и за сахаром и только глазами стерег инженерскую шинель Вячеслава Сигизмундовича. Издали он видел, как тот все время не отпускал от себя оживленного, разговорчивого собеседника, как шустрый журналист вынул какие-то листки из своего пузатого портфеля и читал что-то мигом собравшейся вокруг него кучке народа.

„Заметим тебя, пучеглазый муравейчик... Приметим мы тебя, муравеишко, пипль-попль!“—раздраженно думал Кандуша о крамольном журналисте,—думал по старой привычке „ловца человеков“.

„Занесем-с куда следует!..“

Мало ли карточек—белых, синих, красных—написано, составлено, пронумеровано на потайной, хранимой, как зеница ока, кандушиной „охранной дуге“?.. Вот: раскрыть ее, выпрямить в один длинный-длинный ряд—и лягут карточки цветными, звучащими клавишами человеческих дум и поступков. Неустанно проверяет Кандуша чистоту и правильность звука, басами и дискантами, колоколом и трелью гудит и переливается вся его тайная клавиатура, коль прикоснется к ней умелыми, ловкими руками!

Теперь надо будет занести—обязательно занести!—на „дугу“ и этого „муравеишку“-газетчика, и вот того золотогривого великана-студента, что командует тут всеми, и того „оболтуса“-гимназиста, что метлой снял с крюка и под гиканье остальных „печенегов“ растоптал ногами цветной портрет его императорского величества, и смазливую дамочку в каракулях, запевающую „марсельезу“, и многих, многих других надо запомнить, отметить теперь... Гос-споди, боже мой, да разве когда раньше возможен был такой „улов“?

Нехватало глаз и времени примечать этих людей. Их было множество: как рыбы, выброшенные наводнением на берег,—бери, подбирай каждую и клади в кошелку!.. Вот придет завтра его императорское величество с верными ему войсками,—и тогда...

То ли от этой жаркой мечты, то ли от горячего чаю и жадно проглоченных бутербродов—Пантелеймону Кандуше стало весело, позорному весело, и он игриво и неосторожно ущипнул в толкотне и давке плечико проходившей впереди него незамеченной сразу женской фигуры. Та оглянулась, ища обиженным быстрым взглядом нескромного шутника:

— Что это еще такое?

Но, не найдя, конечно, виновного в этой быстротекущей по залу толпе, она готова была уже пройти вперед, как в эту секунду, сбоку, ей бросилось в глаза лицо Пантелеймона Никифоровича.

— Кандуша!—вскрикнула его знакомая.—Ах, вы тоже здесь?..

Никто, кроме него, не обратил внимания на этот женский—удивленный, растерянный и гневный—выкрик: он естественно затерялся в общем шуме.

— Барышня! Ирина Львовна!..—подался ей навстречу Кандуша.—Что делается, гос-споди, боже мой! Такие дела-делишки...

Он намеревался еще поближе протиснуться к Ирише, но ее нахмуренные брови и незнакомо-насмешливый взгляд остановили его.

— Да, дела-делишки... Хорошие дела и подлые делишки, Кандуша!—переговаривались они, отделенные друг от друга кружащимся потоком людской толпы. Толпа все это слышала, но, конечно, не слушала.

— Товарищи!—крикнула Ириша Карабаева. И так звонко, что обратила теперь внимание всех присутствующих.—Я хочу сказать вам, товарищи... Здесь, среди свободных граждан России, вертится шпик из охранки! Надо задержать его, арестовать. Вот он!

Она указала рукой в ту сторону, где стоял Кандуша, и люди, стараясь опередить друг друга, качнулись к тому месту:

Где он?

— Какой?

Держите его!

Но в общей сутолоке не понять было, на кого указывает рука девушки в желтой замшевой перчатке. Хватали друг друга за рукав и за воротники пальто, хватали неповинных людей, вспыхнула перебранка.

— Товарищ-барышня, этот... этот?—показывали Ирише схваченных „шпиков".

Те протестовали, конечно, но не пытались бежать, и она досадливо, отрицательно качала головой:

— Ах, нет, товарищи... нет! С маленькими усиками, с мутными глазами, финская шапка на голове... Куда же он делся... вот чорт!

Пользуясь общей сутолокой, Кандуша исчез.

Через несколько минут Ириша увидела Асикритова. Он стоял за столом и, орудуя длинным пекарским ножом, резал колбасу и перебрасывал ее на соседнюю стойку.

Поглощенный, казалось, таким же занятием—стоял рядом с ним какой-то инженер в путейской шинели с красным бантиком на груди.

— Дядя Фом, ура-ра!—подскочила она к журналисту.—Да здравствует...

— Да здравствует, Ириша!—закричал он, не дождавшись конца ее фразы.—Бегу, девонька, в Таврический. А ты куда?

— Мы на грузовике хлеб сюда привезли, а теперь и я туда. Я там целый день почти. Вот это жизнь, дядя Фом!

— Ромео своего видала? А я имел честь лицезреть вчера!

— Нет...—покраснела она, догадавшись, о ком шла речь.— Где он? Что с Ваулиным... ради бога!

— Ха-ха-ха-а!—залился вдруг смехом Фома Матвеевич.—Один, понимаешь, сапог черный, а другой—земгусарский, желтый! Как это вы так?—спрашиваю его. Ох, ты бы на него посмотрела только!

— Да где же он? Где?..

Он пожал плечами:

— Чего не знаю—о том врать не буду, Ириша.

Она выволокла журналиста из-за стола и накинулась на него с расспросами.

Губонин незаметно очутился рядом с ними и стал прислушиваться. Через десять минут он покинул гудевшее ульем помещение „революционной обжорки".

V

О том, что видела и слышала за пятеро суток, проведенных в Таврическом дворце, она, Ириша, могла бы, казалось ей, рассказывать месяц, и все же нехватило бы ни памяти, ни времени запомнить и передать все.

Она чувствовала только одно: мир, ее собственный прежний мир привычных впечатлений, надежд и поступков, из которых складывалась она сама—живой человек—Ирина Карабаева,—безвозвратно утерян. Создавался новый, иной мир для нее. Он обещал и новую судьбу—

для всех вокруг и для нее самой. Какая это судьба и что за мир такой—об этом некогда было по-настоящему подумать.

Все ее мысли были теперь во власти фактов, сумбура ежечасных и ежеминутных событий, встреч и происшествий, как воронка втягивавших в себя ее время и внимание.

Последнее время она жила в толпе. В огромной, многотысячной толпе. Это никак не походило на ее обычное существование!.. Она видела вокруг себя людей, множество людей, которые жили теперь так же необычно, как и она сама. Вчера еще неизвестные и незнакомые один другому—они были теперь неразлучны друг с другом, и каждый из них словно познавал себя в соседе: в этом и состояло теперь их новое знакомство, хотя они и оставались друг другу неизвестны, как и прежде.

Ириша жила в толпе—мыслями, поступками своими, жестами, речью своей. Жила—как каждый рядом с ней. Они уподобились все некиим кораллам: те, именуемые мадриопорами, живут в природе вместе, не расставаясь. Это братство, нераздельное единство, одно существо во многих и многие в одном. Пища, полученная одним, приносит пользу всем, и рана, нанесенная одному, равно чувствуется каждым из них.

Что она делала в Таврическом дворце?—Все, что приходилось и что хотела.

Она была „вестовым" думского комитета и „телефонисткой" Совета рабочих депутатов. Ездила на грузовике за хлебом к воротам каких-то интендантских складов и разносила пищу по многочисленным комнатам дворца. Дежурила в различных комиссиях, выросших нежданно во всех углах Таврического, и вела список членов только что образовавшейся солдатской секции Совета. Раздавала катушки трамвайных билетов поротно солдатам, хотя в тот день трамваи бездействовали, и ведала аптечкой в одном из крыльев дворца. Она искала работы, какой угодно работы,—и ее находилось много, очень много.

Она делала то, что делали теперь тысячи других людей,—Таврический дворец стал для всех них новым домом, новым жильем большой, невиданно-большой семьи.

Все эти люди, которых она знала теперь в лицо и по голосу: Родзянко и Керенский, Милюков и Чхеидзе, думские знаменитости и вожаки Совета рабочих депутатов,—брали из ее рук тарелки с едой, бутылочки с валерианкой и порошки от головной боли, папиросы, пакеты и телефонограммы, резолюции полков и донесения об арестах,—и она видела, что никто теперь ничему здесь не удивляется: не удивляется, например, тому, что всё это почему-то делается ею—незнакомой им Иришей и еще сотнями таких же неизвестных им людей, как она.

Она металась из конца в конец по дворцу, выполняя различные поручения.

— Товарищ!—хватали ее за рукав.—Необходимо организовать стол питания для членов исполнительного комитета! Передайте там кому следует... живо!

Боже мой, почему именно она должна была это делать и кому, собственно, следовало о том сказать?

Ее веселил этот хаос, ей в голову не приходило роптать на кого-

либо, спорить,—она бросалась выполнять эту просьбу, как если бы она и впрямь была ее обязанностью.

И она знала: прикажи она сама кому-либо что-нибудь сделать—тот, к кому обратится она, Ириша, немедля поступит так же, как поступила и она сама.

Через десять минут „стол питания" вносился в комнату заседания, и люди мигом обступали его со всех сторон. „Сервировка" и приемы питания были поистине варварскими, но, боже мой, как все это было весело!..

Наливали чай из более чем сомнительных чайников в жестяные заржавленные кружки. Залезали грязными перочинными ножами в банки с консервами, суя в них пальцы. Чай размешивали ручками и чернильными карандашами и вытирали газетами измазанные руки. И сама Ириша так питалась,—увидала бы мать, Софья Даниловна!..

Горбоносый, сивобородый старик Чхеидзе, прикованный к председательскому месту, выкатывал гневно глаза и, размахивая волосатым кулаком, на который наползала не первой свежести манжета без запонки, неистово орал:

— Призываю к порядку и протестую! Что такое?!. Здесь заседает орган революционной демократии, а вы тут удовлетворяете какие-то свои естественные потребности! Или шпроты, или заседание—одно из двух! Я закрою заседание!..

Но все эти заседания не закрывались, а продолжались до поздней ночи и возобновлялись, как только просыпался первый десяток членов Совета.

Она несколько раз видела близко-близко от себя Керенского. Он вызывал теперь всеобщее внимание, он приучил всех к неожиданности своих поступков.

Однажды Ириша вместе с двумя другими курсистками внесла на подносе чай в помещение думского комитета. (Его оттеснили теперь в две крохотные комнаты в конце бокового коридора, напротив библиотеки.) За столом, покрытым зеленым бархатом, сидел в окружении сеньёрен-конвента сумрачный, тяжелый Родзянко. Веки набрякли, лицо лоснилось—словно неумытое.

В числе других она увидела и своего отца: Лев Павлович улыбнулся ей усталыми, нежно смотревшими глазами.

Не успела она расставить на канцелярском столике стаканы, как дверь с шумом распахнулась и влетел Керенский. За ним—двое солдат с винтовками, а между ними—сухонький благообразный старичок в зеленом чиновничьем сюртуке. В руках он держал кипу каких-то пакетов, на них были огромные сургучевые печати.

— Положите на стол! Можете итти!—при общем недоуменном молчании распоряжался Керенский.

Солдаты повернулись по-военному—через правое плечо, не согнув корпуса, а старик-чиновник, прежде чем выйти, вынул из кармана какую то расписку, на которой Керенский быстро поставил свою подпись.

— Наши секретные договоры с державами!—драматически возгласил он.—Вот, спрячьте, господа... сами понимаете...

И так же неожиданно исчез, как и появился здесь.

— Господи, что же мы с ними будем делать?—оторопелым тенорком нарушил кто-то минутное молчание.—Ведь даже шкафа у нас нет!

— Что за безобразие!—загудел своим запорожским басом Родзянко.—Откуда он их таскает?

Видно было, что он хотел разразиться бранью, что было в его натуре, но, очевидно, присутствие барышень его сдержало.

На лицах присутствующих была одна и та же мысль: куда же, в самом деле, деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие только есть...

Что за чепуха! Так же нельзя... Ну, спасли *эти* договоры, но все остальные могут растащить? Мало ли по всем министерствам важных государственных документов? Не тащить же их все сюда? Да и куда, собственно? Здесь нет не только шкафа с ключом, но даже ящика нет в столе!..

— Знаете, что?—сказал вдруг неизвестный Ирише человек с хитроватыми глазами, с голым мячеобразным черепом и широкой бородой. (Это был октябрист Владимир Львов—назавтра он стал обер-прокурором синода.)—Знаете, что?.. Бросим их под стол! Ну, да, под этот стол. Под скатертью их совершенно не видно будет. Никому в голову не придет искать их там. Смотрите, господа...

И пакеты отправились под стол. Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола.

— Как раз подходящее место для хранения важнейших актов Державы Российской!—иронически-печально покачал головой Карабаев, принимая чай из рук дочери, и, пользуясь этим случаем, незаметно погладил иришину руку.

— Полноте! А есть ли еще эта Держава?—зло скрипел зубами запомнившийся Ирише лицом усатый Шульгин.—Государство ли это, или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедший дом?!

Ириша покраснела, ей хотелось крикнуть что-то дерзкое, гневное в ответ этому презрительно усмехавшемуся человеку, но она поняла, что сейчас не время.

Через минуты две—снова Керенский: быстрыми шагами, опять с солдатами. Они тащили, как тушу, огромный кожаный черный мешок.

И снова—повелительно:

— Можете итти!

Боже, что это еще такое?

— Господа, тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили,—спрячьте!.. Я стал носильщиком, господа... Так нельзя больше... Предлагаю обсудить!

Он исчез—похохатывая, обнажая широко свои желтые десны.

И черный кожаный мешок с двумя миллионами депутаты Думы, встав со своих мест, брезгливо и опасливо оглядываясь на дверь, затолкали ногами, как труп какого-то большого животного, под стол, накрытый зеленым бархатом.

— Павел Николаевич!—схватив Милюкова за руку, сказал ненавистный Ирише длинноусый Шульгин.—Довольно этого кабака! Мы не можем управлять Россией из-под стола!..

В этот момент Ириша вышла из комнаты: оставаться дольше—было бестактно, да и отец подмигивал—„уходи“.

В тот же день, здесь же, в Таврическом, она встретила человека, имени которого уже давно поклонялась в душе. Это был Максим Горький.

Три месяца назад она впервые в жизни увидела знаменитого революционного писателя. Он должен был выступать в вечернем рабочем Лутугинском университете, помещавшемся в ремесленной школе Механического завода: там большевики устраивали лекции и литературно-художественные вечера в пользу партийной кассы. Выступление Горького в тот день не состоялось, но через неделю „караулившая" его Ириша вместе с группой студентов счастливо попала в маленький зал Сампсониевского общества трезвости, где писатель читал тогда свое новое произведение „Фомичи и Лукичи"—антивоенную, пораженческую вещь. Не обошлось без вмешательства полиции, вызванной кем-то из провокаторов, но Горького успели усадить в извозчичьи сани и умчать до прихода „фараонов".

Теперь она видела его совсем близко.

Высокий, сутулый, в каракулевой шапке, чуть-чуть наползшей на лоб, как покосившийся церковный купол. Шуба расстегнута на все пуговицы, полы—в стороны, открывая синие брюки костюма, но широкий воротник плотно облегал шею, сцепленный крючечком застежки.

Он шел в сопровождении члена петроградского Совета Соколова и еще какого-то бритого, с львиным профилем, мужчины, лицо которого было мелко изрыто оспинами ямочками. Очевидно, Соколов вел их обоих по направлению к комнате № 13, где помещался Исполком,— идя сбоку, Ириша заключила о том из их разговора.

Говорил больше Соколов—сильно жестикулируя, поминутно задерживая свой шаг, словно ходьба серьезно мешала ему разговаривать; молчалив был второй спутник Горького, а сам он отвечал односложно и хмуро,—могло показаться, что он чем-то недоволен: частое, короткое покашливание его было сварливо.

На пути, в зале, где Горький, залюбовавшись великолепными ионическими колоннами, восхищенно расхваливал их, попался им человек, с которым они задержались на десять минут, отойдя в сторонку и присев к столику, на котором валялась беспризорно кипа каких-то разноцветных афишек.

Ириша уже знала этого человека по заседаниям Совета. Это был известный бундовец Либер: низенький, запоминающегося вида человек с классической головой семита, с черной ассирийской бородой, с внимательным взглядом исподлобья, с постоянной саркастической усмешкой на устах и женственными, кошачьими движениями.

На трибуне он был горяч и груб со своими противниками: его сухощавая фигура подскакивала тогда, как будто под каблуками были подбрасывавшие его пружины, а поднятые вверх, как свечечки, указательные пальцы по бокам лица дополняли впечатление о Либере, как о каком-то восточном божке на молитве. Голос его надрывался на высоких нотах, и это вызывало иногда в зале невольный смех.

Желая подольше понаблюдать знаменитого писателя, Ириша притаилась за одной из мраморных колонн, откуда видно и не плохо слышно было всех его собеседников.

— Не понимаю вас,—с чем-то не соглашался Горький.—Совсем не

понимаю,—густо „окал“ он, покашливая после каждой затяжки папиросой.—Почему жаловаться? На матросов жаловаться, на армейских воинов жаловаться,—а? Нехорошо, я думаю, нехорошо это. Я уж повторю, что раз писал: лучше бы человеку без штанов жить, чем со скептицизмом в душе. Вот. Я так думаю, я так думаю,—повторял он, склонив набок голову и обводя глазами сгруппировавшихся вокруг него людей.

И вдруг улыбнулся—застенчиво и мягко, и тогда глаза под нависшими бровями стали синими и нежными, как у великорусских деревенских ребятишек, смущенных неожиданным подарком городского человека.

— Без штанов... да, без штанов, хо-хо-хо!—раскатисто смеялся коренастый Соколов, отбрасывая, как взнузданная лошадь, назад голову и разглаживая в обе стороны свою мягкую черную бороду, почему-то странно рыжевшую попадая на свет.—Так без штанов, говорите, Алексей Максимович? Хо-хо-о!..

И чем больше хохотал Соколов и шире усмехался меньшевистский лидер, нетерпеливо оглядываясь по сторонам, тем быстрей тускнела улыбка и мрачнели глаза Горького.

— Угу, угу... Гм, да..—отвечал он суровым покашливанием.

Он медленно, ритмично застучал пальцами по столу. Руки, вытянув, держал на нем крест-на-крест—и как-то предостерегающе, могло показаться, постукивал теперь пальцами.

— Александр Николаевич, помните, я рассказывал вам как-то про одного чудака такого?—повернул он голову к молчаливому своему спутнику.—Был, знаете, господа, один преподаватель такой в провинции,—я его хорошо помню. Он ежедневно после своих уроков, какова бы ни была погода, представьте, брал зонтик, надевал галоши и одинаковым шагом уходил за город. Свалка там нечистот была. Усаживался он на старый боченок с пробитым дном, вынимал часы—старомодная луковица такая с ключиком, и, следя по часам, просиживал на бочке ровно шестьдесят минут и в той же, господа, позе. Потом вставал и так же, отмеренным шагом, отправлялся домой. И все это называл почему-то „принципом“. Хорош,—а?

— Да, чудачество,—уже не усмехался Либер, поняв, очевидно, к чему клонится речь, но теперь насмешливая улыбка залегла в изгибах рыжеватых горьковских усов.

— Матросы,—ах, черти драповые!—озорным синим светом засверкали его глаза.—Хороши парни... ей-богу, хороши! А маниаки, знаете, берут в солнечный день старый свой „программный“ зонтик, галоши догматические,—а?—и думают, что перед ними прежнее свалочное место... яма выгребная прежнего режима... Я так думаю... я так думаю, товарищи. Солнце—оно, конечно, режет глаза: с непривычки это, полагаю? Вы как скажете? Ах, черти драповые!—повторил он несколько раз свое любимое выражение.

— Да, чудачество...—многозначительно и раздраженно сказал меньшевистский лидер, переглядываясь с Соколовым.—Оно бывает не только у провинциальных педагогов... Простите, Алексей Максимович, нам нужно по одному важному делу революции!—мстил он, отводя Соколова далеко в сторону.

— Революции... Гм, хорошо бы так, — поднялся с места Горький, пряча узенький костяной мундштук в жестяной футлярчик.—Ишь, громко он как: „по делу революции"!?. Видали, Александр Николаевич? Копчик—птичка невеличка, да коготок у ней востёр! Либер-то,—а?

Оставленный обоими „исполкомщиками", которым сегодня явно пришелся не по душе, а через минуту и спутником своим, Александром Николаевичем, повстречавшимся тут же с какой-то знакомой дамой,— писатель неторопливым шагом побрел по залу, вышел в коридор, в котором помещался Исполком. Ириша шла по его следам.

И здесь, в коридоре, произошло то, чего они оба не ожидали. Горький толкнулся было в дверь 13-й комнаты, но стоявший у порога часовой—вольноопределяющийся с пухлым, розовощеким личиком недавнего гимназиста из „хорошей семьи" решительно пресек его попытку,—и знаменитый писатель молча ретировался.

— Товарищ, что вы сделали?!. Вы знаете этого человека?—подбежала Ириша к часовому.

— Никак нет. А что?

— Так это же Максим Горький!—воскликнула она гневно.

— Вот как? Ну... ничего. Простительно не знать... ведь не Лев Толстой, а тот уже помер,—глупо оправдывался, картавя, смущенный вольноопределяющийся, любуясь Иришей.

— Эх, ты... мозги всмятку в дырявой лоханке!—прикрикнул на него выскочивший из соседних дверей низенький, с монгольским лицом кронштадтец.—Максим Горький—это же наш, матрос!

— Скажете тоже... матрос! Осведомлены очень, начитаны...— подмигнул иронически Ирише пухлоротый юноша.

— Дурак сдобный!—рассердился моряк.—Разве в форме дело? В душе—вот что!

Этого же матроса она увидела спустя два дня на том самом собрании Совета, где оглашался список членов Временного правительства и выступал „министр революционной демократии" Керенский. Матрос стоял рядом с ней и бог весть где раздобытой иглой и нитками пришивал на бушлате вырванную „с мясом" из него медную пуговицу. Он был удивительно сосредоточен и, казалось, маловнимателен к оратору.

Зал был до отказа набит народом. Вел собрание Чхеидзе. Он уже не сидел за своим председательским столом, а стоял на нем—накинув на плечи шубу, но без шапки.

На трибуне—официальный докладчик Исполкома: высоченный, с окладистой черной бородой и румяными щеками человек, журналистский псевдоним которого казался Ирише „хрупким", как стекло, никак не соответствующим общему облику этого плечистого атлета.

Он говорил бесконечно долго—так бесстрастно держа голос на одной и той же утомительной интонации, что Ирише стал понятен матрос, пришивающий пуговицу. Наконец, исполкомовский докладчик закончил свою речь: под общие рукоплескания он сообщил, что вчера, обсуждая вопрос о власти, Исполнительный Комитет большинством 13 голосов против 8 постановил не вступать в правительство и не посылать в цензовый кабинет официальных представителей демократии. Ныне этот вопрос передается на утверждение Совета.

— Очень просто: самим брать власть!—откусывая нитку зубами, оживился теперь иришин сосед.

Что-то говорил, размахивая руками и оттого поминутно теряя падавшую с плеч шубу, обросший конусообразной бородой Чхеидзе, водворяя порядок среди затихавших аплодисментов.

— Товарищи, мы будем обсуждать или не будем обсуждать?

— Будем! Будем!—раздавалось со всех сторон.

— Позвольте мне слово... Николай Семенович, я прошу слово!—услышали все резкий, горячий голос.

— Пожал-ста, Александр Федорович,—прищурившись, посмотрел вдаль Чхеидзе.

Из противоположного конца огромного зала поспешно пробирался побелевший, как полотно, Керенский. Он решительно расталкивал закупорившую проход людскую массу, но толпа не поддавалась его усилиям, и, сделав всего несколько шагов, Керенский в изнеможении остановился.

— Товарищ Керенский, сюда... сюда!—указывали ему поблизости освободившееся место.

Небольшой черный стол, на котором сидели раньше двое каких-то человек, был теперь к его услугам. Он взобрался на него и встал во весь рост.

Так, в далеких друг от друга противоположных концах зала стояли на столах, как на пьедесталах недавно пришедшей славы, в секундном ожидании тишины они оба—Чхеидзе и Керенский. Один—успокоившийся и будничный: довольный тем, что некоторое время ему не надо уже иметь дело с этой тысячной шумной толпой (его мучила мигрень), другой—пришедший овладеть этой толпой: напряженный, со вздрагивающими ресницами и губами, с высоко занесенной над головой, растопыренной пятерней руки, как будто он ловил ею брошенный в его сторону мяч.

— Товарищи... дорогие товарищи...—пошел в тишину зала мистический полушопот упавшего голоса.—Я должен сделать вам сообщение чрезвычайной важности.

И вдруг тут же, после десятисекундной паузы, вслед за проникновенным полушопотом, невольно взволновавшим толпу,—первый короткий удар в нее громким, атакующим голосом:

— Товарищи, доверяете вы мне?

— Доверяем! Доверяем!—ответил, вздрогнув, ошеломленный зал.

— Я говорю, товарищи, от всей души... из глубины сердца. И если нужно доказать это... если вы мне не доверяете—я тут же, на ваших глазах, готов умереть!

— Доверяем!.. Доверяем!—грохотал уже теперь гром аплодировавшей толпы.

Она поистине была потрясена необычным, „жертвенным“ обращением к ней готового на Голгофу человека,—хотя никакой необходимости в том решительно не было. Толпа, русская толпа никогда не знала французского адвокатского искусства владеть ораторской речью...

А сам оратор—бледный, как снег, взволнованный до полного потрясения вызванной им так быстро в зале бурей невольной преданности,—вырывал из себя, как куски кровоточащего мяса, короткие, хриплые

фразы и бросал их, чередуя исступленными паузами, в толпу, обреченную на покорение.

Когда-то, студентом, он не плохо изучил Цицерона. Он знал: человеческая речь, которую поэт справедливо назвал „очаровательницей сердец и королевою всего мира", имеет несравненное могущество. Она не только увлекает за собой того, кто колеблется, сваливает того, кто стойко упирается, но может напасть, как хороший полководец, на сопротивляющегося врага и заставить его сдаться.

И когда он увидел, что зал ошеломлен и потерял на минуту способность к сопротивлению,—быстро и твердо продолжал свою речь:

— В настоящее время образовалось Временное правительство, и я занял в нем пост министра юстиции! Товарищи, я должен был дать ответ в течение пяти минут и потому не имел возможности получить ваш мандат до решения моего о вступлении в состав Временного правительства.

— А решение Исполнительного Комитета?!.—пришел кто-то в себя и подал недоуменный голос.

И прежде чем он разросся в зале, Керенский метнул в него заранее припасенную „бомбу":

— Товарищи! В моем распоряжении находятся представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук! Правильно я поступил? (Бурные аплодисменты, посрамляющие одинокую дерзкую реплику, благодарные возгласы: „Правильно! Правильно!) Немедленно по вступлении на пост министра я приказал освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить из Сибири сюда, к нам, наших товарищей-депутатов, членов социал-демократической фракции IV Думы и депутатов II Думы! (Зал исходит бурной, непрекращающейся овацией: это смерч рукоплесканий и тысячи радостных криков...) Освобождаются все политические заключенные, не исключая и террористов!

Он выполнил, как оратор, то, к чему стремился,—он был верен лукавым и умным заповедям римского классика ораторского искусства. Надо было, прежде всего, завоевать расположение слушателей и так их тронуть, чтобы увлечь за собой, скорее возбуждая в них страсть и смятение духа, чем обращаясь к разуму. Ибо люди руководятся, а толпа—тем более, чаще всего не столько велениями истины и беспристрастного разума, сколько внушениями вражды, любви, желаний, гнева, мести, надежды, страха, заблуждения и, наконец, какого угодно впечатления, захватившего их душу.

И тогда—вот оно, пламенное обращение ко всем этим чувствам, обуявшим зал:

— Я занял пост министра юстиции до созыва Учредительного Собрания, которое должно будет, выражая волю народа, установить будущий государственный строй. А до этого момента будет гарантирована полная свобода пропаганды и агитации по поводу формы будущего государственного устройства России, не исключая и республики!

И в ответ—снова смерч восторга.

— В виду того, товарищи, что я принял на себя обязанности министра до получения от вас на это полномочий, я снимаю с себя звание товарища председателя Совета рабочих депутатов...

— Что правильно—то правильно!—удовлетворенно буркнул матрос, стоявший рядом с Иришей, и хотел было захлопать, но страстный выкрик Керенского остановил его:

— Но для меня жизнь без народа немыслима!—хриплыми комьями падали в зал слова оратора.—И я вновь готов принять на себя это звание, если вы признаете это нужным!

— Просим! Просим!—раздалось с разных сторон.

— Товарищи! Войдя в состав Временного правительства, я остался тем же, кем был,—республиканцем, товарищи!

Казалось, волна восторженных ответных криков „ура" вот-вот снесет его — пошатывающегося, широко поднявшего вверх руки — с его непрочного скрипучего постамента: черный столик, сдавленный со всех сторон людьми, был теперь ненадежен.

— В своей деятельности я должен опираться на волю народа. Я должен иметь в нем могучую поддержку...

И, словно цицероновский полководец, чувствуя, что уже покорил этот народ и его волю,—Керенский прокричал в зал:

— Товарищи! Могу ли я верить вам, как самому себе?!.—и он, пригнув стриженную ежиком голову, переждал трехминутный шквал рукоплесканий.

— Верим! Верим!

— Да здравствует товарищ Керенский!

Тогда, приняв эту присягу на верность захлебнувшегося в своих чувствах зала, он и сам решил повторить свою клятву эсеровского Цезаря.

Его дрожащие руки отыскали у краев тупенького подбородка загнутые концы высокого крахмального воротничка,—он взялся за эти длинные загнутые языки франтоватого воротничка и в исступлении быстро отодрал их, и вид получился нарочито-демократический.

— Я не могу жить без народа... не могу!—повторял он мистический, страстный полушопот начала своей речи.—И в тот момент, когда вы усумнитесь во мне,—убейте меня!—снова истерически выкрикнул он и развел руки в стороны, вынося вперед узкую грудь, как если бы для чьего-то удара в нее.

Он был верен себе—оратор из сословия адвокатов: речь должна увлекать—знал он. „Ut flectat!"—учили классики этого искусства. Не надейтесь вызвать раздражение против вашего противника, говорили они, если вы сами не раздражены. Вы не вызовете к нему ненависти, если сами ее не питаете; сочувствия—если ваши слова, ваша наружность, ваши слезы не проявляют печали; восхищения и преданности — если ваша речь и жесты того не ищут. Нет вещи, хотя бы и легко возгораемой, которая зажигалась бы, однако, без огня, и нет человеческой души, пусть самой впечатлительной, чтобы она могла воспламениться, если ее не поджечь извне страстью.

Он остался верен этим заповедям,—Керенский. И никто в толпе не силен был в тот час воспротивиться этому ловкому оружию совращения.

— Товарищи, время не ждет,—уже торопился он.—Позвольте мне вернуться к Временному правительству и объявить ему, что я вхожу в его состав с *вашего* согласия, как *ваш* представитель!

И его понесли на руках, как триумфатора, и шумный град приветствий не умолкал долго.

Движимая любопытством, как и многие, Ириша, стоявшая близко к дверям, выбежала в коридор поглядеть на Керенского. В вестибюле она увидела его в окружении почитателей. Весь этот живой куст людей двигался к помещению думского комитета.

По бокам Керенского шли трое английских офицеров с одинаково строгими, но улыбающимися теперь бритыми лицами и в одинаковых зеленых фуражках с далеко вынесенными вперед отлакированными козырьками. Керенский держал руку у горла, словно оно было простужено, или стыдясь теперь разорванного, как будто в драке, воротничка без накрахмаленных отогнутых углов. „Вероятно, так!“ — подумала о последнем Ириша и все-таки не могла решить, правильно ли подумала.

Часа через два стало известно, что Совет большинством всех против пятнадцати подтвердил постановление Исполнительного Комитета: в цензовый кабинет своих представителей не посылать.

— А как же Керенский?—на разные голоса недоуменно спрашивали теперь в Таврическом: одни придирчиво, другие с опаской и тревогой.

„Министр юстиции, член Государственной Думы, гражданин Керенский“—появилась назавтра в ответ и тем и другим его широкая подпись на первом приказе, напечатанном в газетах,—и все успокоились, и редко кто вспоминал в те дни о резолюции Совета.

Вспоминая об этом заседании Совета и выступлении Керенского, Ириша думала о себе самой:

„Боже мой, желаю ведь одного, а почему-то подчиняюсь другому,—что ж это такое? Вижу лучшее, *сережино*, и предана ему; но следую, и все следуют, совсем иному,—конечно же, худшему по мнению Сергея... Как же это так? Что же делать?..“

Таковы были колебания не одной человеческой души в те мартовские дни—в первые „свадебные“ дни русской революции.

В тот же день снова попался на глаза знакомый низенький матрос с монгольским лицом. Гладкая, смугло-коричневая кожа его лоснилась, как выезженное седло.

— Товарищ-студентка!—схватил он ее за рукав.—Что изволите делать?

— Иду аптечки распаковывать,—ответила Ириша.—А что?

— Идите сюда заниматься,—ткнул он пальцем в дверь, у которой они встретились.—Шибко грамотные да аккуратные нам нужны.

— Ну, а что такое?—повторила она свой вопрос.

— Да тут целая комната забита бумагами. Разложить надо... и чтоб грамотные, по-настоящему, люди. Караул мы поставили, да не в том дело. Караул—разве он что в таком важном деле?

Он объяснил: навезли сюда да свалили в кучи всякие бумаги и „дела“ охранки и департамента полиции. Надо все приводить в порядок, чтоб не растаскали, того гляди. Есть тут люди, разные люди—уже работают, а все же—еще надо.

— Согласна!—оживленно сказала Ириша и через пять минут приступила к делу.

В первый же день она занята была им до глубокой ночи. Архив охранки разбросан был в двух смежных комнатах, в них толклись теперь разные люди. Ирише казалось, что они меньше всего были озабочены приведением в порядок наваленных в кучи бумаг,—во всяком случае, работа подвигалась туго, хотя людей здесь было довольно много.

Да и как тут спокойно и деловито работать, когда глазам их каждую секунду могло открыться самое неожиданное, самое таинственное, что только вчера еще хранила в себе наводившая страх, сегодня—низвергнутая полицейская монархия?

Люди по натуре падки на новости, любопытство—сей вожак человеческих чувств—вело их теперь в „тайная тайных" растоптанной на улицах Петербурга империи... Как будто рухнули стены недоступного ранее взору огромного дома, населенного таинственными обитателями, и они не успели заблаговременно выскочить из него: стоят, закрыв лицо руками, но теперь каждый со стороны волен подойти к ним, отбросить руки с лица и заглянуть в него, дабы увидеть облик скрывавшегося Иуды.

Из огромного вороха „дел" люди вытаскивали, какие попадались под руку, разноцветные папки и прежде, чем сложить их в порядке нумерации то ли в отведенном углу комнаты, то ли на одном из столов,—жадно набрасывались на чтение тех самых секретных бумаг, по которым могла писаться непредназначенная к печати история русской жизни за многие десятилетия.

Вместе с каким-то длинноногим, длинноносым и остроголовым человеком, назвавшимся актером, фамилии которого Ириша никогда не слышала, пришлось ей распаковывать трехпудовый тюк.

— А что это за посылочка на масленицу от старого режима?—пошучивал актер, усердно срывая перерезанные веревки с тюка.—Не про эту ли полицейскую посылочку дедушка Крылов стихами говорил:

И бережет мешок он так,
Что на него никак
Ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет?..

— Про нее, про нее!—смеялась шутке Ириша.—Ох, смотрите, да здесь как будто все по порядку?—вытаскивала одну папку за другой.—Держите: № 0072041... № 0072042... 0072043... — диктовала Ириша, передавая департаментские „дела" актеру.—Кладите на пол — потом их перевяжем.

Но как и остальные в этой комнате, и она и актер, движимые любопытством, заглядывали в „дела", и почти каждое из них представлялось им самым увлекательным романом. Казалось: запереться бы здесь на целый месяц и читать, читать, читать!.. Но разве это возможно сейчас?

— Товарищ, живей, живей!—подгоняла Ириша актера, и он с видимым сожалением откладывал в сторону папку и тут же принимался за другую.

Вскоре номера „дел" пошли вразброд, да и обложки их оказались

разных цветов и неодинаковых форматов: „дела", очевидно, были взяты не из одного места.

— Вот вам и порядок!—сетовал актер, но каждая новая папка возбуждала в нем все тот же жадный интерес, и заставить этого человека работать побыстрей было уже очень трудно.

Он выделялся здесь среди всех: узкий, долговязый человек во фрачном костюме, в накрахмаленной, но посеревшей от грязи манишке, в белом галстуке и с низким стоячим воротничком—на два размера бо́льшим, чем требовала того худая и жилистая длинная шея, наполовину неприкрытая и заросшая седеющими волосками. Актер, уйдя четыре дня назад вечером со спектакля, не возвращался, по его словам, домой с тех пор, отдав себя революции. Сейчас он напоминал своим видом общипанного петуха.

И этот „петух", роясь в бумагах охранки, нашел вдруг „жемчужное зерно": это была лежавшая в отдельном конверте новейшая „Инструкция по организации и ведению внутренней охраны". На первом листке ее стоял гриф министра внутренних дел Протопопова.

Это была находка, которой нельзя уже было не поделиться со всеми.

— Читайте, читайте!—бросили свои дела все присутствующие в обеих комнатах и окружили плотным кольцом актера.

Он улыбался, он был доволен: ни один спектакль в его жизни не приносил ему столько трепетного внимания! И, пожалуй, ни разу в жизни он так выразительно не декламировал и так долго не владел этим вниманием. И ни одному автору, драматургу он не был столь обязан своим успехом, как этому неизвестному „литератору" из русского охранного отделения!..

— Тишина! Занавес! Свет на сцену! Убрать свет в зале!—актерствовал он.—Я прочту вам монолог его превосходительства господина начальника охранки: „Что есть мои верные агенты и откуда они берутся?" Внимание, непосвященные! Начинаем! „Лица, господа, состоящие членами преступных сообществ и входящие в местный состав агентуры, называются агентами внутреннего наблюдения или „секретными сотрудниками". Лица, доставляющие сведения хотя бы и постоянно, но за плату за каждое отдельное свое указание на то или иное революционное предприятие, называются „штучниками"... Слыхали, товарищи: „штучники"! Эдакие кустари-шпионы...

> В правильно поставленном деле „штучники"—явление ненормальное, и, вообще, они нежелательны, так как, не обладая положительными качествами „сотрудников", они быстро становятся дорогим и излишним бременем для секретных органов...

— Пошли дальше, друзья мои...

> К „откровенникам" и „заявителям" следует относиться с большой осторожностью... Провалившихся сотрудников следует стараться устроить на местах. Необходимо помнить, что сотрудники, дававшие сведения и не тронутые „ликвидацией", рискуют провалиться и, таким образом, стать совершенно бесполезными. В случае провала они находятся под постоянным страхом мести. Во избежание провала многие из них согласны, чтобы их включать

в „ликвидацию“ и тем дать им возможность нести наравне с товарищами судебную ответственность, но при условии сохранения за ними права на получение жалования за все время судебного процесса и отбывания наказания. Таким путем не только можно предупредить их провал, но и возможно еще более усилить к ним доверие со стороны партийных деятелей, благодаря чему в дальнейшем они будут в состоянии оказать делу розыска крупные услуги.

...Наиболее подходящими для склонения к работе по агентуре можно считать лиц следующих категорий: 1) подозревавшихся или уже привлекавшихся за политические дела, 2) слабохарактерных революционеров, 3) разочарованных или почему-либо обиженных партиями, 4) нуждающихся материально, 5) а также и предназначенных в ссылку. Могут быть использованы и материально нуждающиеся революционеры, которые, не изменяя своих убеждений, склоняются доставлять агентурные сведения исключительно только за денежное вознаграждение...

Сотрудники, стоящие в низах организации, постепенно могут быть выдвигаемы путем последовательного ареста более сильных окружающих их работников.

...Ведение внутренней агентуры определенному шаблону не подчиняется. Во всяком случае, заведующий агентурой должен руководить сотрудниками, а не следовать слепо указаниям последних, а тем более подчиняться их авторитету. Вообще, излишняя откровенность с сотрудниками приводит к отрицательным результатам.

...К числу вопросов, по ответам на которые можно судить о степени партийной осведомленности новых сотрудников, относятся следующие: В чем заключается программа той партии, в которую он входит? Кто был арестован из членов этой партии и кто остался на свободе?

...Свидания с секретным сотрудником, уже достаточно заслуживающим доверия, должны происходить в конспиративной квартире. Последняя должна быть расположена в частях города, наименее населенных революционными деятелями. Квартира должна состоять из нескольких комнат, так расположенных, чтобы было возможно разделять в них случайно сошедшихся нескольких сотрудников без встречи их между собой. Хозяином квартиры может быть надежный служащий, состоящий на такой должности, по которой обыватели города его не знают. У хозяина конспиративной квартиры не должны бывать гости и, вообще, частные посетители.

...Письма и записки заведующего агентурой должны быть строго-конспиративного содержания, написанные измененным почерком и с условной подписью. Рекомендуется применять для писем бумагу и конверты сообразно со средой, в которой вращается сотрудник. Деловую часть письма следует воспроизводить химическими чернилами. В качестве таковых может служить насыщенный раствор обыкновенной свинцовой примочки, щавелевая кислота, лимон и т. п. Проявление этих чернил достигается нагреванием или смачиванием.

— Аминь!—протрубил чтец.

— Наука!..—первым отозвался моложавый низенький человек, когда актер закончил чтение документа.—Чистая наука...—задумчиво сказал он.—Ну, скажи, пожалуйста, как все это расписано, что и как, значит, делать!..

— А вы думали?—победоносно смотрел на него актер, словно к нему относилась эта похвала.—Легко, думаете?—вытирал он клетчатым платочком свои потрескавшиеся синеватые губы.

— Академия целая!—шутили по сторонам, возвращаясь к своим углам, столам, стульям—продолжать работу.

— Про эти подлости можно было и раньше догадываться настоящему революционеру!—желчно напустилась почему-то на моложавого низенького человека какая-то стриженная толстуха в пенсне.—А еще рабочий как будто!..

— Да я ничего... Что вы в самом деле? Одно слово сказал, а вы... ровно вас дышлом бахнули!—не то оправдывался, не то сердился тот.

На его курносом широком лице с васильковыми, постреливающими в разные стороны глазами растерянно блуждала косая улыбка.

Через некоторое время она сменилась веселым, захлебывающимся смешком: здесь каждый теперь старался объявить о своей замечательной какой-нибудь находке,—вот и он торжествующе показывал свою!

Это было „строго секретное“ описание способов перлюстрации корреспонденции, которая особо интересовала „черный кабинет“ охранки. А делалось, оказывается, это так:

Специальными костяными или стеклянными стилетами вскрывались углы конвертов, вынимались письма, снимались копии, осторожно вкладывались обратно и так заклеивались, чтобы очертания почтовых печатей и марки были нерушимы. Более сложным было вскрытие писем и пакетов с сургучными печатями. Для этой цели специалистами из охранки рекомендовались тоненькие деревянные палочки немецкой фирмы „Мюллер“. Палочки имели на конце тончайшую расщелину. Палочка просовывалась в углах конверта так, чтобы письмо попало в расщелину, затем оно осторожно наворачивалось и вынималось вместе с палочкой. Требовалось большое искусство для обратного заделывания прочитанного письма, которое снова наворачивалось на палочку, продевалось в конверт и там раскручивалось, очевидно, столь ловко, что не должно было оставаться никаких следов перлюстрации.

— Наука!—умиленно повторял обладатель находки и совал ее под нос толстухе в пенсне.

— Все можно было предположить!—упорствовала та.

Следом за актером и молодым курносеньким человеком с захлебывающимся голосом стали и другие демонстрировать свои находки. Кто-то под общий смех огласил содержание разграфленного листка, забранного в числе прочих бумаг на дому у начальника охранки генерал-майора Глобусова. „Сочинение“ генерал-майора было нечто в роде афиши-отчета о скачках, но, вместо лошадей, фигурировали деятели империи.

Вот как забавлялся всем известный страж ее в тиши своей квартиры:

„ТОЛСТЯК“ (б. мин. вн. дел Хвостов)

Густой караковый жеребец Орловского завода, от „Губернатора“ и „Думы“. Камзол и рукава черные.

„ПОДХАЛИМ“ (его тов. мин. Белецкий)

Без аттестата, от „Хама“ и „Подлизы“.

Скачку вел все время „Толстяк“, но „Подхалим“ на середине круга рискованным броском хотел выдвинуться и неудачно прижал „Толстяка“, который завалился и должен был съехать с дорожки.

ГАНДИКАП ДЛЯ ЛОШАДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ!

ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ПО ЗАПИСИ ЛОШАДЕЙ!

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ НИКОГДА НЕ СКАКАЛИ!

КРОМЕ ПРИЗА — ЕЩЕ ШЕФСКИЕ БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ!

„ДУМСКИЙ ЛЮБИМЕЦ“ (Кривошеин). **Серый жеребец завода Столыпина, от „Чиновника“ и „Конституции“. Камзол зеленый, рукава красные, через плечо лента с надписью: „Закон 3-го июня“.**

„КАИН“ (Щегловитов). **Густой вороной жеребец завода Победоносцева, от „Правого“ и „Монархии“. Камзол черный.**

„ДУРАК ВТОРОЙ“ (Маклаков). **Пегий жеребец с проплешинами завода Нарышкиной, от „Дурака Первого“ и „Интриги“. Камзол цветов Союза Русского Народа.**

„ГОРИЛЛА“ (Трепов). **Гнедой жеребец завода Столыпина, от „Неудачника“ и „Пролазы“. Камзол в клетку, рукава белые.**

„ПЕРВАЧ“ (Штюрмер). **Рыжий жеребец завода Распутина, от „Немца“ и „Царицы“. Камзол черный, рукава в золоте.**

„МАНЬЯК“ (Протопопов). **Соловый жеребец завода Родзянки, от „Купца“ и „Болтовни“. Камзол неопределенного цвета.**

Погода слякотная, круг тяжелый, испорченный предшествовавшей скачкой. Игра оживленная. Фавориты — „Думский любимец“ и „Первач“. От старта пошли кучно. Впереди „Каин“, на хвосте у него в сильном посыле „Горилла“. Неожиданно выдвигается „Дурак Второй“, но скоро выдыхается. На повороте „Каин“ и „Первач“ сдают. В большом посыле под хлыстом „Горилла“, но перед выходом на прямую настигнут „Маньяком“, который и кончает впереди, показав отличную резвость.

Это была злая история русских министерств за последние два года, составленная одним из самых страшных слуг империи.

В той же папке личных бумаг генерал-майора Глобусова нашли сочиненный им „Акафист Григорию Распутину“, аккуратно переписанный на пишущей машинке.

Покуда его оглашали для самоувеселения (все тот же долговязый актер читал его речитативом), Ириша, не слушая, была занята своим делом. Ее внимание привлекла очередная синяя папка под легко запоминающимся номером — № 11111. Папка была тощей и заведена была на „вспомогательного сотрудника“ петроградского охранного отделения, фигурировавшего под кличкой „Петушок“.

Из первых же листков „дела“ Ириша узнала, что сей „Петушок“, вовлеченный в агентуру последней осенью из среды „штучников“, освещал подпольную деятельность знакомых ему социал-демократов большевиков, получая двадцать рублей ежемесячно. Следующий лист „дела“ свидетельствовал, что означенным „Петушком“ сообщены охранке „ценные сведения“ о приведенном к нему на квартиру „нелегальном под фамилией и именем „Кудрик, Леонтий Иосифович“, поддерживавшем связь с разыскиваемым ленинцем Андреем Громовым“.

Достаточно было натолкнуться Ирише на эту последнюю фамилию своего старого знакомого, чтобы уже не выпускать из рук синюю папку!

Страница за страницей—и вот глаза ее прочли дорогое, близкое имя любимого человека... Это было так неожиданно, что она вскрикнула, но в общем шуме никто не обратил на нее внимания.

Она вчитывалась в каждую строчку неизвестного ей провокатора, предавшего Сергея и его товарищей в памятную декабрьскую ночь, разлучившую ее с любимым, и быстрые, несдерживаемые слезы побежали из глаз коротким ручейком по ее лицу. Слезы пережитого страха, жалости, огорчения и в то же время—душившей ее радости: боже, как хорошо, что Сергей уже на воле, и сейчас ничто ему не может угрожать!..

Она знала теперь больше, чем Сергей, чем все,—она была теперь обладательницей тайны провала в альтшуллеровской типографии. В своем донесении человек под кличкой „Петушок“ писал:

> ...Повстречавшись со мной в трактирчике Гигиена тот самый Громов стал жаловаться, что был конешно среди товарищей кто-то такой осведомитель властей, по какой причине произошло все с партийной газетой. Как помнил я ваш совет, ваше высокоблагородие, что если так будут говорить мне товарищи или даже подозрение имеют на меня, то я сказал ему, что, может, никакого осведомителя и нет, а вышло так несчастливо, потому именно в ту самую ночь, когда печатали газету, приключилось почти что рядом убийство Гриши Распутина, и что значит полиция тогда кругом имела наблюдение. В роде обложила медведя, сказал я, а поймала волка. На такие мои слова Громов сказал: все возможно конешно, есть между товарищей, которые это признают, что несчастный случай такой в совпадении, и выругал матерным словом того Гришу Распутина, но только, говорит, должен не без причины также быть в том деле осведомитель властей. Как он доверие ко мне Громов много имеет, семью мою знает, то еще сказал, что подозрение имеют они, партийные, на одного „жирного“ по причине слежки раньше за ликвидированным Кудриком-Ваулиным, но кто „жирный“ есть не сказал.

Читая, Ириша старалась запомнить каждое слово: казалось страшным, непростительным что-либо забыть.

— А вы почему про Распутина не слушали?—спросил ее подошедший актер.—Из скромности?

— Да нет... устала как-то,—деланно-вялым голосом ответила она, пряча за спину синюю папку.

— Я тоже чертовски!.. Есть хочу. А вы?
— Пожалуй...
— Где-то здесь рядом буфет. Пошли?
— Идите. Я сейчас приду.
— Я займу вам место.
— Да, да... спасибо.
— Вы чем-то расстроены?
— Говорю вам: устала!.. Надо подкрепиться, на самом деле. Займите мне место.
— Ну, конечно. Заметили эту толстую фельдшерицу?
— Она фельдшерица?
— Да. Вот та—в пенсне.
— Она, кажется, все предвидит?—улыбнулась Ириша.
— Вот именно!
— И скачки, и акафист начальника охранки?
— Это еще что! Ей дурно стало.
— Почему?
— Наткнулась на одно „дельце". Ее шурин—провокатор. А это вы предвидели?—спросили мы ее... Ну, так, значит, придете? Жду!

Актер пошел к двери.

Прежде чем последовать за ним, Ириша решила спрятать драгоценную папку. Но каждое место казалось ей недостаточно сохранным, и она блуждала по обеим комнатам, приглядываясь к углам и уголочкам. Люди у столов, согнувшись над стульями, присев на корточках на полу, возились с тысячами бумаг. Она останавливалась возле них, наблюдая присутствующих, занятых своим делом.

Она не доверяла себе самой: спрячешь—а, может, неудачно?

В раздумьи стояла она, не зная, как поступить. Синяя мягкая папка, сложенная вдвое, лежала в ее муфте, в которую Ириша продела обе руки.

— Да неужто холодно вам, товарищ?—заметив эту позу, участливо обратился к Ирише занятый бумагами на подоконнике молодой курносенький рабочий с постреливающими по сторонам васильковыми глазами.

— Нет, так...—смутилась она, не зная, что сказать.
— Лицо у вас в горячке, вижу. Не захватить бы болезнь какую?
— О, что вы?!—тронуло ее это участие.

Васильковые глаза вдруг стали озабоченными, грустными.

— Жена у меня, простите, в беременности какой месяц... так тоже сильно жалуется на хворость.
— Я не жалуюсь, я здорова, товарищ. Спасибо вам...
— А я думал: помощь, может? Если что—порошки достану?

Он говорил с ней и в то же время не прекращал своей работы, как будто и впрямь был на службе, за которую ему платил хозяин: быстро пробегал глазами название „дела", не просматривая папки, откладывал ее в сторону—каждую под цвет. Он рассортировывал „дела" охранки, безучастно откладывая для других „архивариусов" бумаги жандармского управления, валявшиеся тут же.

У него было симпатичное, вызывавшее доверие лицо доброго русского парня,—Ириша неодобрительно вспомнила в ту минуту мясистую

фельдшерицу в пенсне, беспричинно час назад взъевшуюся на этого молодого человека.

— Послушайте, товарищ... У меня к вам просьба,—решилась она вдруг.

— В аккурат сделаю... пожалуйста!—внимательно и предупредительно посмотрел он на нее.

— Вы ведь не собираетесь сейчас уходить?

— Нет.

— А мне нужно на четверть часа. Вот там в углу мы с тем длинным артистом разбираем...

— Чтобы никто другой не трогал?

— Да, да, посмотрите, пожалуйста.

— Будет в аккурате!

Спасибо. И вот вам моя муфта,—положила Ириша ее на подоконник, за кипой бумаг.—Поберегите ее, а то в буфете мне неудобно... могу забыть там по рассеянности. Посмотрите за ней?

— О чем беспокоитесь? В целости будет.

— Принести вам бутерброды?—предложила она в благодарность.

— Не откажусь, если что...

— Принесу!

В дверях она обернулась: страж ее муфты все так же сосредоточенно и быстро продолжал работу.

Через полчаса она возвратилась вместе с актером, неся из буфета „подкрепление" своему участливому товарищу.

— Вот и мы! И даже с печеньем!..

Тот, к кому она обращалась, отсутствовал.

— Э, давайте печенье!—отозвался кто-то другой и протянул за ним руку.

Ириша оттолкнула незванного просителя, ища глазами курносенького молодого рабочего. Его не было у подоконника. Она подбежала туда и первым делом просунула руку за плотную стопку папок, где должна была лежать ее муфта.

„Фу, слава богу!"—муфта была на месте!

Она схватила ее и сразу же, по весу ее, прежде чем продеть в нее руку, поняла, что из нее вытащена драгоценная синяя папка вместе с ее, иришиным, носовым платочком... Так оно и было.

— Что с вами?—недоумевал актер, увидев, как она болезненно побледнела.

— Сейчас... сейчас,—бормотала она, бросаясь в смежную комнату.

Но и там не было того, кого она искала.

Она возвратилась, выскочила за дверь—к часовому.

— Товарищ, никто не выходил отсюда?

— Вышедши. Вы сами, барышня, выходили.

— Но я пришла обратно!

— Понимаю.

— После меня выходил кто-нибудь? Низенький такой... круглолицый товарищ?

— Он.

— Ушел, значит? Давно?

— Минут, думаю, все двадцать будет.

Рыжебородый часовой, сидя на кожаном стуле, откуда-то притащенном, чистил, выстругивал вытащенную из кармана шинели грязную солдатскую ложку.

VI

Напротив университета св. Владимира уже целый год стоял высокий деревянный забор, огородивший место для какой-то постройки. Но ничего здесь почему-то не строилось, и прохожие уже привыкли к этой длинной, обезобразившей улицу изгороди и, пожалуй, забыли уже, что́ за место загородила она от взоров пешеходов.

Раним утром 2 марта главный начальник военного округа генерал-лейтенант Ходорович разместил на огороженном забором пустыре казачью сотню, а поодаль от нее, в музее цесаревича Алексея,—роту солдат одного из киевских полков. Такие же войсковые заслоны были выставлены на Печерске, Подоле, Демиевке, Соломенке,—в разных концах города.

В штабе Ходоровича Киев уподобился шахматной доске, на которой каждая клетка могла быть в любую минуту под боем. Но бой не состоялся, шахматная партия не смогла начаться: вдруг оказалось, что у верноподданного генерал-лейтенанта нехватало одной фигуры—*короля*. Он стоял еще на доске, но уже за чертой ее квадрата: специальный телеграфный провод доставил в штаб копии депеш, в которых командующие фронтами советовали царю отречение.

Это было равносильно проигрышу, и генерал-лейтенант Ходорович, уже никуда не двигая, оставил на поле в бездействии *ферзя*—самого себя. Он вызвал к себе лидеров земства и Городской думы, купцов, адвокатов, профессоров учебных заведений, промышленников и чиновников и разрешил им образовать Общественный комитет. И—растерянный—забыл тогда распорядиться многочисленными воинскими заслонами и пикетами.

Тогда же, 2 марта, Федя Калмыков, входя в университетский подъезд и случайно обернувшись, увидел казачий патруль. Казаки выехали из-за забора и с места во весь опор помчались вниз по Владимирской. Через час-другой и вся сотня покинула огороженный пустырь, но этого Федя Калмыков уже не видел.

...Он стоял в дверях XII аудитории—самой большой в университете, до отказа наполненной теперь студентами и курсистками, и слушал речи товарищей.

Вблизи себя он заметил рослого, саженного „педеля"—лысого, с окладистой черной бородой. Этот университетский охранник был известен тем, что мог держать в своей памяти лица всех участников любой многолюдной сходки и, если не знал каждого по фамилии,—мог безошибочно выдать полиции такого студента, ткнув в него пальцем: „Этот, ваше благородие, резолюцию писал, а этот голоса считал".

— Ай-ай, что же это они делают, господин Калмыков?—неожиданно обратился он к Феде тихим предостерегающим голосом.—Да за

такое дело! На самих же себя пенять придется, особливо—инородцам. Ай-ай, кабы слыхал такие речи господин ректор!

— Достаточно и вас одного!—огрызнулся Федя.—Бегите, зовите полицию!

— Сама придет. Мне что? Разве можно так, господин Калмыков, в императорском университете?

— Гнать вас отсюда!—ненавидящим взглядом смерил его Федя.

На кафедре грузин-красавец Ковадзе, медик третьего курса, метал гром и молнию против петербургского царя, русской монархии и жестокого правительства. Фуражкой, лежавшей тут же, на кафедре, он размахивал так, что казалось—вот-вот он запустит ею в кого-нибудь из слушателей.

— ...И довольно, я говорю, товарищи, митинга! Довольно митинга и довольно молчания. Довольно бездействия—вот что я говорю! Не надо прятать своих убеждений, своих сил, своей революционной энергии. Наш замечательный грузинский поэт Руставели говорил: что ты спрятал, говорил он, то пропало, что ты отдал—то твое. Не будем прятать своих сил, отдадим их революции, товарищи. Отдай—и она будет твоей! Твоей, русский! Твоей, грузин!—восклицал студент под гром рукоплесканий.—Твоей, еврей! Твоей, поляк, будет революция!.. Мы, грузины социал-демократы, и наши товарищи русские, поляки, евреи предлагаем: не занятия теперь, а—в народ! К рабочим, к солдатам—все вместе под красное знамя! Митинг—на улицы, на заводы, в казармы!.. Студенчество должно иметь свою организацию, свой центр. Мы, социал-демократы, предлагаем организовать коалиционный совет студентов всех учебных заведений. Из кого совет? Из собраний всех старостатов, всех факультетов.

— Верно!—загудела сходка.

— Предлагаю всем старостатам собраться сейчас в девятой аудитории,—распоряжался все тот же Ковадзе.

Вихри враждебные веют над нами—

начал песню чей-то звонкий приятный голос, и сотни горячих голосов подхватили ее, разнося по длинному университетскому коридору.

— Пожалуйте в девятую, господин Калмыков. Вы же в старостате—ближе, значит, к тюрьме!

Чернобородый „педель"-великан, зло усмехаясь, неторопливо отошел от двери.

Федя догнал его.

— Ключи!

— А вы, господа бунтовщики, двери ломайте. Почему не ломать?

— Шпик проклятый! Ключи!..

— Выкуси, жидовская морда!

Нужно было подпрыгнуть, чтобы ударить по лицу саженного „педеля",—и Федя в ярости, уже не распоряжаясь своими поступками, ударил его по щеке. Ударил—ожидая такого же ответа.

— Товарищи, хватай педеля!—бежали со всех сторон на помощь Калмыкову.

Но „педель" стоял на одном месте без движения, и только широкие плечи его вытягивались вверх и грузно опускались: он тяжело дышал.

— А за это вам четыре года каторжных работ будет,—вдруг сказал он своим обычным тихим голосом.

Он вынул из кармана связку пронумерованных ключей от аудиторий и бросил ее на пол.

— Увидимся, господин Калмыков!—зажал он в кулаке свою степенную бороду и отошел прочь, не оглядываясь.

— Ладно...—Федя поправил на голове съехавшую фуражку.

Кто-то прикоснулся к его локтю:

— Эсеровский поступок, Калмыков...

— А-а, это вы?

— Я не ожидал от вас. Право, не ожидал, коллега. Террор какой-то... да и против кого?

— Ударить по морде негодяя—это не террор...

— Это никуда не годится.

— Не извольте за меня беспокоиться, коллега Стронский.

— Я не беспокоюсь. Я сожалею, Калмыков.

— И сожалений не требуется... кадетских!—вспылил Федя.

— Вот оно что? Главное—кадетских?

— Главное!

— Не совсем умно, коллега Калмыков.

— Но и не так уж глупо и неверно, Стронский!.. Я ударил охранника, шпика... он оскорбил меня и провоцировал на скандал.

— Можно было потребовать через проректора...

— Скажите, пожалуйста, какая законность! Таковы ли времена, Стронский?

— А почему бы и нет? А по-вашему чего требует от всех нас Государственная Дума сейчас?

— Это мало меня занимало!

— Ну, зачем вы глупите, Калмыков? Ведь все это из упрямства.

— Извольте: прежде всего надо убрать к чортовой матери царя и весь его режим кандальный.

— Допустим.

— Да чего там „допустим“? Убрать, значит—убрать! Метлой в помойную яму.

— Простите, коллега: базарная фразеология...

— Полегче, полегче, Стронский!

— Ну, уличная...

— А по-вашему, Стронский, чего народ хочет?

— Не всякое желание разумно. Не так живи, как хочется, а так живи, как можется.

—...и как ваш Милюков велит,—так, что ли?

— Павел Николаевич Милюков—лучший мозг русской интеллигенции. Как вам не стыдно, Калмыков!

— Ни малейшего стыда!

— Тем хуже. Ему доверяет вся Россия.

— А вы ее спрашивали?

— Слушайте, Калмыков, вы... вы неприятный демагог!

— Я не демагог, а демократ. Социалист—вот что.

— Социал-демократ или эсер?—заинтересовался Стронский.

— А вам какое дело?—едва подавил свое смущение Федя.

— Ну, знаете, тоже ответ! Грубо!

— Я—социалист. А ваш Милюков...—приостановился Федя у двери в девятую аудиторию.

— Ну, что Милюков? Только без хамства, пожалуйста...

— Полегче, Стронский! Ваш Милюков, дайте ему только волю, из пулеметов станет расстреливать русских рабочих,—зло и теперь убежденно повторил Федя когда-то услышанную фразу Алеши Русова.

Ему неприятен был Стронский—еще и поэтому он так озлобленно говорил о Милюкове.

— Вы просто, оказывается, оголтелый максималист, господин Калмыков!.. Да Милюков будет главное лицо в правительстве—вот увидите.

— Не сомневаюсь. Хоть трижды главное. Что же из этого?

— Как „что"?

— Буржуазный идеолог!

— Простите, коллега, но боюсь... что все евреи действительно какие-то...

— Ну-с?

— Какие-то якобинцы! Не русское явление.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы не так глупы, чтобы не понять меня!—прошел вперед по коридору Стронский, прекращая разговор.

— Послушайте!—крикнул ему вслед Федя.—Я вас презираю!.. Сбрейте свои лакейские бачки и перестаньте напомаживать свою дегенеративную дворянскую голову... вас и так принимают за белоподкладочника!

Он хотел еще что-то обидное крикнуть затянутому в мундир студенту, но сдержался и только в душе выругал того „скотиной".

В тот же день, вместе с другими студентами, вместе с какими-то неизвестными прапорщиками, солдатами, рабочими он ездил в какие-то казармы, в мастерские, на демиевский гвоздильный завод (там он узнал, что это завод Георгия Карабаева), в полицейский участок на окраине города.

Он слушал речи других и сам произносил их, выступая от имени коалиционного студенческого совета. Ему кричали в ответ:

— Да здравствует свобода! Да здравствуют студенты!

и он тогда, в знак союза и дружбы, целовался с революционерами-прапорщиками, солдатами, рабочими и работницами и, опьяненный новой, впервые в жизни познанной радостью, кричал всюду:

— Да здравствует республика!

и, конечно же, он был искренен, как никогда.

— Товарищ студент, вы наш? Эсер?—целуясь, спрашивал его какой-нибудь очередной прапорщик из агрономов или народных учителей,—и Федя не возражал, когда его называли эсером.

В другом месте, во время выступления на митинге в большой типографии, он услышал, как хвалил его за „правильные, марксистские слова" седенький рабочий в очках и, стоя рядом на импровизированной трибуне, настойчиво подсказывал-напоминал ему:

— Ура социал-демократам, слышь? Ура социал-демократам не промажь!—и Федя, не чувствуя никакой душевной неловкости и разлада, закончил свою речь здравицей в честь РСДРП.

Разве, чорт возьми, важно было в тот момент, эсер он или эсдек? Главное—что он чувствовал себя социалистом и республиканцем, что он—за советы рабочих депутатов, за революцию, за народ. Важна сейчас победа этого народа, победа революции, чтоб уничтожить монархию, а уж потом,—придет час,—он, Федя, найдет свое место в политической партии...

Так думалось. Верней—не думалось, а чувствовалось: он жил сердцем—ликующим, порывистым, любовно отданным долгожданной революции. „Rara temporum felicitate... Rara temporum felicitate...“—стучащими колёсиками бежала часто и долго в мозгу припомнившаяся почему-то теперь латинская фраза о счастьи: она осталась в памяти еще с гимназической скамьи.

И, когда трясло его на жесткой солдатской повозке, перевозившей из одной казармы в другую, он, как заклинание, повторял вполголоса эти непонятные его спутникам слова. Вознице, очевидно, казалось, что студент чем-то захворал вдруг и потому заговаривается.

— Горишь?—участливо спрашивал он.—В околоток, может?

— Горю!—весело вскакивал на повозке Федя.—Гори и ты, товарищ!.. Какое редкое счастливое время, брат, когда позволено чувствовать, что хочешь, и говорить, что чувствуешь!—переводил он латынь на русский язык.

— А воевать теперича будем? Или как?—оборачивался солдат-возница к своим седокам.

Признаться, в те часы Федя об этом не думал. И он не знал, как отвечать на такой вопрос. Старался не отвечать, отделывался бодрой фразой. Еще и потому, что хотелось ведь думать только о радостном и ясном, безоблачном—ничем не омрачать себя.

...В участках шло разоружение городовых. Но так случалось каждый раз, что, прибегая туда с товарищами, Федя опаздывал, поспевал, как говорится, к шапочному разбору: все уже было сделано другими.

Городовые, сбившись в кучу, стояли окруженные толпой, распоряжавшейся полицейским имуществом. Они исподлобья косили взгляды на „бунтовщиков“: одни—с затаенной злобой, другие—с явным страхом, третьи—с любопытством и растерянностью.

И никто точно не знал в первые часы, как следует поступать с этими пленниками-„фараонами“. Никто из них не оказывал сопротивления. Их стерегли тут же, в участке, стерегли много часов подряд в надежде, что „кто-то“ же в конце концов вспомнит о них и распорядится их судьбой. Этим „кто-то“ мог быть Общественный комитет, собравшийся в Городской думе, или Совет рабочих депутатов. Но есть ли Совет и где он—никто пока не знал.

И тогда вдруг оказалось, что заботу о городе взял на себя Коалиционный студенческий совет. Две тысячи медиков, филологов, математиков, политехников, вооруженных винтовками и револьверами, оснащенных полицейскими башлыками и свистками, рассыпались по всему Киеву, заняв посты городовых. Эту „милицию с высшим образова-

нием", как шутили здесь, назавтра принял в свое ведение известный в городе адвокат Колачевский, сменивший арестованного полицеймейстера Горностаева.

Федя присутствовал при этом аресте и даже принимал в нем участие.

Полицеймейстер подъехал на санках к Думе, где помещался Общественный комитет. Он торопливо отвернул медвежью полость и, придерживая рукой длинную шашку в серебристых ножнах, втянув голову в плечи, засеменил, не глядя ни на кого, в думский вестибюль.

Толпившиеся у Думы его тотчас же узнали:

- Горностаев?!. Ишь, ты!—и побежали вслед за ним.

Низенький, коротконогий, толстенький, с розовым лицом хомяка, покрытым теперь багровыми пятнами,—Горностаев стремительно подымался по лестнице. Он шагал через две ступеньки, но делал это только с правой ноги, приставляя к ней левую: он двигался смешливыми резкими бросками автоматической куклы.

Его настигли прежде, чем он дошел до площадки второго этажа, где стоял в это время Федя. Толкнули свою жертву, но все еще нерешительно загораживая ей путь.

— Ну-с, чего, братцы?—ласково сказал Горностаев, занося ногу на следующую ступень.—По делам хотите?.. Занят, занят сейчас, братцы! Все уладим... Все уладим, родимые, к общему благополучию.

Кто-то озорным взмахом руки сбил с его головы меховую темную кубанку.

— Шапки долой!—подражая обычному полицейскому окрику, выкрикнул чей-то голос.

Горностаев прикрыл руками свою голую, гладко выбритую голову:

- Да что вы, братцы?!.

Он побоялся нагнуться за шапкой, ожидая удара.

— Руки вверх!—приказали ему и схватили за ворот серо-голубой шинели.

Он шел, окруженный толпой возбужденных людей, среди которых Федя увидел старшего Русова.

Вадим в высоко поднятой руке нес полицеймейстерскую кубанку. Он пробивался вперед, с каждым шагом стараясь на ходу нахлобучить шапку на голову ее обескураженного владельца, но его альтруистическим чувствам не дано было увенчаться успехом: руке никак не дотянуться было до горностаевской головы.

— Вадим! Вадим!—окликнул его Калмыков.—Вали сюда!

Они оба очутились, спустя минуту, в одной из комнат управы, куда привели арестованного киевского полицеймейстера.

И к ним обоим, выбрав глазом из всей толпы, жалобно обращался теперь Горностаев:

— Господа студенты... господа студенты! Что же это такое? Это же недоразумение, коллеги! А?.. Господа студенты, вы же не можете сказать, что я плохо относился к учащейся молодежи? А?.. Я всегда... всегда шел навстречу, господа студенты!

— Ишь, запел Лазаря, кабан царский!—еще крепче того выругался какой-то мастеровой с гневными косыми глазами и с глубоким шрамом во весь подбородок.—„Коллеги... господа студенты"...—удиви-

тельно удачно имитируя резкий тенорок Горностаева, передразнивал он его.—А „господ рабочих"—нагайками, да горячими? Шкуру с тебя, кабан царский!

— Да что вы ему верите? Не верьте, товарищ!—вскипел Вадим Русов.—Немало он нашего брата, студентов... Именем революции и народа—вы арестованы, господин Горностаев!

— Мне уже объявлено, господин студент... Пусть так, пусть так, коллеги... Но за что, коллеги?

— Довольно скулить!.. Оружие!

— Слушаюсь. Но позвольте руки опустить?

— Не сметь!

— Но как же, господа?

— А вот так!

Федя кинулся к полицеймейстеру и стал обыскивать его карманы.

Изо рта Горностаева шел горячий дурной запах ежеминутной отрыжки. Короткая и широкая, налитая жиром шея в мясистых складках покрылась крупными каплями пота. Он стекал ручейками. Было до того противно, что хотелось не платком, а горностаевской же кубанкой вытереть эту жирную влажную шею, закрыть шапкой зловонный рот...

Обезоруженного полицеймейстера повели в зал Общественного комитета, представители которого уже бежали навстречу—предотвратить „самосуд" толпы. Пленник увидел знакомых людей и заплакал слезами благодарности.

— Пойдем, Вадим. Делать тут нечего.

Федя спрятал в карман отобранный у Горностаева маленький браунинг в замшевом чехле и протянул своему другу „бульдог", полученный час назад в полицейском участке.

— Не требуется, Федя. Уже имею.

Федя отыскал мастерового с косыми глазами и отдал ему револьвер.

— Мне бы из пушки по сволочи стрелять!—принимая „бульдог", зло и радостно сказал мастеровой.

— Не придется уже из пушки, товарищ!

— Воробьи, считаете? Ой-ли—коршуны!

Заночевать в тот день пришлось не у себя на Тарасовской, а в помещении врага. Во главе маленького отряда вооруженных студентов, глубоким вечером, Федя Калмыков подошел к домику на пустынной Сенной площади. На улице было темно, ни одного фонаря. Погашены были огни и в самом одноэтажном домике с наглухо закрытыми извне ставнями, сквозь щели которых в другой раз должен был просачиваться свет от электрических ламп.

Звонка не было,—пришлось стучать в парадную дверь. Сначала—кулаком, а потом и прикладом винтовки. Это подействовало.

— Господи, кто это там?—донесся из-за двери женский испуганный голос.

— Давай, давай! Откройте!—выкрикивали студенты.

— Господи, святый боже, сколько вас там? Что надо?..

Проскрежетал туго отодвигаемый дверной засов, два раза повернули в замочной скважине ключ,—и Федя нетерпеливо толкнул послушную теперь дверь.

— Именем революции объявляю вам...

Он замялся, не зная, что сказать.

Перед студентами стояла пожилая, лет за сорок, серолицая, невзрачная женщина в валенках и суконном мужском пальто с облезлым бараньим воротником. В руке она держала свечку—стеарин каплями сбегал на огрубевшие короткие пальцы.

— Вы кто такая?—спросил Федя.

— Сторожиха, паныч... Живу тут. В услужении.

— Кто-нибудь есть тут сейчас?

— А разве в такой час находятся?—ответила она вопросом на вопрос.

— Товарищи! Занять помещение, обыскать все!—распоряжался Федя.—Зажгите свет, сторожиха!

Через несколько минут товарищи привели к нему под конвоем полуодетого мужа сторожихи. Он снял с жены свое пальто и надел его на себя. Раздутая флюсом щека была повязана черным засаленным платком.

— Ваше занятие?

— Рабочий я тут.

— Какой рабочий?

— Известно какой—в типографии служу.

— Фамилия?

— Обыкновенная, господа, фамилия,—малый интерес вам... А вы кто будете?

— Фамилия?!—прикрикнули на него.

— Ну, Иванов... пожалуйста, пожалуйста,—стало угрюмо и безгого постное, сумрачное лицо его.

— Почему здесь живете?—вел Федя допрос.

— А где-то жить человеку надо, господин студент? Или как по-вашему?

— Так не отвечают честные пролетарии!

— Да уж как умею...

— Шельма!—выругался один из студентов, маленький быстроглазый медик Лурс, и погрозил кулаком.—Монархист, погромщик, наверно?

В этом одноэтажном домике помещалась редакция и типография черносотенной газетки „Двуглавый орел“, основанной известным в Киеве студентом Голубевым. Его портрет—остролицего, голубоглазого и румяного молодого человека с приглаженными набок русыми волосами—висел напротив царского портрета. Оба они были сброшены на пол и в миг изорваны Федей и его товарищами.

Нашли приправленные к печати две полосы газетки, очевидно, вчера только составленные. Как всегда в этом листке, газета „Киевская мысль“ именовалась „Киевская мыква“, как всегда, в разрухе и в поражениях русских армий повинны были „жиды-лапсердачники“, и, как всегда, верноподданные черносотенцы с Сенного рынка и Бессарабки призывались к учинению резни революционеров и „жидо-масонов“.

Все это было не новостью, все это было очень скучно, и Федя пожалел, что приходится тратить время на такое никудышное занятие, каким представлялся ему обыск в грязной маленькой редакции навеки скончавшегося погромного листка.

Все, что можно было выяснить,—было выяснено. Зеленоглазый

с флюсом Иванов оказался метранпажем типографии, членом „Союза русского народа“ и, конечно же, должен был служить в киевской охранке. Утром его надо будет препроводить в Общественный комитет: пусть там разберутся. А покуда его объявили арестованным, и у дверей его комнаты поставили часовым медика Лурса.

Ночь не предвещала ничего исключительного и важного, бездействие облегчило победу усталости,—и Федя прикурнул в конторской комнате на столе.

Был четвертый час ночи, когда он проснулся от неожиданной встряски:

— Калмыков, Калмыков, вставайте... Ну, вставайте же, я вам говорю! Это я, Лурс.

Федя вскочил. В темноте он с трудом различал лицо товарища.

— В чем дело, Лурс?

По черному ходу стучат!

— Стучат?.. Где наши?

— Надо будить. Я к вам прибежал...

— Будите!

— А дверь будем открывать?

— Конечно! Только не производите шума!

— Где тут выключатель? Ух, чорт!..

— Не надо, Лурс: окно конторы во двор...

— Ну, так что?

— Прошу меня слушаться!—зашипел на него Федя.—Будите... и ступайте немедленно на свой пост!

— Какой Брусилов нашелся... видали?—буркнул одобрительно студент и, спотыкаясь в темноте, побрел будить товарищей.

Все вместе пробрались в кухню, прислушались. Стук в дверь настойчиво повторился.

— Открывать?—шопотом советовались студенты.

— Позовите хозяина!—распоряжался Федя.

Привели метранпажа: он был в пальто, шапке, сапогах.

— Спросите, кто. Потом откройте.

Федя положил ему руку на плечо и вместе с ним вышел в сени.

— Кто тут?—чересчур громко, как показалось Феде, спросил метранпаж.

— Не достучаться к тебе, Петр Лукич,—ответил шепелявый голос.—Скорей! Это я...

Метранпаж сбросил дверной крюк, распахнул дверь:

— У нас тут собачьи...

Он не досказал,—и Федя вдруг ощутил крепкий удар кулаком в грудь. Он покачнулся.

Прежде, чем успел крикнуть о помощи, метранпаж очутился во дворе, захлопнув за собой дверь. Слышен был топот убегающих людей.

— Держите, товарищи!—заорал Федя.—Стреляйте в подлеца!

Выскочили во двор, потом на улицу. По снежной, мертво лежавшей в ночи площади бежали рядом две темных фигуры. Студенты помчались им вдогонку.

— Стой! Стой!..—кричали они.

— Вот это дело... настоящее революционное дело!—на бегу восторженно, но тяжело дышал маленький Лурс, держа наперевес непосильную для него винтовку.

„Чорт! Ведь никто стрелять, наверно, не умеет?..—глядя на него, подумал Федя.—И я никогда в жизни не стрелял...“

Он остановился на секунду и вынул из кармана горностаевский браунинг. Замшевый чехол отбросил в сторону и снова побежал вперед. Он обогнал своих товарищей.

— Стой! Ни с места, стрелять буду!—кричал он убегавшим, сам не веря в свои слова.—Именем революции...

Где-то, в другом конце площади раздались тревожные свистки. „Наши стоят, молодцы!“—обрадовался Федя.

Он был уже совсем близко от убегавших, когда один из них, отъединившись от своего спутника, обернулся, задержался на несколько мгновений на месте... и площадь огласил первый выстрел. Федя даже не сообразил сразу, что это стреляли в него.

— Ай, в ногу!—услышал он позади себя.

Обернулся: Лурс, отшвырнув винтовку, опустился на снег. Двое товарищей задержались подле него.

— Лурсик... Лурсик... ничего, дорогой.

— Стой, сволочи!—забыв уже в тот момент обо всем на свете, усилил погоню Федя.

Впереди него, близко-близко,—спина спешившего за угол врага.

— Остановись, или я...

Федя остановился, вытянул руку с наставленным браунингом и, не чувствуя уже, что̀ именно делает, выстрелил несколько раз под ряд.

Ему показалось, что враг успел все-таки скрыться за угол, и что взамен него он смутно видит впереди себя едва перебирающую ногами черную собаку. Но это, как понял спустя минуту, была не собака, а пытавшийся ползти на четвереньках и свалившийся набок человек. Он стонал и всхлипывал.

Федя отшатнулся.

— Сюда! Сюда!—закричал он отставшим товарищам.

Двое остались с Лурсом, двое других очутились на месте происшествия.

— Что случилось? Кто стрелял? Тебя ранили, Калмыков?

— Нет, я стрелял... и попал вот! Не думал... а попал.

— Фу, слава богу!

— Я не думал, не хотел... это ужасно!

— Заплачь еще... какие сентименты!

Они наклонились над свалившимся, стонущим человеком и тотчас же узнали в нем своего недавнего пленника из типографии.

— Умираю, братцы... Ой, помираю, православные!—корчился тот от боли.

— А кто Лурса ранил,—ты? Охранник проклятый, так тебе и надо!

— Птицын, голубчик, давайте перенесем его в больницу... Ну, давайте же, Птицын! Женя Касаткин, помоги нам! Разве я хотел убивать? Я совсем не хотел этого,—сокрушался Федя, наклонившись над метранпажем.—Здесь близко, на Львовской, есть больница... мы сейчас вас туда доставим, голубчик.

— Хорошо „голубчик“!—презрительно буркнул студент Птицын.— Куда вам попало, Иванов?

— Ой, сюда... ой, сюда!—стонал раненый, показывая рукой на правое плечо.

— Жив будет, чего там!—уверенно сказал Женя Касаткин.

— Ты думаешь?—обрадовался Калмыков.—Вот не ожидал, вот не ожидал!..—бормотал он.

Обоих раненых—Лурса и метранпажа—доставили при помощи постовой милиции в ближайшую больницу. У студента оказался раздробленным большой палец ноги, калмыковская пуля засела под лопаткой метранпажа.

Тут же, в больнице составили протокол о ночном происшествии, записали адрес Феди и его товарищей.

— А если бы убили, коллега?—подавляя зевоту, отчего выступили ленивые слезы на заспанных бесцветных глазах, спросила его женщина-врач.

Она вскинула желтые густые ресницы и сострадательно скривила мясистые губы:

— А почему это все произошло, собственно?

Он не мог в ту минуту толком все объяснить. Только возвратившись в типографию, Федя познал причину столь огорчившего его ночного происшествия.

В комнате метранпажа и его жены, где из непонятной скромности и вежливости студенты раньше не решались произвести по-настоящему обыск, они нашли теперь две связки свеженьких черносотенных прокламаций. „Союз русского народа“ требовал в них от полиции и „верноподданных войск его императорского величества“ расстрела „антиправительственных сходок и демонстраций, устраиваемых жидами и прочими крамольными инородцами“.

За этими листовками и являлся в ночную пору соратник метранпажа. Кто он был—так и не удалось тогда Феде узнать.

Утром он сбегал в больницу. Лурс радостно расцеловался с ним, посетовав только, что „в такие чудные дни“ приходится валяться на больничной койке. Метранпажа прооперировали, ничто не угрожало его жизни.

Федя повеселел. Он, улыбаясь и не без некоторого хвастовства, продемонстрировал товарищу горностаевский браунинг, в котором нехватало теперь нескольких пуль.

Как зарядить снова револьвер—он не знал. А в душе и надеялся, что никогда больше не будет в том надобности.

Разгромили Лукьяновку, подожгли Косой Капонир,—по улицам Киева несли на руках освобожденных из тюрем вчерашних арестантов. Вчера еще их ждала ссылка в Сибирь, каторга, кандалы, а многих—и смерть от веревки и пули. Сегодня—их приводили с песнями в Городскую думу и там чествовали речами—„свободных граждан свободной России“.

Город поспешно стал жить новой жизнью. Приказчики, водопроводчики, посыльные, печатники, булочники, заводские рабочие, портные,

часовщики—учреждали свои профессиональные союзы и расклеивали о том извещения на всех тумбах и столбах.

И среди всех этих афишек появилось вдруг объявление инициативной группы киевских проституток. Это объявление читали с не меньшим интересом, чем первую телеграмму об отречении царя:

Дорогие подруги!

ПРИШЛО И ДЛЯ НАС СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ. ДОВОЛЬНО ПЛАТИТЬ ПОЛИЦИИ НАЛОГ, ЗАРАБОТАННЫЙ НАШИМ ТЕЛОМ. ДОРОГИЕ СЕСТРЫ, ПРИХОДИТЕ НА ДУМСКУЮ ПЛОЩАДЬ 2, ОБСУДИМ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВ ЦАРИЗМА, КОТОРОГО СКИНУЛИ В СТОЛИЦЕ ПЕТРОГРАДЕ.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА! ПРИХОДИТЕ, СЕСТРЫ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НАШ СОЮЗ. НАПИШЕМ В ГАЗЕТЫ ПРО НАШЕ СОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ ПРО НАДРУГАТЕЛЬСТВО ХОЛОСТЫХ И ОСОБЕННО ЖЕНАТЫХ ГОСТЕЙ. А ТАКЖЕ ПРОСИМ ПРИТТИ ВСЕХ ЖЕН И НЕВЕСТ НАШИХ ГОСТЕЙ, УЗНАТЬ ВСЮ ПРАВДУ, КОТОРАЯ БЫЛА В НАШЕМ ДЕЛЕ ПРИ ЦАРИЗМЕ. ПУСКАЙ ПРИДУТ, И ПОЖМЕМ ИМ РУКИ.

А ТАКЖЕ НЕСИТЕ КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ ДЕНЕГ НА ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ СЕСТРАМ, КОТОРЫЕ ПОСТРАДАЛИ ПРИ ЦАРИЗМЕ ОТ ЧАХОТКИ, РЕВМАТИЗМА И ДРУГОЙ ПРОЧЕЙ БОЛЕЗНИ.

ДОРОГИЕ СЕСТРЫ, ПРИХОДИТЕ ДЕЛАТЬ СОЮЗ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА!

Леля Черненькая, Бронислава Адамовна,
Воробей, Люся, Валя-Кудряшка.

Церковные певчие объявили себя сторонниками Временного правительства. Просили привести их к новой присяге оставшиеся на свободе городовые и околоточные надзиратели. Акцизные чиновники и тюремные служители слали телеграммы преданности „его высокопревосходительству господину Родзянке".

Упали морозы, резвей стало солнце, и на улицах города до позднего вечера полно было народу.

Вокруг памятников, у бараков недостроенного вокзала, в заводских цехах, в крытом рынке „Бессарабки", на думской площади—шли долгими часами митинги. И всюду на митингах и собраниях появились уже ораторы, открыто говорившие о своей партийной принадлежности.

Надо было удивляться, как неожиданно-много, оказывается, было в стране эсеров!.. И земгусар, вчерашний завсегдатай кафэ „Семадени",—эсер, и писарь мещанской управы, и великовозрастный усатый гимназист, и бородатый унтер из крепких сибирских мужичков, и пройдоха администратор из театра миниатюр, и поручик запасного батальона, и студенты, и приказчик магазина охотничьих принадлежностей,—все, оказывается, добывали народу „землю и волю"...

В „Татьянке", в студенческой столовой-бараке на Безаковской, близ вокзала, у трех столов шла запись желающих вступить в члены политических партий. И здесь, как и всюду почти, студенты больше всего толпились у эсеровского стола.

Русый, длинноволосый, с круглой бородкой филолог Сатаров с непомерно большой красной розеткой на груди время от времени подымал над своим столом фанерный щит. На нем был наклеен газетный портрет Керенского,—и Сатаров выкрикивал на весь барак:

— Кто за революцию, товарищи, кто за Керенского—тот должен быть социалистом-революционером!

Сатарову помогала вести запись очень тепло одетая, худенькая, с острым лицом мышенка восторженная курсистка. Она ни на минуту не расставалась с давно изданной, но конфискованной в свое время, затрепанной книжечкой Петра Лаврова.

— Вы за землю и волю, Калмыков? Вы за Керенского?—спрашивал Федю сосед.

— За,—отвечал он односложно, разделываясь с аппетитной гречневой кашей, показавшейся сегодня на-редкость вкусной.

— И я—за,—сообщал студент с мягкими розовыми подушечками на ладонях.—Пообедайте, Калмыков, и вступайте к нам в партию. Чего там? Мы вас знаем, вы в старостате... Я уже записался, Калмыков.

„Знаменитый подпольщик... Степан Халтурин!—иронически подумал Федя о соседе.—Кто бы знал,—а?"

Сосед показывал ему аккуратно сложенную квитанцию Союза земств и городов, на которой теперь значилась фамилия студента и красовался оттиск деревянной печати киевской организации социалистов-революционеров.

Кадетский столик пользовался успехом. К нему привлекала, однако, не программа „партии народной свободы", а черноглазая красавица-курсистка, дочь симферопольского купца-караима. С ней усиленно любезничали, но от того список новых членов партии Милюкова не увеличивался.

Почти у самого входа в столовку стоял стол социал-демократов меньшевиков. Здесь была публика, давно знакомая Феде по факультетским сходкам, по участию в собраниях старостата, по частным встречам, когда распивалось вино, купленное в излюбленном магазине на углу Крещатика и Фундуклеевской, и обсуждались рефераты об учении Каутского, или устраивался политический суд над героями Достоевского.

Пойти к ним—старым друзьям и товарищам? Объявить себя социал-демократом? А почему бы и нет? Он их знает, а они—его.

Завидев Федю, долговязый, туберкулезный, в желтых веснушках Гашкевич приветливо окликнул его издали:

— Приходите непременно. Надо посовещаться о нашем собрании.

И это слово—„наше"—было понято теперь Федей по-иному, чем раньше. Конечно же, его звали на собрание партийной социал-демократической фракции студенческого совета. Может быть, даже не спрашивая его,—потому что так сильна была уверенность в нем и „лидера" Гашкевича и всех остальных товарищей,—его уже включили в список членов РСДРП.

Если бы так случилось—он в конце концов не возразил бы. „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“—разве это не то идейное знамя, под которым он, Федя, должен итти вместе со всеми рабочими, вместе с революцией?

— Ладно!—крикнул он в ответ Гашкевичу, не решив еще, однако, что точно должно означать это слово.

В далеком углу барака сидело несколько человек, среди которых он увидел Алешу Русова. Встав из-за стола, Федя порывисто направился к своему другу и земляку. Он ни разу не встречал его в эти дни.

— Познакомься, братец-народничек!—весело ухмыляясь, сказал Алеша, указывая на своих товарищей.

— Что за ерунда! При чем здесь „народничек“?—немного смутился Федя, пожимая руки новым знакомым.

— А разве обидно?—рассмеялся один из них, по виду—рабочий, средних лет с высоким смуглым лбом и запорожскими темными усами, и лукаво подмигнул остальным.

— Не столько обидно, товарищ, сколько не совсем верно...

— Но ведь ты же, Федулка, не марксист!

— Не всем же рождаться марксистами, Алеша. Правда?—спокойно усмехнулся, беря под защиту Федю, молодой, круглолицый человек в очках, с наголо выбритой головой.

— Верно, товарищ Эдельштейн,—поддержал его „запорожец“.

— Вы и есть Эдельштейн?—вскрикнул Федя, пожимая вновь ему руку.—Тот самый... без пяти минут смертник?

— Я и есть Эдельштейн,—спокойно смотрели на него светлокарие глаза из-за выпуклых стекол очков.

— Я так много слышал о вас... Ведь вы наш, университетский?

— Университетский.

Он, улыбаясь, показал пальцем на синие петлички своей тужурки. Вместо золоченных пуговиц с двуглавыми орлами, на ней были какие-то плоские, обтянутые черной материей костяшки.

— Как я жалею, что мне не пришлось поджигать этот проклятый Косой Капонир!—восторженно смотрел Федя на недавнего „смертника“.—Понимаешь, Алеша, ведь я в это время...

— Зря, между прочим, поджигали,—закуривая после еды, сказал Эдельштейн.—Должен еще пригодиться. По крайней мере—в свое время.

— То есть?—посмотрел вопросительно Федя.

— Когда начнется настоящая рабочая революция, куда, товарищ Калмыков, прикажете размещать ее врагов?

— Это, я думаю, будет. Обязательно будет!

Федя перевел взгляд на эдельштейновского соседа, подавшего столь убежденно эту реплику.

— Что вы хотите этим сказать, товарищ Довнар?—обратился он к нему.

— Если вас это интересует, Калмыков, приходите вечером в Арсенал. Послушаете революционных рабочих.

Было что-то львиное и повелительное во всем облике Довнар-Запольского. Коренастый и широкоплечий, с грудью борца, с тяжелой гривой темнорусых волос, с большими серыми глазами, как будто вби-

равшими в себя собеседника,—он всегда был заметен в университетских коридорах. Он прихрамывал и чуть-чуть волочил ногу,—и казалось, что не обычная это хромота с детских лет человека,—а где-то ранен в бою этот порывистый и неукротимый „львенок". Сын известного профессора, человека неясных и путаных политических убеждений,—Довнар, как известно было, давно уже не жил на отцовской квартире, но где точно обретал—знали об этом, вероятно, очень немногие.

— А вы будете выступать?—спросил его Федя.

— Да уж кто-нибудь из нас, большевиков, будет. И не один, вероятно.

„Вот оно что...—подумал Федя.—Они все—большевики. И Алешка с ними—теперь все понятно. Однако, гордые! К себе не зовут. Все равно не пойду... Беспочвенность и слепой фанатизм!"—повторил он в уме чью-то фразу, услышанную сегодня за обедом.

Впрочем, чего хотят сейчас большевики—он, собственно, не знал, но очень уж отпугивал их „несвоевременный максимализм", о котором был наслышан в кругу Гашкевича и его друзей.

Но вызывали симпатию и „смертник" Эдельштейн, и Довнар с умными серыми глазами, и, конечно же, давний друг детства Алеша Русов, которого любил, и Феде от чистого сердца хотелось сейчас увидеть этих приятных и привлекательных людей за одним столом с таким же приятным и самоотверженным, как думалось, Гашкевичем.

„И те и другие с рабочими... и я за рабочих, за революцию. Неужели Гашкевич будет против? Чорт побери, чего не поделили? Неужели нельзя по-хорошему сговориться?—искренно досадовал Федя, думая обо всем этом.—Вот, если бы вместе..."

...Он выскользнул из столовки, стараясь не попасться на глаза Гашкевичу и его друзьям.

„Боже мой, разве это так просто—войти в партию? И в какую? Ведь надо с самим собой поговорить раньше!"

На мостике он обогнал молодую красивую женщину в котиковой шапочке—и почему-то впервые за эти дни длительно подумал о Людмиле Петровне. Боже мой, как мог он забыть ее хоть на один час?..

„Вот осел вифлеемский",—укорял себя Федя.

В этот вечер он не пошел в Арсенал, куда звали его. И этот вечер принес ему неожиданность, о которой меньше всего мог бы думать.

Проходя по Пушкинской мимо дома Георгия Павловича, Федя решил побывать у Карабаевых, у которых давненько не был. Вот уж теперь есть о чем потолковать: столько событий, столько новостей!..

И очень любопытно, как держится теперь Георгий Павлович, что он говорит? Как там у них, в Общественном комитете: небось, поторопились присягать Михаилу?.. Да и затем интересно: брат министра все-таки! Может быть, сейчас и кадетское общество застанет у него? Ну, знаете, господа хорошие, он сам, Федя, может вам рассказать такое, чего никакая газета не сообщит в подробностях. Хотя бы об аресте Горностаева (вот, пожалуйста, его браунинг!), или о ночном происшествии в „Двуглавом орле"...

Он не хочет бахвалиться, но... в него-то стреляли, могли убить,

и он сам стрелял, *делал* революцию, а чем Карабаев и его застольные друзья в это время занимались?

Конечно, он не станет говорить об этом так грубо, но почему бы и не съязвить маленько? — усмехался он, проходя по двору к парадному подъезду карабаевской квартиры. А почему бы и не припугнуть богатеев? Можно и про Косой Капонир напомнить: вот, мол, сможет еще пригодиться, когда начнется настоящая рабочая революция. И все прочее, о чем говорил сегодня большевик Эдельштейн.

Но всем этим фединым замыслам не суждено было сбыться. Встретившая на пороге горничная сообщила, что барин и барыня поехали на машине в Думу и еще не возвращались, барышень тоже нет, а дома — только Костенька с гувернанткой.

Из прихожей, сверкая зелеными глазами, торчком наставив срезанные уши, выжидающе-грозно смотрели на Федю два пятнисто-серых дога.

Он шутливо поздравил горничную со свободой, посоветовал ей записаться поскорей в профессиональный союз и спустился во двор.

Здесь он вспомнил о Теплухине. Он поднял голову вверх и посмотрел на окна третьего этажа, где находилась квартирка Ивана Митрофановича: два окна были затемнены, в третьем был свет.

Федя, спустя минуту, стоял уже на площадке теплухинской квартиры. На звонок открыла дверь знакомая старушка-экономка Ивана Митрофановича.

— Дома?—спросил Федя.

— Уехали-с. Уже сколько дней уехали-с Иван Митрофанович.

— Вот так штука...—разочарованно протянул Федя.—И вы одна тут?—не придавая значения своему рассеянному вопросу, спросил он.

— Все дни одна, Федор Миронович. А вот час назад гости пожаловали,—улыбнулось розовое лицо старушки, и она почему-то перешла на шопот.—По записочке Ивана Митрофановича и впустила, да-с... Хоть не так скучно будет сторожить квартиру: времена, знаете, какие?..

„Гости?“—любопытство овладело Федей.

— Водички не дадите напиться, Анна Ниловна?—вошел он в прихожую.

— С превеликой охотой. Может, винца добавить? Или морса желаете? Морс какой день в графине стоит... Вы ко мне в комнатку пожалуйте. Сейчас я вам, сейчас я вам... с превеликой охотой.

„А гости где?“—едва сдержался Федя, чтобы не спросить.

Он пошел вслед за экономкой, но задержался в коридорчике, у дверей в теплухинский кабинет. Он слегка потянул дверь к себе: в комнате было темно и тихо. Не понимая еще, зачем, собственно, он это делает, Федя нащупал у входа за порогом выключатель и повернул его. Комната мгновенно осветилась, и он сразу же увидел двоих мужчин, вскочивших с дивана.

— Кандуша!—вскрикнул Федя, узнав его.

Другой был незнаком.

— Кандуша!.. Вы здесь?

Кандуша шел к нему навстречу с протянутой рукой.

(Продолжение следует)

ВОЗВРАЩЕННАЯ СЕМЬЯ

Ал. Грин

Я хорошо говорю по-русски: лучше, чем другие эстонцы. Это потому, что я не прятался от людей, как другие вроде Яна Уйт или братьев Карьямаа.

Но сорок лет назад и я не знал ни одного русского слова. Я тогда приехал сюда из Эстонии следом за Уйтом. Мы первые с ним купили тут леса и болота у русских мужиков.

Вы не знали Яна Уйт? Это очень жалко, что вы его не знали. Ян Уйт мог взять в руки бревно и ударить этим бревном в стену какой-нибудь бани так сильно, что баня косилась набок.

Ян Уйт мог бросить лошадь на землю ударом своего кулака, и он мог выдернуть из грязи тот воз, который не могла выдернуть лошадь. Вот какой был Ян Уйт!

Он всегда надеялся только на свою силу и знать никого не хотел. Он работал день и ночь, как чорт. Он один построил себе дом и землю свою разделал так, что ее можно было есть. Вот какой был Ян Уйт!

Но он не любил русских. Он всегда злился на них за то, что они бедно живут и приходят просить в долг хлеба после рождества. Он давал им в долг хлеба, но всегда ругал их. Он говорил им, что нужно больше пахать, нужно меньше праздновать свои дурацкие святые праздники и больше работать.

Если они говорили ему, что у них земли мало, то он еще больше кричал на них. Он говорил, что не надо делить на мелкие кусочки одну и ту же землю, а надо пахать новые леса и болота, тогда будет хлеб.

Люди кивали головой и говорили: „Да, да". Они кивали головой потому, что он давал им хлеб, и они не хотели обидеть его. А сами шли в свою деревню и жили попрежнему. Там всегда смотрели на деда. А что мог придумать дед? Он мог только посоветовать жить так, как прожил он сам. А сам он прожил в грязи, бедности и темноте.

Ну, а мне было легче давать в долг хлеба или денег, потому что я не рвал хлеб и деньги из земли с таким трудом, как Ян Уйт. Деньги мне на первое время присылал отец, и я легко сколотил хозяйство. А пахал я немного—только для себя. Я больше работал в саду, чем в поле. Сад я вырастил большой. Я всегда любил сады. И пчел тоже я очень любил. У меня в саду под каждой яблоней была осиновая колода. Пчелы давали мед и сторожили мой сад. А жена моя любила гусей.

Когда эти гуси собирались около дома, то двор был похож на какое-то живое море—так много было у нее гусей.

Нам легко было давать в долг другим: у нас как-то все ладилось в хозяйстве.

Но и я не хотел бы жить и работать тогда с русскими. Среди них, может быть, много хороших и умных и веселых людей, но лучше кушать и работать от них отдельно. Насчет этого у меня были одинаковые мысли с Яном Уйт.

Мы с ним крепко держались каждый за свою землю и делали ее все лучше с каждым годом. Мы продавали осенью то, что нужно продавать, и опять пускали деньги в свое хозяйство.

Мы думали, что мы живем на середине земли и делаем жизнь на земле.

Но жизнь делали совсем не мы. Это мы узнали тогда, когда по нашим полям и садам прошла настоящая злая жизнь и подмяла все, что ей попалось на пути...

Это были очень плохие годы, и мы с Уйтом не любили их вспоминать.

По нашей земле была проложена дорога, и мы были очень злы тогда, потому что она разделила землю Уйта пополам, а у меня прошла по самым хорошим лугам.

Люди, которые делали эту дорогу, не спрашивали нас—можно ее делать или нет. У них были крепко стиснутые зубы, и они очень спешили.

Они провезли по этой дороге пушки и пулеметы и пропустили кавалерию.

Тогда только они сказали, что хотят ударить в тыл каким-то белым полякам или немцам или обоим вместе—не помню.

Трое из них ночевали у меня. Один был совсем молодой, как мальчик. У него глаза смотрели в разные стороны и трудно было понять: которым глазом он смотрит на тебя, и что он еще видит этими глазами.

Он сказал мне:

— Отец, у тебя полный сад ульев, угости нас медом.

Я сказал ему:

— Сын мой, нет у меня меда.

Он сказал:—Неправда. Этого не может быть! Куда же ты деваешь свой мед? У тебя должны быть целые бочки меда.

Я сказал ему:—Добрый человек, мы два года не видели сахара. Каждый год в начале весны я должен прикармливать почти все ульи сахарной сытой. А где я возьму сахарную сыту? Я кормил их остатками меда. А в эту зиму у меня не было ничего. Осенью я взял от сильных лишние соты и положил слабым и закутал все колоды соломой на зиму. Выживут—хорошо, а не выживут—весной увижу, что делать.

Но месяц тому назад на наши хутора пришли военные люди. Кто они такие были—не знаю. Может быть, те, которым вы хотите ударить в тыл? Они говорили на чужом языке. Двое из них полдня искали у меня в саду меда—такие дураки! Они изрубили топорами и сожгли половину ульев. Но они не нашли ничего, кроме пустых желтых сот и личинок. Они пришли в избу, злые и искусанные. А ведь месяц тому

назад еще на многих местах лежал снег, и были сильные заморозки. Пчелы вылетали из расколотых колод и мерзли. Их можно было подметать метлой—так много лежало их вокруг каждой колоды. Я до самой ночи сидел в саду и плакал. Если ты хочешь, я дам тебе дымарь и сетку и даже топор. Иди и ты ищи мед; там почти половина ульев не тронута. Я не выпускал еще пчел в эту весну. Иди ищи. Я не буду тебе мешать.

И он сказал:

— Нет, отец. Я не грабитель. Мы для того и пришли сюда, чтобы твои колоды больше никто не тронул. Береги их и наполняй опять пчелами и медом. Через три года я приду к тебе кушать мед. Хорошо?

Я сказал:

— Хорошо.

А на утро они ушли бить этот проклятый тыл. И они взяли моего Эдуарда, взяли Эльмара Уйт, Талдрика, Адлера и много других эстонских и русских ребят.

Наверно, крепкий был этот тыл, потому что назад пришли ребята через два года, и пришли не все. Мой Эдуард тоже не пришел...

Он дрался там за то, чтобы никто больше не тронул моих пчел, и остался там...

Пускай бы лучше пережгли всех моих пчел и весь мой сад и меня вместе с ним, только бы он вернулся!

Ну, ладно. Все это прошло. Жизнь опять пошла вперед. Уйт строил новый дом. Его сын Эльмар пришел раз ко мне и улыбнулся моей Нанни. И она улыбнулась ему. Что ж! Это не плохо, когда молодые люди улыбаются друг другу. Лучше улыбаться, чем плакать.

Но через месяц Нанни ушла в дом Уйта и стала жить с его сыном. Она ничего не хотела брать от меня. Но разве я не отец ей? Я дал ей самую хорошую корову и перевез к ней все, что приходилось на ее долю.

Потом я сказал своей старухе:

— Ну, вот, старуха, и вся наша жизнь. Мы с тобой работали до самой старости, как черти. Для чего мы работали? Наверное, для того, чтобы нам под старость было спокойнее жить. Ну, вот, нам теперь можно очень спокойно жить. И Эдуард наш погиб за то, чтобы нам было спокойнее жить...

И она заплакала тогда—моя старуха. Она не хотела, чтобы нам было так спокойно жить—ну, ладно. Скоро мы узнали, что даже такой покойной жизни нам не дадут. К нам стали приходить люди и говорить, что мы все должны работать вместе. Наша земля должна быть общая с русской деревней, и крупный скот то же, и мы должны работать вместе и получать осенью свою долю из всего, что вырастет в колхозе.

Я много смеялся тогда. Но мне не было смешно. Ну, что я мог заработать со своей старухой? Я мог только посеять хлеб и картошки столько, чтобы нам двоим хватило прожить до новой осени. Больше я ничего не мог посеять. И мы со старухой померли бы с голоду, потому что мы бы ничего не получили осенью в этом колхозе. Я смеялся тогда и никуда не пошел.

А русская деревня прямо кипела. Им как будто кто-то отвязал цепь и пустил их на волю. Они со своими плугами прошли сквозь

все межи и сделали такие огромные пашни, что приятно было смотреть.

Даже у нас на хуторах не выдержали. Все, кто жил за новой дорогой, слили всю свою землю с русскими.

Уйт строил за дорогой новый дом. Его сын ушел в этот новый дом и тоже слил всю свою землю за дорогой с русскими землями.

Моя Нанни тоже ушла вместе с ним. Она ушла еще дальше от меня. Она ушла жить на землю, которая затерялась среди огромной чужой земли, подходившей, как черное море, до самой дороги.

А мы жили за этой дорогой.

Мы раньше ругали эту дорогу, потому что она мешала нам. Она отслужила свое, когда нужно было, и теперь никому не нужна была. По ней мало кто ездил.

Но теперь мы не хотели, чтобы дорога пропала. Мы не хотели, чтобы черное распаханное море надвинулось на нас.

Мы ругали и хвалили эту дорогу.

Старый Уйт был железный человек. Он не пошел за Эльмаром. Он хотел быть хозяином на своей земле. Он вспомнил свою силу и сказал, что он все равно будет жить лучше этих русских лентяев, которые переманили к себе его сына, вместе с самой хорошей землей. Он злился, как чорт, и начал разделывать то, что у него осталось.

Он мог бы еще чорта сломать своими железными руками, этот Уйт, но его нашли мертвым в поле, где он зарывал в землю большие камни, которые мешали ему пахать.

Из ямы торчала только голова и плечи. А остальное было придавлено камнем раньше, чем он успел выскочить.

Даже для Яна Уйта оказалось не под силу строить жизнь одному!

Ну, а колхозники вытащили свои камни тракторами, и они построили скотный двор из этих камней. Потом они прошли на своих тракторах вдоль и поперек по очищенной земле.

Один раз мы смотрели, как они гуляли на этих тракторах по своим полям. На одном тракторе сидел Эльмар Уйт. Мы видели, как он дал трактору полный ход, перерезал пополам дорогу и пошел по мягкой земле своего отца. Он сделал круг и снова перерезал дорогу. А с другого конца другой тракторист делал то же самое.

И мы видели, как по обеим сторонам осиротевшего дома Уйта выросли две огромные черные руки, готовые обнять этот дом и прижать к мягкой груди, у которой не было конца и края там, за дорогой.

Значит, Сальми Уйт со своей матерью тоже согласились пойти туда. Значит, они не хотели родниться с богатыми Карьямаа, которые крепче всех держались за свои хутора.

Мы молчали со старухой в этот день. О чем нам было говорить? Мне нужно было следить в саду, чтобы не улетел рой. И я ходил между ульями и смотрел, как ведут себя пчелы. У меня всегда было наготове ведро с водой, веник и решето, в которое я сметал рой. Я по звуку мог определить, который улей собирается подарить мне новый рой.

Только вечером я сказал своей старухе:

— Вот теперь по этой дороге никто не будет ездить. Ее можно распахать.

Старуха сказала:—Да. Ее можно распахать. Только на что она нам? У нас и так много земли остается гулять.

Я сказал:—Это верно, на что она нам? Зачем я буду ее пахать? И когда я буду ее пахать? У меня нехватит сил запахать все. Вот если бы Эдуард был жив...

Я сказал это и пожалел, что сказал, потому что старуха опять ударилась в свои слезы. Она всегда плакала, когда вспоминала нашего сына. Мне тоже было невесело в тот вечер. Я долго не спал. Перед глазами я видел две большие, мягкие руки, которые обнимаю дом и сад покойного Уйта.

На другой день к нам пришли Эльмар Уйт и Нанни. У них был выходной день.

Они принесли с собой сынишку. Это был хороший мальчишка. Он был мой внук. Он уже ходил и бегал сам и болтал что-то такое, что было понятно только ему самому.

Я весь день не пускал его от себя—такой он был толстый и веселый!

Мы мало говорили с Эльмаром и все больше о мелких вещах. Только раз он спросил, много ли я запахал в эту весну. Я сказал, что почти ничего еще не пахал и что у меня в саду даже яблони не все окопаны—пчелы отнимают все мое время, но думаю в этом году запахать не меньше прошлого года.

Мы еще говорили о разных пустяках, смотрели сад и гусей и мой старый хлев, который уже косился набок.

А потом они ушли и унесли своего сына. И мне опять стало невесело. Я думал тогда, что такие люди, как Эльмар, в колхозе не пропадут. У них и сила, и молодые годы, и вера в эти колхозы. Они могут чорта сломать с этой верой.

Я заболел потом и лежал несколько дней в постели. Старуха совсем сбилась с ног. В эти дни она больше, чем всегда, кричала мне, что нужно нанять работнику или работницу, что так без конца нельзя тянуть.

Но я даже представить не умел, как это я буду держать чужого человека, и он будет работать на меня. Никогда я не хотел, чтобы чужой человек работал на меня. И я всегда удивлялся, как это братья Карьямаа держат и работников и работниц и не стесняются гонять их на работу.

Я совсем расстроился в эти дни, глядя на свою бедную старуху.

А один раз утром, когда я уже встал на ноги, старуха прибежала ко мне как сумасшедшая и закричала:

— Идем скорей! Смотри! Смотри, что они сделали с нашей землей!

Я надел туфли и побежал с ней через сад.

Моей земли не было за садом, и дороги тоже не было. Черное распаханное море проглотило эту дорогу и захлестнуло на моей земле все, что я не пахал уже несколько лет.

Тут стояли два трактора, и около них закуривали свои цыгарки Эльмар Уйт и русский парень.

Это они работали тут всю ночь.

Они смеялись, черти, когда я подходил к ним.

Эльмар сказал по-русски:

— Не сердись, Юхан Тютсип. Ведь у тебя земля гуляла много лет. Вот ты сам увидишь, какой богатырский хлеб родится на этой земле. А если уж тебе так не хочется быть с нами вместе, то считай эту землю от бывшей дороги попрежнему за собой. Мы засеем ее завтра, а осенью можешь сам снимать хлеб, если хочешь. Мы ничего не возьмем за это. Но, может быть, ты все-таки войдешь в нашу семью? Ведь ты сам думаешь об этом; и ты не пожалеешь, Юхан Тютсип, ей-богу! А сейчас говори прямо: пахать дальше или нет?

Ну, что ты будешь делать с такими чертями? Они стояли около своих тракторов, веселые и огромные, и ждали. И трудно было бы сказать, кто сильнее: они или их тракторы—такие они были богатыри!

Я посмотрел на свою старуху. Она молчала. Но я видел, какими глазами она смотрела на это море перевернутой земли, на эти две тяжелые машины и на молодцов около них.

Я сказал:—Ладно. Пашите дальше...

И тогда эти два быка бросились на меня и стали бросать меня кверху—чорт знает как высоко, и кричать „ура".

Такие сумасшедшие черти!

Ну, что вам еще рассказать? Вы видели сады? Это наши сады. Они скоро сойдутся в один большой сад от старого дома Уйта до моего. А пчелы теперь вынесены в сторону от сада. Меня называют заведующим садами и пчельником, и я получаю осенью двойную плату. Мне выстроили новый амбар. Старый амбар оказался маленьким для этой платы.

У меня целая куча помощников. У меня даже школа есть для них. Я сам учу их в этой школе. Мне пришлось вспоминать всю русскую грамоту, которую я раньше немного знал, и пришлось купить много русских и эстонских книг по садоводству и пчеловодству и читать их, потому что в школе нужно те знания, которые ты взял от жизни, подкреплять законами, которые наука вывела в течение многих человеческих жизней.

И я рассказываю в школе своим помощникам по-русски и по-эстонски, как надо ухаживать за деревьями и за пчелами. Я рассказываю им, что выгоднее: колода или рамочный улей. Я объясняю им, почему дикая яблоня легче выносит прививку и почему на севере груши мельче, чем на юге, и почему корни вишни так любят плодить десятки новых молодых вишен. Я читаю им настоящие лекции, как профессор. Я сам очень много узнал из книг за эти годы. Иногда ко мне приходят самые маленькие ребята из деревни. Они приходят парами, окружают меня и дают какой-нибудь подарок. Они не называют меня заведующим, а просто дедушкой, и я веду их к пчельнику и сажаю на траву. Я говорю им, чтобы они сидели смирно, потому что пчела не трогает сидящих смирно.

И они садятся на траву в два ряда, а я иду к пчелам. Я никогда не надеваю сетки и редко беру в руки дымарь. Пчелы меня не трогают. Они знают меня. Я вырезаю самые свежие соты и несу их в тазе моим гостям. Я раздаю им соты и прошу их потом вернуть мне воск.

Они сосут жидкий мед и спрашивают меня обо всем, что приходит в их детские головы. Я отвечаю им, как умею, и шучу с ними, лежа

в траве. Мне всегда весело с этими будущими хозяевами земли. Я сам молодею рядом с ними.

А потом они отдают мне теплые жеваные комочки воска и идут к моей старухе смотреть гусей.

Вы не видали наших гусей? О! Это прямо гусиный завод! У моей старухи больше помощников, чем у меня, и все-таки они не справляются с тем пухом и перьями и салом, которые сами лезут к ним в руки. Этим гусям тесно стало на прудах. Они просят, чтобы им выкопали целое озеро—черти! Ну, вот. Так мы и живем.

Что я могу еще сказать? Я бы хотел сказать еще очень много, но у меня для этого не найдется ни русских, ни эстонских слов.

Ведь я думал, что я потерял свою семью, и жизнь у меня пришла к концу. Но оттого, что я потерял одну маленькую семью, я нашел другую, такую огромную, какой нет ни у кого в мире. И жизнь у меня не пришла к концу, а только еще начинается.

Мне некогда думать о том, что мне 60 лет. Разве может мне быть 60 лет, когда жизнь еще только началась? Я так же молод, как и моя семья. Я не знаю, как велика моя семья. Я никогда не могу всех сосчитать. Они постоянно кипят в работе на разных концах нашей собственной земли.

Где-то соседний колхоз устроил свою жизнь хорошо, так наши хотят устроить еще лучше. Они говорят мне: Здравствуй, отец",— те, которые работают в поле.

А те, которые учатся в нашей девятилетке, говорят мне: „Здравствуй, дедушка".

Я могу зайти в любой дом, и меня встретят как самого близкого человека, потому что каждый человек в этом доме так же близок для меня.

Где теперь тот молодой славный парень, у которого глаза смотрели в разные стороны и так хорошо и так далеко видели? Пусть он теперь придет к своим ульям. Я вырежу ему самые свежие, самые полные соты. Я дам ему самые хорошие яблоки и груши из нашего сада. Почему он не пришел ко мне через три года? Или он лег рядом с моим Эдуардом?

Мои внучата, которым я не знаю счета, поставили мне радиоприемник и научили ловить несколько десятков станций. И после этого мир, в котором я чувствую себя хозяином, стал еще шире и еще роднее и понятнее для меня.

Недавно я слушал речь из Москвы. Эту речь говорил человек, у которого имя такое же простое и сильное, как его речь. Он говорил медленно и просто для того, чтобы я понял каждую его мысль.

И я понял очень много. Я понял, что мой Эдуард не напрасно лег там, у границы. То, за что он погиб, никогда и никому не будет отдано назад. Я понял, что когда много людей очень сильно хотят что-нибудь сделать, то они непременно сделают это. Для них жизнь, о которой раньше говорили только в сказках, вовсе не сказка, а самое обыкновенное дело. Не нужно только складывать руки. Об этом очень просто и ясно сказал мне по радио из Москвы человек, которого каждый хозяин нашей страны зовет своим учителем и другом.

И я хотел бы ответить ему на эту речь, но никаких русских и эстонских слов нехватит мне для того, чтобы ему ответить. И мне очень грустно от этого.

Но я вспоминаю каждое слово его спокойной речи и думаю, что человек, который может так просто и деловито намечать людям жизнь, неизвестную даже в сказках, такой человек видит дальше других людей.

Он видит и знает про каждого Юхана Тютсипа, живущего с ним вместе в одной стране, и знает все, что я хочу сказать ему от первого слова до последнего.

ПИЕТРИ

Ал. Грин

Большой двор давно покрылся жидкой грязью от крупного весеннего дождя. А дождь все лил в эту грязь, делая ее еще жиже и еще глубже. Ему не было никакого дела до того, что посреди этой грязи один маленький человек бил другого маленького человека.

И ветру тоже не было до этого никакого дела. Он помогал дождю разбрызгивать водяную пыль. Ветер совсем осатанел в этот вечер. Он метался между постройками, расшвыривая по двору все, что попадалось под его пьяные руки. Он хватал с крыш пучки соломы, мокрые дранки, подбрасывал их высоко вверх и хлестал клочьями дождя на все четыре стороны.

Но два человека посреди двора не обращали на него внимания. Они были слишком заняты друг другом. Один человек бил кулаком по мокрому лицу другого человека, державшего в руках охапку дров. А тот выл от боли, склоняя лицо к дровам и пачкая их кровью, капавшей из носа.

Ему, видимо, не хотелось выпускать дрова из рук. Но когда он получил удар ногой в живот, он выпустил дрова в жидкую грязь и сам скорчился пополам.

Это был жестокий удар. Он вызвал угрожающий звук из горла человека, получившего этот удар. Человек даже шагнул вперед, искривив окровавленное лицо от боли и гнева. Он так решительно шагнул вперед, что другой человек оторопел сначала и отпрыгнул назад, но потом схватил полено и крикнул: „Убью!"

Он очень громко и пронзительно крикнул это слово. И он был так страшен в своей ярости, которую не могли погасить холодные потоки дождя, и так решительно замахнулся поленом, что человек, выронивший дрова, испугался и побежал прочь.

Он побежал через весь двор, скользя в жидкой грязи на своих коротких кривых ногах. А за ним гнался человек с поленом.

Они одновременно вбежали в маленькое строение, стоявшее в конце двора.

Внутри этого строения вечерние сумерки уже скопились настолько густо, что даже огонь, разведенный под большим котлом, вмазанным в печь, не мог разогнать эти сумерки.

Но все же свинья с поросятами из своего жилища видела сквозь щель в стене, как при розовых отблесках огня один маленький человек подымал над головой кусок дерева и опускал его очень часто на голову

другого маленького человека. А тот корчился, зарываясь головой в пустые картофельные мешки, и издавал звуки, показавшиеся очень родственными доброй свинье и тронувшие глубоко ее свинячье сердце. Она вопросительно хрюкнула и ткнула рылом в дверцу, через которую обычно выливалась к ней пища.

Тогда один человек вышел из маленького закопченного строения, потрясая кулаками и извлекая из горла визгливые и угрожающие звуки.

А другой полежал еще немного, прижимая руки к голове, потом встал, покачнулся в сторону огня, поддал ногой догоравшие под котлом поленья и тоже медленно вышел на двор.

Через минуты три он вернулся и бросил охапку грязных, мокрых дров на земляной пол у двери. Выбрав несколько поленьев, он сунул их под котел и сел перед огнем на пустые картофельные мешки.

Пламя окрасило его тусклые глаза в розовый цвет. Человек плакал, и прозрачные слезы блестели при огне. А из горла его вырвался ряд звуков, выражавших горькую обиду. Такие звуки можно услышать у некормленного пса, мокнувшего под крыльцом. За стеной еще раз хрюкнула свинья, ожидавшая ужина. По шуму и запаху, доносившемуся из кухни, она вообразила, что пришло время услышать скрип раскрывающейся дверцы и шлепанье жидкой пищи в корыто. Но ни скрипа, ни шлепанья не последовало. Она еще раз хрюкнула с недоумением. Она знала, что пришло время пополнить запасы соков, высосанных из нее поросятами. Но делать нечего. Человек, сидевший у огня, оставался глух к ее намекам. Пришлось опять зарыться в солому. Она сделала это осторожно, чтобы не раздавить розовые, визжащие комочки, бегавшие у ее сосцов. И на всякий случай она выставила из соломы одно ухо, дабы не прозевать приятного скрипа дверцы.

Человек вслух изливал свою горечь, ковыряя ногою в горящих поленьях. Он размазывал мокрым рукавом кровь по мокрому лицу и силился понять что-то очень важное, пристально глядя на огонь.

Но огонь только бросал отблески на черные стены и отражался в тусклых глазах, не давая никаких объяснений. Дождь барабанил по дранкам крыши, и выл ветер над потолком.

В большом котле что-то закипало. Оттуда в щель деревянной крышки забили струйки пара. В кухне запахло вареным картофелем и капустой.

А он смотрел на огонь и силился понять что-то очень важное.

Но он, наверно, ничего не мог понять.

Никто не говорил о Пиетри Ойнас, что он плохой парень. Нельзя было этого про него сказать. Все знали, что у него была очень добрая душа и тихий нрав.

Только иногда он вел себя как-то странно. Он умолкал вдруг среди разговора и смотрел прямо перед собой своим тусклым взглядом, хлопая белыми ресницами. При этом руки его слегка поднимались и протягивались вперед, шевеля пальцами, словно бы они хотели схватить что-то, стиснуть, может быть смять, стереть в порошок. Потом он падал вперед лицом, не сгибая колен, и начинал бить ногами и головой обо что попало. Губы его покрывались пеной и издавали хриплые звуки, похожие на икоту. А тело перелетало с одного места на дру-

гое с такой легкостью, словно две большие невидимые руки перекладывали его с места на место, ударяя об землю то боком, то лицом, то коленями.

Иногда эти руки сгибали его в дугу и ставили на голову и ноги, наподобие арки; потом опять бросали об землю.

Люди отодвигались от Пиетри в этот момент, потому что пальцы его беспрерывно шевелились, хватая воздух. Это были толстые, крючковатые пальцы, насаженные на широкие кисти. Пальцы сжимали очень сильно. Они ломали суставы, давили кости, вырывали клочья кожи с мясом.

Даже сам старый Уйт не мог разжать эти пальцы. Он мог бы переломить у Пиетри хребет одним ударом своей руки, но он не мог разжать эти пальцы. Люди отодвигались от Пиетри в этот момент и смотрели на него с опасением и жалостью. А потом он опять затихал, вставал на дрожащие ноги и шел прямо, не разбирая дороги.

Если его не останавливали в этот момент, то он уходил далеко в лес или болото и потом долго разыскивал дорогу домой.

Его нужно было останавливать в этот момент. После припадка он был слаб, как ребенок, и не был опасен.

И никогда припадок не случался с ним два раза подряд.

Люди жалели его и удивлялись, почему о нем никто не заботится, почему никто не старается его вылечить? Неужели парень так и пропадет? Разве он не работает, как лошадь? Почему он получает побои, вместо благодарности? Этого никто не мог понять.

Пиетри тоже напрасно силился понять это, глядя на огонь. Огонь разгорался, озаряя заплаканное, вымазанное в крови лицо, но ответа не давал.

Пиетри не знал своей фамилии. Старый Ойнас говорил, что у него никогда не было фамилии. Старый Ойнас добавлял к этому, что он и имя-то получил по ошибке, что такому ублюдку не следовало давать человеческое имя.

Но когда представитель рабочкома, обходя хутора, заглянул к старому Ойнасу и спросил его о Пиетри, то Ойнас ответил, что Пиетри—его приемный сын и что фамилия Пиетри—тоже Ойнас. Вот тут нужно было что-то хорошенько понять и решить. Но Пиетри ничего не мог понять и решить. Он очень мало знал о своем детстве.

Он не знал, что в молодости у высокой жены маленького Ойнаса организм никак не хотел проявить признаков материнства, что это очень удручало обоих, и они взяли из приюта в Нарве годовалого ребенка по имени Пиетри.

Жизнь Ойнаса сложилась нелегко. Он так же, как и Уйт, приехал из Эстонии в царскую Россию и так же откупил у жителей русского запада дешевые участки лесов и болот.

Но сильный Уйт один без чужой помощи натаскал бревна и сложил избу, а он не мог этого сделать. Уйт был очень большой, и у него было много жесткого мяса на широких костях. Он мог один поставить бревно стоймя, а потом втащить его на самый высокий сруб. А Юхан Ойнас не мог этого сделать.

Правда, и его мясо было жестко, как дерево, и могло сокращаться в работе целые сутки, не отдыхая, но оно весило вместе с ко-

ротким скелетом всего четыре пуда. Поэтому Юхан Ойнас не мог один таскать огромные бревна.

Ему помогали это делать русские плотники. Они два года стучали на его земле топорами и звенели пилами. Кругом шумели высокие ели, и выползал туман из болота.

Он отгородился от всего мира заборами и частоколами, и никто не мешал ему надрываться. Жена надрывалась вместе с ним. Леса и болота бедны жирными соками, и нужно вложить в них много горячего пота и проклятий, чтобы получить в обмен зерно, молоко и свиное сало.

Жена каждую неделю стирала рубахи, похожие на куски еловой коры от засохшего пота и грязи.

На маленького Пиетри оба смотрели с надеждой и называли его милым дорогим сыночком. Но маленький Пиетри молчал почти до четырех лет, а потом заговорил так несуразно, что Ойнас треснул его со злости по голове.

Но это не помогло. Пиетри продолжал говорить все так же несуразно или же молчал целыми днями. Обманутый в надеждах, Ойнас терял терпение. Его кулак стал чаще прикасаться к неразумной голове приемного сына. Но маленький Пиетри не проявлял признаков человека.

Только к десяти годам он стал понимать, что дом есть дом, что корова есть корова и хлеб есть хлеб.

Тогда Ойнас начал вколачивать в него понятие, что работа есть работа. Он стал брать его в поле, и в лес, и в болото.

И к стирке жены Ойнаса прибавилась еще одна заскорузлая от пота рубашка.

Ойнас начал надеяться. В речи Пиетри появились проблески разума, и в работе он показывал чортову силу.

Но однажды он упал на пол и начал дрыгать ногами, выпуская пену изо рта.

И Ойнас перестал надеяться.

Он стал бить его без всякого сожаления и без всякой причины в любое время дня и ночи: и в будни и в праздники. Он мстил ему за потерянные надежды.

И когда неожиданно у печальной супруги Ойнаса родился настоящий сын, то Пиетри перестал быть человеком, перестал быть членом семьи, перестал жить на свете. Он только работал и ел и падал на землю там, где его бросали две большие невидимые руки. Он бился на пашне, глотая в холодной борозде глинистую землю, бился среди ярких цветов и жирной травы заливных лугов, бился в болоте, зарывая горячее лицо в прохладу влажного мха. Счастливый Ойнас больше не злился на него и бил только по привычке—лениво и нехотя.

Но когда Пиетри однажды огрызнулся и хотел дать сдачи, Ойнас весь как-то подтянулся, по-новому взглянул на Пиетри и молча и жестоко избил его до потери сознания.

После этого избиение стало еще более частым. Юхан Ойнас бил Пиетри, глядя ему прямо в глаза, и на малейшее враждебное движение отвечал целой лавиной ударов, угроз и проклятий.

В тусклых глазах Пиетри Ойнас видел смерть для себя, и он, дрожа от страха, пытался отогнать эту смерть. Он знал, какая сила

таится в руках у Пиетри. Он даже боялся представить, что может произойти, если эти страшные руки вдруг выйдут из повиновения и потянутся к его горлу... Нет! Его нужно бить и бить, чтобы он не думал, что на Ойнаса можно безнаказанно замахиваться. И где только уродился такой зверь? Хоть бы его в солдаты взяли! Но никто не хотел взять его в солдаты. Даже в гражданскую войну от него отказались и белые и красные. И вот он жил и работал на старого Ойнаса, на его жену, на его любимого сына: работал, как лошадь, и наводил тайный страх на Ойнаса.

...А Пиетри не знал этого и напрасно смотрел вопрошающим взглядом на разгоревшийся огонь. Разве огонь мог дать ответ на что-нибудь? Он мог только бросать мягкие отблески на черные стены и отражаться в каплях слез. Правда, он мог еще натолкнуться на воспоминания. Пиетри вспомнил, например, как в прошлую осень он после очередного припадка обнаружил себя на чужом гумне. Как он попал туда, он, конечно, не помнил. Гумно принадлежало Отти Карьямаа. В риге перед ярким огнем сидел мальчик. Он направлял огонь и морщился от дыма. Увидев Пиетри, он вышел из риги и вопросительно и с опаской взглянул на него. Пиетри смущенно улыбнулся.

— Я...я... прямо не знаю, как это я сегодня...—сказал он по-русски,—я возил снопы и... вот заболел... я упал около нижней ляды, а зашел вот куда... не знаю—лошадь как...

— А-а,—сказал облегченно мальчик.—Ну, ничего. Лошадь не уйдет. Ты присядь, отдохни. У тебя ноги дрожат.

Пиетри сел на молотильный каток, смущенно хлопая белыми ресницами. Мальчик молчал.

Он был какой-то странный, этот мальчик. Он всегда молчал. Кто знает, откуда он забрел сюда к братьям Карьямаа. Его язык отличался от языка других русских, живших в деревнях. Может быть, поэтому он так мало говорил? Кто его знает. Но сегодня он почему-то все же разговорился.

— Это что у тебя, кровь?—спросил мальчик, указывая на свежую ссадину у левого уха Пиетри.

— Да...—ответил Пиетри, потрогав ссадину,—и вот тут тоже... и здесь... Это все батька,—добавил он.

— Да... плохо тебе живется.

Они помолчали немного.

— Хуже, чем работнику,—продолжал мальчик.—Работник может плюнуть и уйти.

— Да...—сказал Пиетри.

— Ты бы заключил договор и работал, как нанятый...

— А... он меня тогда совсем... выгонит...

— Да. Совсем плохо твое дело.

Они вновь помолчали.

— Так... значит я... что же... совсем пропадать... и у меня ведь никого... один совсем. Ни товарища, никого...—В голосе Пиетри были слезы.

— Тебе и не нужно никого. Ты только сам себе можешь помочь. Больше никто. Ты в три раза сильнее его. Не давай себя бить—вот и все.

Мальчик замолчал и ушел в ригу.

Пиетри хорошо запомнил его слова. Он даже пытался следовать его совету, но что получалось? Пиетри осторожно пощупал окровавленную голову. Лучше и не пытаться следовать этому совету, иначе злой старик убьет совсем.

Пиетри вытер слезы и кровь на лице и встал. Он снял с котла деревянную крышку и начал размешивать палкой картофель и капусту.

Низенькая дверь скрипнула, и в кухню вошла вся мокрая Сальми Уйт. Она сказала:

— К вам не забегала наша телка? Вот уже целый час ищу и нигде не могу найти.

— Нет... не забегала...—сказал Пиетри.

— Прямо беда! — сказала Сальми. — Не знаю, где и искать. Я вся замерзла и намокла.

Она подошла к печурке и выставила перед огнем толстые босые ноги.

— Ноги озябли,—сказала она и улыбнулась ему, придерживая руками юбку на уровне колен.

Большой котел клокотал, и Пиетри молча тыкал в него палкой, искоса поглядывая на ее босые ноги, розовые от огня.

Сальми было 25 лет, а ему 22 года. Она спросила, присев на корточки и поправляя огонь:

— Ты скоро женишься, Пиетри?

Он растерянно заморгал белесыми ресницами и, заикаясь, ответил:

— Кто? Я? А-а... а какая же... а кто же за меня пойдет?

— Ну, вот еще: „кто пойдет“,—передразнила она.—Какую выберешь—та и пойдет.

Он опять растерянно улыбнулся и, не зная, что ответить, только ожесточеннее ткнул палкой в кипящее варево.

Ей было 25 лет, а ему 22 года. Она была здоровая, рослая девка с пышными грудями, над которыми едва сходилась кофточка.

А он был невысокий, кряжистый и крепкий, как тот чугунный котел, в котором он варил свиной ужин.

Она помолчала немного. Потом сказала:

— Прибавь дров, а то огонь совсем погаснет.

Он прибавил дров и при этом нечаянно толкнул одно из ее оголенных колен. А может быть, и колено толкнуло его. Это трудно было бы решить. Но Сальма ойкнула и, потерев ушибленное колено, сказала:

— Фу ты, чорт, как ты толкаешься!—и ударила его ладонью по спине.

Он, растерянно улыбаясь, схватил ее за голую ногу. И рука и нога были горячи от близости огня.

Ей было 25 лет. Ей давно было пора выйти замуж, но она как-то не успела выйти замуж. Она очень много работала, и ей некогда было выходить замуж. А самый близкий сосед был маленький, крикливый Ойнас.

От прикосновения горячей руки она задрожала слегка и, смеясь, потянула Пиетри за лохматые белые волосы.

Ему было 22 года. Он никогда не думал о том, чтобы жениться.

Да и кто пойдет за него? А самым ближним соседом был молчаливый старый Уйт.

Пиетри еще растеряннее улыбнулся и схватил ее за вторую горячую, толстую ногу. И вышло так, что он повалил ее (а может быть, и сама она упала) на пустые картофельные мешки. Она упала и забыла поправить задравшееся платье. А он забыл отпустить ее теплые голые ноги...

Картофель с капустой клокотали, бурлили и пенились в большом котле, прилипая друг к другу.

Свинья в своей каморке определенно решила, что пища уже приближается к ней. Она встала с соломы и, отогнав от сосцов поросят, заглянула в щель. Но то, что она там увидела, не было похоже на приближение пищи, а скорее показывало, что ужин придется ждать еще бесконечно долго. Она тоскливо хрюкнула и, ткнув раза два рылом в бесчувственную дверцу, опять полезла в свою солому.

Когда Сальми Уйт уходила, она сказала, что на-днях переносит свою кровать в маленький амбарчик у сада и будет спать там все лето; там не жарко...

Она ушла, и Пиетри вышел вслед за ней в темноту весеннего вечера.

Была очень хорошая погода!

Землю всю кругом давно развезло грязью, а веселый прохладный дождь все лил в эту грязь, делая ее еще жиже и еще глубже. И ветер, сумасшедший ветер, помогал ему хлестать крупными каплями на все четыре стороны. Он просто бесился от какой-то радости, этот ветер, и то забивал грудь прохладным плотным воздухом, то хлестал мокрыми клочьями по разгоряченному лицу. Все кругом выло, трещало и звенело от этой буйной, веселой пляски ветра и дождя. Из большого сада слышалось шуршание деревьев, что-то лукаво шептавших друг другу. А вдали сплошным веселым гулом заливался лес, укрывшийся в мрак. Никогда раньше Пиетри не видал такой славной погоды!

Целый месяц после этого Пиетри жил в каком-то тумане, не различая дня и ночи. Дверь маленького амбарчика у большого сада старого Уйта открывалась для него каждую ночь, и жизнь походила на сплошную буйную пляску пьяного ветра и пьяного дождя.

А потом случилось то, что, конечно, должно было случиться и чего так боялся Пиетри.

Это случилось в такой день, когда погода была совсем скверная. Вместо мягких, лохматых туч, ослепляла зеркальная голубизна неба; вместо веселого ветра, царила такая унылая тишина, что хотелось бросить все и завалиться спать на мягкие кочки.

Назойливое солнце грело так, словно хотело заглянуть в самую душу земли. Даже в том лесу, где работал Пиетри, яркие лучи пролезли в самую гущу молчаливых деревьев, заставляя блестеть и трепетать их отдельные ветви, в то время как остальные еще глубже уходили в темнозеленый мрак. Да зачем-то еще драли свои глотки разные птицы там, наверху, купаясь в самой гуще ослепительного моря лучей. Откуда-то пахло муравьями, медом и смолой. Где-то вверху гудели пчелы. Это от них пахло медом. Наверно, дикий улей в дупле. Но

запах меда был очень слаб. Его легко вытесняли запахи прелого мха и ранних водянистых грибов.

Лес полон запахами. Все они переплетаются вместе. Но Пиетри бессознательно различал каждый запах отдельно. Каждый ствол, в который он вонзал топор, имел свой запах; каждый куст ольхи и вереска, вырванный им с корнем, имел свой отчетливый запах. Все расчищенное им место, все кучки сучьев и дров, наваленные им за день, переплетались самыми причудливыми запахами. Но Пиетри различал каждый запах отдельно, сам не сознавая этого.

Только один запах как-то не поддался его бессознательному определению и вызвал в нем смутное беспокойство. Это был какой-то новый, очень близко знакомый, неповторимый запах, и он становился все сильнее и отчетливее!

Пиетри бессознательно расширял ноздри, чувствуя странное возбуждение. Но топор его не переставал кланяться, хотя странное возбуждение все росло и росло.

Когда же неведомый запах стал настолько сильным, что затмил собой все остальные, Пиетри внезапно оглянулся и очутился лицом к лицу с источником запаха.

— А я хотела подойти незаметно и напугать тебя,—засмеялась Сальми Уйт, кидая на землю две ременные уздечки.

Топор Пиетри глубоко воткнулся в ствол дерева и долго сиротливо торчал так.

Лесная зелень звенела от птичьего стона, и весенние пьяные запахи плотно сплетались в самые причудливые узоры.

Вот в этот день и случилось то, чего так боялся Пиетри. Он никак не хотел, чтобы она это видела. Пусть бы это случалось с ним десять раз в день, только бы не при ней.

Они уже попрощались, и Сальми уже уходила, когда он почувствовал приближение *этого*. Он хотел скорей уйти или просто бежать, но, как и всегда в этих случаях, не успел сделать ничего.

Безжалостная холодная рука скользнула вдоль спины вверх, проникла в череп, стиснула мозги тупой болью и метнула его куда-то в черное и страшное. Пиетри никогда не помнил, что происходило с ним после этого стремительного полета в бездонный мрак.

Сальми Уйт увидела. Она уже отошла шагов на десять, когда ей показалось, что Пиетри окликнул ее. Она оглянулась и увидела, что он как-то странно взмахивает руками, словно стараясь удержать равновесие, и при этом бормочет что-то невнятное.

— Ты чего?—спросила она и шагнула к нему. Он не ответил ей, весело приплясывая и кивая головой.

— Ну, что?—спросила она и шагнула еще ближе.

Его глаза, тусклые, как лужи, смотрели куда-то мимо нее, а большой рот, бормоча несвязное, испускал слюну на жиденькие светлые волосики подбородка.

Она осторожно попятилась назад.

Потом руки его согнулись в локтях, пальцы скрючились, и он, не сгибаясь, упал вперед лицом и забился на земле, икая, захлебываясь розовой пеной и вырывая с корнями мох, черничник и все, что попадалось под скрюченные пальцы.

Она еще немного отодвинулась назад.

Она слыхала, что в такие моменты нужно держаться подальше от его рук. Эти руки очень робко и нежно обнимали ее, но люди рассказывали о них страшное. Говорили, что в прошлом году на ярмарке в Демидовке он упал у кучи бревен, и один добрый белорусс хотел оттащить его от бревен, чтобы он хоть голову себе не разбил. Но Пиетри сломал доброму белоруссу руку и отбросил его ногой на целую сажень и все-таки разбил себе всю голову о бревна.

Говорили, что однажды во время рубки капусты он упал на груду очистков. В руку ему попалась кочерыжка, и он превратил ее в кашу своими страшными пальцами.

Она еще немного отодвинулась назад. Она сжимала ладонями свои круглые, загорелые щеки и готова была зарыдать от страха и жалости, глядя на то, что кривлялось и хрюкало у ее ног. Конечно, она знала, что это с ним случается, но она никогда не видела этого и не думала, что это так страшно. Ведь он пять минут назад так робко и нежно обнимал ее и так смешно тянулся к ее губам, а теперь он разбрасывает во все стороны клочья земли и испускает хриплые звуки, и пена бьет изо рта. Ее глаза и нос наполнились влагой от жалости.

Потом она заметила, что он стал затихать. Он уже не издавал икающих звуков, и руки его уже не так скребли землю.

Он даже сделал попытку встать. Первый раз это ему не удалось, и лицо его, облепленное пеной и землей, изобразило страдание.

Наконец, он встал и, глядя тусклыми, невидящими глазами куда-то вдаль, отправился прямо в болото. Его мокрые волосы цвета глины торчали клочьями. Рубашка лопнула на плече, и одна штанина вылезла из сапога.

Сальми слыхала, что в этот момент его нужно остановить, иначе он забредет бог знает куда. Она слыхала, что в такие минуты он был слабее ребенка, и что никогда припадок не повторялся два раза подряд.

Она окликнула, догнала его и взяла за руку.

— Пиетри,—сказала она ласково,—не ходи туда. Не надо. Ты сядь. Посиди. Вот так. Отдохни немного.

Он покорно опустился на пень, моргая белыми ресницами и дергая, как лошадь, перепачканной в земле нижней губой.

Когда Пиетри снова увидел пронизанный жаркими лучами лес и услышал стон птичьих голосов, Сальми вблизи уже не было.

И с этого дня дверь маленького амбарчика у большого сада старого Уйта больше не открывалась для него.

Напрасно он бродил вокруг, расширяя ноздри. Напрасно он поджидал ее. Она всегда чувствовала его близость и не появлялась.

А лето проходило сухое и знойное. И не было у лета ни отдельных дней, ни отдельных ночей. Была непрерывная ломающая тело работа, были жестокие побои, были прыжки в бездонный холодный мрак и режущая душу нескончаемая тоска.

В середине осени он встретил однажды в лесу младшего сына Иоганеса Карьямаа—самого дальнего из братьев Карьямаа. Мальчик гнал домой коров. Пиетри спросил его:

— Ты никак домой... А... ведь рано еще... или дождь...

— Я дождя не боюсь,—ответил мальчик.—Я хочу на свадьбу успеть.

— На свадьбу? А...где свадьба?..

— А ты разве не знаешь? У Яна Уйт. Его Сальми выходит за нашего Роберта.

— За Робер...

Пиетри больше не рубил частокола в этот день. Он пошел домой, забыв топор в лесу. Он, может быть, и не думал итти домой, но, выйдя из леса, он попал в свой выгон, а выгон привел его прямо домой.

На дворе Юхан Ойнас торопливо развязывал воз обмолоченных снопов, привезенных с гумна. Он хотел убрать их в сарай раньше, чем пойдет дождь. А дождь уже капал.

— Ну, что встал? Помогай!—крикнул Ойнас.

— Я пойду на свадьбу...—сказал Пиетри.

— Куда?

— На свадьбу...

— Я тебе дам свадьбу! Таскай снопы, говорят тебе!

— Я пойду на свадьбу,—сказал Пиетри.

— Да ты что? Совсем с ума спятил? Делай, что тебе говорят, живо!—и Ойнас ткнул его кулаком в бок.

— Я на свадьбу пойду,—сказал Пиетри.

— Ах, на свадьбу! Так на, вот тебе свадьбу! На! На! Получай! Еще хочешь? На! На!

— Я на свадьбу пойду!—взревел Пиетри сквозь слезы и толкнул Ойнаса так, что тот сел на землю.

Ойнас молчал целую минуту, сидя на земле.

— Ах, так... Отца?.. Хорошо.

Ойнас медленно поднялся и, не спуская с Пиетри глаз, попятился к плетню. Он выдернул самую толстую палку и двинулся на Пиетри.

— Я тебя сейчас убью,—сказал он очень спокойно и замахнулся палкой.

— Не смей бить!—заревел Пиетри, и лошадь вздрогнула от этого крика и рванула воз, рассыпая снопы.

Пиетри прыгнул вперед и крепко схватил Ойнаса за грудь. Он тряхнул его вместе с палкой сначала в одну сторону, потом в другую и, наконец, бросил его от себя прочь. Старый плетень хрустнул от стремительного удара четырехпудового тела и повалился вместе с ним на грядки огорода.

А Пиетри пошел прямо через поле, не замечая кустов, не замечая тропинок, не замечая ручья, за которым начиналась земля старого Уйта.

Он просто плыл в каком-то тумане, не чувствуя своих ног. Вечерний сумрак двигался ему навстречу. Дождь все сильнее мочил его горячие щеки, и ветер проникал через открытый ворот в полотняную рубаху и вздувал ее на спине, как подушку.

Они напоминали что-то очень хорошее и сильное, эти дождь и ветер. У Пиетри расширялись ноздри и наливались горячей кровью жилы на руках. Грудь его распирало гневом и тоской.

Ведь если ее не будет, то что у него останется? Ну, что у него останется в жизни? Ничего не останется.

Пиетри весь нагнулся вперед, стремительно приближаясь к дому старого Уйта.

Когда он вошел внутрь, там уже горели керосиновые лампы. Первая комната была полна народа и табачного дыма. Тут перемешались вместе русские и эстонцы, парни и девушки, мужчины и дети, пьяные и трезвые, званные и незванные.

За занавеской у плиты и печки двигались женщины. Оттуда пахло вареным мясом, жареным луком, маслом и капустой. А слева, в другой комнате, за столом пировала близкая родня старого Уйта и Иоганеса Карьямаа. В той комнате тоже был посторонний народ, и Пиетри тихо прошел туда и сел в темном углу на лавку. Он искал глазами ее. Но за столом ее не было.

Ей некогда было сидеть за столом. Она уже насиделась вчера и наплакалась вдоволь со своими подругами. А сегодня она вместе с другими женщинами помогала больной матери у плиты и печки.

Вот она прошла к столу с двумя чашками студня, шурша новым голубым платьем, и у Пиетри сразу стало легче на душе. Все-таки она еще здесь. Сегодня она еще здесь. Ну, и хорошо...

Она вышла в кухню, не заметив Пиетри. А он тяжело и упорно думал о чем-то, сидя в своем темном углу. Его лоб стянулся в один пучок мелких морщин. Клочья белых волос нависали над ним так низко, что задевали ресницы, усиленно моргавшие над тусклыми глазами. Эта комната тоже была полна табачного дыма, винного запаха и человеческой испарины. По этой комнате тоже все время двигались люди. Но Пиетри видел только голубое шуршащее платье, распираемое широкими бедрами, и больше ничего. Его не затрудняло то, что бедра эти беспрерывно двигались и временами совсем исчезали в другой комнате. Его не смущало и то, что здесь было много других женских потных бедер, обтянутых платьями других цветов, и что эти другие бедра также двигались взад и вперед и порой совсем заслоняли собой голубое платье. Его не смущало это. Он знал, что знакомые ему, разгоряченные бедра еще не раз проскользнут мимо него, приятно шурша голубизной нового платья и обдавая его на-ходу всеми запахами свадебного пира.

Он очень много и упорно думал в этот осенний вечер.

Сегодня вот он еще видит эти бедра, даже чувствует их волнующий запах, а завтра их здесь уже не будет. И не только завтра, но и послезавтра и через неделю, через год, через пять лет—совсем никогда больше он их близко не увидит, не почувствует их мягкой теплоты. У него даже останавливалось дыхание при этой мысли. С завтрашнего дня эти бедра будет лапать вон тот пьяный длинный парень, который только что нечаянно смахнул на пол тарелку с пирогами и сейчас смеется так, что целый ком жеваного мяса готов вывалиться изо рта. А какое он имеет право брать то, что принадлежит ему—Пиетри? Разве не сама она пришла к нему в тот весенний вечер? Почему же теперь он должен остаться в стороне? Или он хуже других людей?

Пиетри весь подался вперед от напряженных мыслей. Никогда раньше он так много не думал, как в этот вечер.

Конечно, он красив, этот Роберт Карьямаа, что и говорить. Он большой и гладкий от хорошей жизни. У него розовые щеки и пухлые губы, которые сложены беззаботно, как у ребенка. Его всегда любили девки не только за то, что он высок и упитан, но и за то, что кар-

маны его всегда полны конфетами. Еще бы ему не бросаться конфетами! В лавке его отца были не только конфеты.

У Пиетри глаза становились ярче, когда он смотрел так на жениха и на его длинную, гладкую шею, похожую на ствол молодой березы.

Но вот его увидела Сальми Уйт. Она остановилась нерешительно и сначала не знала, что ей делать: подойти к нему или итти дальше в кухню.

Она сказала:—Здравствуй, Пиетри.

И он поспешно ответил:—Здравствуй...

Он почти встал на ноги—так сильно он подался вперед. Он ждал, что она еще добавит что-нибудь. Может быть, она скажет, что это не ее свадьба, что она и не думает вовсе выходить замуж и что она с нетерпением ждет новой весны, когда можно будет опять открывать для него двери маленького амбарчика. Но она ничего не сказала.

Она помялась немного и вернулась к столу. Там она просунула свою белокурую голову между своим отцом и женихом и шепнула им что-то на ухо.

Жених размашисто оглянулся.

— Который?—крикнул он.—Вот этот? Эй ты! Пиетри! Иди сюда! Давай, садись! Раз хороший парень и... сосед, ну, и садись... и гуляй! Вот сюда садись.

Жених указал место справа от себя, и Пиетри сел между грузным сырым Иоганесом Карьямаа и его счастливым сыном.

Жених налил ему рюмку самогонки, и Пиетри, застенчиво улыбнувшись, выпил. Жених налил ему еще рюмку и придвинул к нему чашки и тарелки с разной закуской.

Пиетри еще застенчивее улыбнулся и снова выпил.

Потом он начал есть то, что стояло к нему ближе. За едой застенчивость его стала проходить, и мысли потекли по прежнему направлению.

Кругом в табачном дыму качались, жевали и орали разные пьяные лица: бородатые и бритые.

Всем было очень весело. И Пиетри было обидно оттого, что всем было весело. Он опять стал напряженно морщить свой бедный лоб. Он хотел припомнить что-то. Ему нужно было вернуть в голову те мысли, которые начали возникать в ней по дороге сюда. Нужно было вернуть те мысли и прибавить их к тоскливым мыслям, родившимся тут, в этой комнате. И тогда он мог бы решить что-то очень важное, может быть самое важное в его жизни. Но те мысли не возвращались, и Пиетри напрасно учащал взмахи белых ресниц.

Пиетри выпил еще рюмку. Он уже не помнил, которая это была по счету. Перед ним плавал какой-то туман. А жених все подливал и подливал ему и дружески хлопал по спине:

— Ты пей! Как тебя... Пиетри? Ты пей, Пиетри, и ешь! Чего стесняться? Попал на свадьбу, так гуляй!

Он был веселый парень, этот жених. Пиетри смотрел на него сбоку и видел, как он весело смеялся. Он прямо-таки опрокидывался назад от смеха. При этом горло его выгибалось и клокотало, и какой-то шарик двигался вверх и вниз под кожей. А из раскрытого рта торчало то, что он не успел дожевать.

Он все время двигался за столом, этот жених. Уж такой он был неспокойный! Он всех задевал своими длинными руками и ногами. Он уже два раза задел Пиетри локтем по лицу и даже не обратил внимания на это.

Пиетри чуть не завыл от боли, когда большая рука грубо задела его по скуле. На скуле у него была свежая ссадина. На ней совсем недавно запеклась кровь. А теперь ссадина опять раскрылась, выпуская свежую кровь.

Красная струйка потекла по щеке быстро, словно змея, извиваясь между белыми волосиками. Добравшись до подбородка, она немного задержалась в светлом пуху у реденькой бороды, потом закапала на холщевую рубашку. Даже некоторые гости обратили внимание на эту кровь. Они искоса смотрели на Пиетри охмелевшими глазами, сочувственно кивали головой друг другу и вздыхали. Они знали, откуда эта ссадина.

Но Пиетри не заметил их сочувствия. Он еще больше заинтересовался женихом и смотрел на него сбоку. Его глаза были на уровне шеи жениха, и он смотрел на эту шею—такую длинную и здоровую с маленьким бугорочком посредине, который прыгал каждый раз при смехе.

Он, по правде сказать, больше уже ничего и не видел, кроме этой шеи. В комнате было столько табачного дыма, и в голове его было столько жара от выпитого вина, что у него слезились глаза, и он все видел в каком-то тумане. Только жених со своей шеей выступал из этого тумана, потому что он сидел совсем близко слева от Пиетри, возвышаясь над ним.

Он размахивал руками, бил кулаком по столу, опрокидывал чашки с киселем и мясом и кричал, чтобы все пили и ели как можно больше, потому что это он женится, это его свадьба.

Все пили и ели очень много, и говорили, и шумели, и кричали, и пели песни. Они качались за большим столом в табачном дыму, обнимались и говорили каждый про свое и веселились, как умели.

Жених все подливал в пустые рюмки и выпячивал большую грудь. Он подливал также в рюмку Пиетри и хлопал его по спине. Потом поворачивался в другую сторону. Он искал глазами невесту. Но невеста была в другой комнате у плиты и помогала матери готовить новую пищу и варить кофе. Тогда он опять оглядывал бородатые лица за столом и опять кричал что-нибудь громкое просто так, чтобы крикнуть, чтобы слышали его голос.

Он еще раз задел Пиетри по окровавленному лицу и опять не заметил этого.

Потом он повернулся к тестю—старому Уйту, сидевшему слева от него. Он обнимал тестя и нашептывал ему на ухо, что он—тесть—хороший человек, что свадьба прошла хорошо, и он благодарен тестю за это. И пусть он не грустит. Ведь его дочь уходит не куда-нибудь: всего за пять верст. Как-никак она хорошая девка и ему нравится. Правда, она не так уж молода, но ведь и ему 26 лет. В чем же дело? И не навсегда же она уезжает. Будет приезжать, пусть и он—тесть—приезжает к ним. Чего же горевать? Не так ли?

Он много еще говорил тестю, обнимая его. А тесть сидел и мол-

чал. Он был так пьян, что мало понимал. Он только хитро улыбался, поскабливая пальцами в седой щетине подбородка, и многозначительно крякал. Он хотел и глазам придать хитрое, недоверчивое выражение, но глаза ласково туманились, глядя на недоеденный кисель, и то-и-дело закрывались от усталости. Он всегда хотел спать—старый Уйт, мало спавший в молодости.

Жених опять задел Пиетри по больному месту. Пиетри весь задрожал от острой боли, и зубы его несколько раз стукнули друг о друга—такая это была нестерпимая боль! Пиетри даже заплакал, глядя на пустые бутылки. И здесь его обижают!

Все мысли, родившиеся в этой комнате, опять наполнили его голову и вызвали в груди новую волну тоски и обиды.

Через горлышки бутылок он увидел Сальми Уйт. Она с неудовольствием смотрела на его слезы. Он видел по ее лицу, что она недовольна тем, что он здесь сидит за столом и пьет и что лучше бы он не появлялся совсем. Он это хорошо понял по ее сердитому лицу.

И тогда мысли, которые едва начали у него зарождаться по дороге сюда, вдруг ярко всплыли и переплелись с мыслями, вызвавшими тоску и обиду. В его голове замелькали картины долгого, тяжелого труда, бесконечные побои за этот труд, вспыхнули воспоминания о бешеной пляске ветра и дождя, сверкнули яркие лучи злого солнца, всплыли слова молчаливого работника старого Отти Карьямаа о том, что ему никогда никто не поможет, кроме его самого, и мелькнул разъяренный Юхан Ойпас, летящий с искаженным лицом назад, на плетень, и падающий вместе с гнилым плетнем на черные грядки. И вдруг эти мысли сплелись вместе и составили новую дикую мысль в его голове. Эта мысль, подогретая вином, вспыхнула так ярко, что едва не ослепила Пиетри.

Но никто так и не узнал, что это была за мысль. Все видели, как Пиетри встал на своем месте за столом и начал быстро моргать глазами, мыча при этом что-то несвязное.

Руки его протянулись вперед и задрожали над столом. Пальцы правой руки раздвинулись, изобразив что-то вроде клещей. Потом туловище Пиетри круто повернулось влево и стало падать. Правая рука, описав над столом полукруг, тоже стала падать вслед за туловищем. Но на пути ей попалось длинное горло Роберта Карьямаа, и она впилась в это горло чуть пониже подвижного бугорочка и потянула это горло за собой.

Жених упал и опрокинул всю скамейку и всех сидящих на ней. Он изо всей силы рванул руку Пиетри от своего горла, но он не мог оторвать этой руки. И он, задыхаясь, судорожно забился на полу. Все бросились к упавшему, не понимая, в чем дело. Потом все стали кричать, что нужно оттащить больного, иначе он задушит человека. Но даже сам старый Уйт не мог оторвать руки Пиетри от горла жениха. Он мог бы переломить ему хребет одним ударом своей руки, но он никогда не мог разжать его пальцев. И он был пьян сегодня. Он потянул Пиетри вверх изо всех своих пьяных сил. Он приподнял их обоих над полом, но опять бросил на пол. Он не мог оторвать их друг от друга.

Пиетри мычал и хрипел, извиваясь на полу. Его тело легко перелетало с места на место вслед за судорожными рывками длинного Роберта Карьямаа. Но пальцы его не разжимались.

Тяжелый и мрачный Иоганес Карьямаа бил Пиетри ногами по голове, по спине и под ребра.

Он навалился на него всем своим семипудовым телом и придавил к полу. Но было уже поздно.

Его сын смотрел в потолок безразличным взглядом и дразнил там кого-то своим синим языком, просунутым между белыми зубами...

Пиетри стряхнул с себя Иоганеса Карьямаа и встал. Он вытянул вперед напряженные, дрожащие руки и пошел к выходу.

И на этот раз никто не остановил его. На этот раз ему дали такую широкую дорогу, что он не смог бы никого достать своими руками.

Так он прошел между затаившими дыхание людьми до самого выхода.

Он вышел на чужой двор, и дождь и ветер ударили ему в лицо. Он глубоко вздохнул в себя этот дождь и ветер и пошел, не спеша, через чужой сад.

Только в конце сада он остановился.

Он точно призадумался о чем-то, вглядываясь в дождливую осеннюю ночь; потом качнулся вперед и назад и задрожал всем телом. Руки его протянулись вперед и стали ловить воздух и дождь, а из горла вырвались икающие звуки. И, наконец, он упал, не сгибая колен, в заросли старой крапивы и забился там, взрывая землю и бурьян.

Никогда припадок не случался с ним два раза подряд...

ЛАНЖЕРО

Геннадий Гор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Когда Ланжеро был маленьким, мать качала его, мать пела ему песни, похожие на ветер, мать дула ему в уши свои маленькие песни, мать щекотала его.

Но однажды Ланжеро встал: матери не было. Он видел, как соседи несли какого-то человека. Он видел чьи-то ноги. Ему казалось, что это материны ноги, что это несут его мать.

В доме стало пусто. То место было пустое, где спала мать. Возле очага место было пустое. За столом место было пустое, где ела мать. На берегу на камне было пустое место, где пела мать свои песни.

— Где мать?—спрашивал Ланжеро.

— Не знаем, где твоя мать.

Где моя мама?—ходил и спрашивал Ланжеро.

Только один человек ответил ему—Чевгун.

— Нету матери,—сказал Чевгун.—Твою мать унес ветер.

Когда дул ветер оттуда, с моря, с ущелий, большой ветер, при каждом порыве его Ланжеро тянуло на берег к морю, на ветер. Ему казалось, что это мать, что мать дует ему в уши свои маленькие песни.

Прошло несколько дней, и у Ланжеро унесли сестру.

— Это ветер,—сказал Чевгун и отвернулся.

Ланжеро вернулся в дом. В углу было пустое место, где спала сестра. Ланжеро лег на ее место.

Утром Ланжеро проснулся и увидел, что рядом с ним лежит его большой брат.

— Подвинься,—сказал Ланжеро брату.

Но тот не ответил.

Подвинься,—повторил Ланжеро и толкнул брата в бок.

Но брат не двинулся. Рука его лежала на постели Ланжеро. Ланжеро тронул руку, попробовал ее поднять, но рука была тяжелая, холодная, словно рука чужого человека. Ланжеро отодвинул эту руку.

Днем Ланжеро прибежал с берега в дом. Брат лежал на том же месте. Пришли соседи и положили возле брата юколу, кусок вареной нерпы и горшок, в котором была мось, приготовленная из ягод и кетового жира. Но брат не тронул еды. Он лежал на спине. Ноги его были голые. Ланжеро стало жалко его ног, он их закрыл. Отец вытащил изо рта трубку, обтер слюну с чубука и положил трубку возле спящего.

— Зачем спящему мось?—спросил Ланжеро.

Отец ему не ответил.

— Отдай лучше ее мне. Я люблю мось.

Соседи встали, подошли к брату, подняли его и понесли.

— Ветер?—спросил Ланжеро.

— Ветер,—ответил Чевгун и усмехнулся.

Людей уносили и уносили. Каждый день отец куда-то уходил.

Сначала соседи унесли Чевыркайна, он был еще меньше Ланжеро; потом девчонку Аучхук, сестренку Чевыркайна; потом косоглазых детей Чевгуна всех до одного. Как-то они подрались с Ланжеро и отобрали у него лодку-долбленку.

Когда их несли, Ланжеро долго бежал за Чевгуном. Чевгун уносил своих детей вместе с игрушками. Ланжеро думал, что Чевгун вернет ему его лодку.

В холодный день соседи пришли звать Водку, отца Ланжеро, чтобы он помог им нести их мать-старуху.

Скоро унесли и соседей, их несли отец и Чевгун.

— Ветер, Ланжеро,—сказал Чевгун.—Большой ветер.

Когда дошла очередь и до Чевгуна, когда Чевгуна понес на себе отец, останавливаясь и подолгу стоя на одном месте, когда отец вернулся без Чевгуна, Ланжеро заплакал, он понял, что скоро его вместе с отцом унесет большой ветер.

Дома были пусты. В домах гудел ветер, он подымал золу из очагов и носил ее из угла в угол.

Все стояло на своем месте. На стене висели торбаза, шляпа и штаны. Нары были не убраны. На столах стыла пища. В чайниках был чай. Казалось, хозяева вышли и скоро вернутся.

Ланжеро боялся заходить в чужие дома. Между домами было пусто. В том месте, где играли дети, не было никого. Валялся чей-то сломанный лук. На берегу лежали нерпичьи кости, весло и стояли нарты. Это были нарты Чевгуна.

Ночью выли собаки. Им было страшно. Они, должно быть, боялись, чтобы их не унес ветер.

Отец разбудил Ланжеро.

— Одевайся,—сказал он.

Отец уже был в зимней одежде.

В нарты Чевгуна он запряг чьих-то собак. Ланжеро знал, что у отца не было своих собак.

— Чьи это собаки?—спросил Ланжеро.

— Соседей. Я у них занял собак, а нарты у Чевгуна. Увезу тебя и верну им собак, Чевгуну—нарты.

— Зачем соседям собаки? Соседей унес ветер.

Отец промолчал.

Ланжеро в последний раз увидел свой дом на берегу, юколоник и темные пустые дома соседей.

Над маленьким озером, покрытым снегом, над тем озером, у которого летом играл Ланжеро с детьми Чевгуна, светила зимняя луна, похожая на замерзшую рыбу.

Оставшиеся собаки завыли, они просили, чтобы люди их взяли с собой. Но отец не хотел брать чужих собак.

Он увез Ланжеро в стойбище Нань-во, что на берегу Лан-гри́, нерпичьей реки.

Глава вторая

В Нань-во жили старики. Самому старому из них исполнилось сто один год. Звали его Чевгун Старший. У старика был молодой и веселый, словно чужой, глаз. Другой глаз его давно умер.

Недавно Чевгун Старший женился.

— Женская жизнь короче пальца,—жаловался Чевгун Старший.— За мою жизнь у меня умерло восемь жен. Эта девятая.

Когда Водка с сыном своим Ланжеро приехал в Нань-во, он остановил собак у зимника Чевгуна Старшего.

— Привет тебе от младшего брата, Чевгун,—сказал Водка.

Водка сел.

— Брат твой Чевгун умер.

— Жить приехали?

— Жить.

— Живите.

Ланжеро не представлял, что на свете так много детей. Детей в Нань-во никто не уносил. Не нужны они, должно быть, ветру.

Ланжеро рос и играл вместе с этими детьми. Это были толстые веселые дети.

В стойбище приходил доктор—бороться с ветром. Зимой он прибегал на лыжах, летом подымался на лодке вверх по реке на шестах. Собаки, почуяв его, выли.

— Можно ослепнуть,—говорил доктор, входя в дом.—Так у вас грязно.

— Почему нельзя?—соглашались старики.—Можно.

С Ланжеро доктор смеялся, шутил.

— Ветер, говоришь, тебя чуть не унес. Это не ветер, а интервенты. О нефти и рыбе помнили, о людях забыли, о вас, гиляках. Не бойся, сейчас есть кому бороться с „ветром".

Доктора звали Иван Павлович.

Иван Павлович научил женщин стирать белье; засучил рукава и на глазах у всего стойбища выстирал свою рубашку.

Ивана Павловича в стойбище побаивались. Однажды он потребовал от „мамок", чтобы они вскипятили как можно больше воды, и заставил вымыться все стойбище.

Чевгуну Старшему понравилась теплая вода. Он сидел в корыте, плескался как ребенок и, вздрагивая от удовольствия, шлепал себя по ягодицам, приговаривая:

— Эх, вода! Вот это вода! Никогда я еще не знал такую воду.

Его несовершеннолетняя мамка [1] мыла ему замшелую спину, отвислые волосатые уши и сморщенные кривые ножки, ножки новорожденного.

Тело других стариков не доверяло теплой воде, трусило, словно это была не вода, а зверь.

Доктор ходил из зимника в зимник—мыть упорствующих. Он был весь в мыльной пене.

---

[1] Жена.

После мытья он всех поблагодарил, а Чевгуну Старшему не пожалел, снял с себя и подарил новые кальсоны.

На него обиделся Низюн, богатый человек.

— Где это видано,—сказал он,—чтобы человека насильно мыли в теплой воде. Я сорок лет живу. Хочу—моюсь, хочу—не моюсь. Я хозяин своим предметам—своему носу, своим ушам, своей бороде. Не ты! На такое дело жаловаться надо. Где здесь власть?

— Хотя бы и так. Я здесь власть,—сказал доктор.

— Врешь. Ты не власть. Ты только лечишь, шаманишь, беспокоишь народ. Надо бы на тебя пожаловаться.

— Жалуйся.

Низюн пожаловался, съездил—легкий человек.

— Сам просит,—говорил он.—Ну, я и пожаловался, раз просит.

Ездил он на собаках, а вернулся на чем-то большом, вроде оленя, но безрогом, на чем-то тихом.

— Его зовут лошадь,—объяснил Низюн.—Мне сказали: „возьми его, пожалуйста". Власть подарила, потому что я справедливый человек.

Сказав это, Низюн забрался на коня.

— Тах! Тах!—крикнул он на лошадь. Так кричат на собак.

Лошадь мотнула головой и пошла, покачиваясь. У ней были длинные желтые зубы, как у самого Низюна.

Сидя на коне, Низюн был выше всех. Он задушил шесть собак и угостил собачиной стойбище.

— Ызь [1]—сказали ему старики.—Разреши нам выбрать тебя в совет.

— Ладно,—сказал Низюн.—Выбирайте.

Доктор был против. Никто от него этого не ожидал. Выступил против хорошего человека. Это он потому выступил против Низюна, что тот ездил на него жаловаться. Всякому понятно.

Ызь обиделся, он молча сел на коня и грустно покачал головой:

— Тах! Тах! Как это все несправедливо!

Старики шли за ним и уговаривали его вернуться. Но Низюн председательствовать не хотел.

— Сами знаете, семья, да столько собак. Дел сколько,—сказал он.—Ну, да ладно, раз просите.

Человек строгий и находчивый, Ызь оказался председателем, каких мало. Шаману он запретил шаманить.

— Ты враг советского правительства,—сказал он шаману.—Ладно.

— А куда мне итти?—спросил покорно шаман.

— Куда хочешь. Хочешь—в лес иди, хочешь—плыви в море. Я дам тебе свою лодку.

За шамана заступились его родственники. Как-никак шаман был старик. Куда он пойдет? Медведь—и тот задерет, рыба—и та обидит. Пришли родственники шамана к Низюну, принесли ему подарки. Но Низюн знал законы. Подарки он не принял, а родственников шамана прогнал.

---

[1] Хозяин.

Глава третья

В Нань-во на пришельцев смотрели косо.

Старики считали, что Водка поступил нечестно, украл у судьбы своего сына, уехал от смерти на чужих собаках, украл у мертвых нарту и собак.

— Я вернул мертвым их собак,—оправдывался Водка.

Старики качали головами: будь они на месте Водки, они бы сидели дома и ждали.

— Судьбу не обманешь,—сказал Водке Чевгун Старший.—Смерть и здесь тебя найдет. Ты задолжал ей сына. Навлечешь на нас беду. Зря мы тебя пустили.

И словно в оправдание его слов подул сильный ветер. Ветер дул, откуда вставало солнце, с моря и с гор, откуда приехали Водка и сын его Ланжеро.

Ветер вошел в Ланжеро, в рукава, в уши, в нос, в рот. Ланжеро прибежал с полным ртом холодного ветра.

Он хотел выплюнуть ветер, кашлял, но ветер был внутри его. Ланжеро кашлял, но не мог избавиться от ветра.

Доктора не случилось. Ланжеро лежал в углу, полный ветра, и ему казалось, что это мать, что мать дует ему в уши и в рот свои сильные песни, смешанные с дымом, и дым больно щиплет внутри.

Старики ждали судьбы, но судьба задержалась, может, зашла к кому по дороге или сбилась с пути. И, чтобы помочь судьбе, старики сделали вот что: они посадили мальчика в лодку, в сонную руку они дали ему весло и оттолкнули лодку от берега.

Отец больного Водка стоял на берегу. Он смотрел, но, казалось, ничего не видел. Потом он кинулся к лодке. Но его удержали.

— Так лучше,—сказал Тевка.

Тогда отец пошел в дом и взял ружье. Он выстрелил. Его выстрел прогремел, как сто выстрелов. Горы разнесли эхо над морем. Людям казалось, что в них выстрелил Водка.

Водка повернулся и пошел. Он шел строгий, прямой в шуме волн и ветра. Стая птиц пролетела над ним. Она закрыла его от людей. Вернулся он через два года, но время не помирило его со стариками.

На берегу был легкий след зайца. Заяц убежал в траву от людей.

Рухнуло, свалилось в реку огромное и полое дерево, обросшее мхом. Внутри дерева была белка. Она выскочила и смотрела с ужасом, как ее вместе с домом ее—деревом—несло в залив, где плавало стадо нерп.

Была весна, пора рождения птицы и звезд.

Стая птиц показалась. Сквозь стаю птиц светило солнце.

Старики услышали песню. Песня неслась вверх по реке. Вдали показалась лодка. В лодке сидели два человека. Один был большой, его узнали, завыли собаки. Это был доктор. Кто же был другой? Другой был Ланжеро. Легкий, он выскочил на берег.

— Как он вырос,—сказали старики.

Доктор привязал лодку.

— Здравствуй, Ланжеро,—сказали старики.

— Узнали?—спросил доктор хмуро.

— Как же не узнать!

— Темный народ,—сказал Тевка.—За своих ребят испугались. Судьбе хотели помочь. Судьба где-то замешкалась.

— Судьба?—сказал доктор.—Счастье, что я встретил Ланжеро, направлялся к вам. А то бы я тоже судьбе помог. Всех вас под суд бы отдал.

Глава четвертая

Старики вставали поздно. По утрам они любили рассказывать сны. Им снились молодые женщины и собаки. Старики были сильные, страстные люди. Они мечтали о богатой жизни. Богатая жизнь—это собаки, как можно больше собак, как можно больше собачьего мяса.

Убивая зверя, они просили у него прощения. Убивая нерпу, они вырывали у ней глаза, чтобы выбросить их в воду. Убитое животное не должно знать убийцу.

Везде спины, ноги, зубы, глаза и рты. Море живое. Река живая. На спине у горы живут деревья.

Горы, облака, камни, деревья, реки и звери совсем не то, реки не реки, звери не звери. Это боги надели на себя волны и шкуру, вылепили себя, выточили из камня, сузились, вытянулись, подняли вверх ветви, стали деревьями, чтобы скрыть себя от человека и его любопытства.

Гром зимой скрывается в воде. Ветер—это человек. У него изо рта дует.

На небе живут небесные люди. На земных людей они смотрят, как на рыб. Изредка они спускают удочку с крючками, чтобы подцепить какого-нибудь человека.

— А нельзя ли нам сплести такой невод, чтобы поймать небесных людей?—спросил как-то Ланжеро у стариков.

— А зачем тебе небесные люди?

— Хочу на них посмотреть. Вас ловят, а вы молчите!

Когда Ланжеро стал старше, он спросил у стариков, что находится за горами.

— Смотри сюда,—сказал ему Чевгун Старший. И на песке палкой Чевгун нарисовал нерпу.

— На этой нерпе мы живем,—сказал Чевгун.—Она спит, эта нерпа. Кругом море.

— А морю,—спрашивал Ланжеро,—есть ли ему конец?

Старики не знали, что ему ответить.

Ланжеро снились легкие, живые сны. В снах он шел, переходил через горы, переплывал через реки.

Один раз ему приснилось облако белок. Стая белок перескочила через него и исчезла.

В другой раз ему приснилась большая страна, тяжелые горы, широкие реки. Но люди в этой стране были легкие, молодые, словно сделаны были из неба. Куда-то шли. Должно быть, это и были самые верхние люди.

„Люди,—думал Ланжеро,—созданы не для того, чтобы сидеть дома. Они существуют, чтобы лететь с горы на гору, падать и опять вставать, бежать по снегу, прыгать по болоту, все вперед и вперед, никогда не видеть одного и того же, интересоваться, трогать".

Ланжеро понимал дерево, железо и кость.

Он делал нарты. Его нарты едва касались земли, словно были сделаны не из дерева, а из птицы. Лодки его плыли, едва касаясь воды, словно были сделаны не из дерева, а из рыбы.

И все, что он делал, было для того, чтобы итти, ехать, бежать и плыть, чтобы итти и видеть.

Он думал: „Люди не созданы для того, чтобы повторять сделанное, а делать новое, совершенствовать, ломать, отчаиваться и пробовать снова".

Глава пятая

Как-то из города Александровска в Нань-во пришел на лыжах один человек. У него было ружье за плечами, а на глазах стекла—очки. Стекла у него на глазах покрылись льдом, усы примерзли к бороде.

Войдя в зимник, он снял очки и стал разувать ноги. Ноги у него были большие, волосатые. Он протянул их к огню. Борода его начала таять, с усов побежало. Из очага вылетела искра и прожгла ему штаны. Но он не заметил этого.

— Пахнет паленым,—сказал он.

— Это на тебе,—сказал Чевгун Старший,—горят твои штаны.

К гостю подошел Низюн и подал ему руку с откушенным пальцем.

— Пальца одного нету,—пошутил Низюн.—Палец остался у мамки во рту. Мать мне откусила палец, когда я был еще ребенком.

Низь сел рядом с гостем.

— Штаны сжег?—сказал он.—Жаль, что у меня ноги короче. Я бы уступил тебе свои.

В это время вернулся Чевгун. На руке у него висели штаны.

— Надевай мои,—сказал он.—Снимай свои. Моя мамка починит.

Гость обошел стойбище, с каждым поговорил, посмеялся.

— Дверь надо бы прорубить,—сказал он Тевке.—Что ты, заяц или бурундук,—лазать приходится как в нору?

— Правильно, — согласился Тевка. — Как-нибудь летом, в другой раз.

— Нет, не летом, а сейчас. Неловко ведь. Человек ты не старый. К тебе сам Калинин может приехать в гости. Что же, ты его заставишь лезть в дом через эту дыру?

— Правда,—сказал Тевка.—Я человек хороший. Ко мне сам Калинин может приехать в гости.

— Ну-ка, хороший человек, неси-ка-сь топор.

Гость взял топор и отрубил от дома Тевки большую щепку.

— Что ты делаешь?—сказал Тевка.—Ты мне погубишь дом. Где я жить буду?

Но гость еще раз взмахнул топором и отрубил щепку побольше.

Сняв шубу, он бросил ее на снег. Борода его стала мокрой, даже очки и те покрылись потом.

— Борода замерзнет,—сказал Тевка.—Ты бы шел, отдохнул. Без дома меня оставишь.

Гость рассмеялся. Положил руку на Тевкино плечо.

— Крепкий ты человек, спокойный,—сказал он Тевке.—За твое спокойствие тебя надо бить. На топор, руби. Чтобы двери были не уже, чем у Низюна, чтобы окна были. Чтобы в доме хорошо было дышать.

Тевка взял топор.

— Ладно,—сказал он.—Приходи ночевать. Но шубу не забудь. Будет холодно.

— Тепло будет. Я тебе помощников пошлю, чтобы к вечеру была дверь. А ночевать я приду. Спасибо.

Вечером гость велел созвать людей в зимник к Чевгуну.

— И мамок?—спросил Низюн.

— И мамок. Всех молодых и старых.

Речей гость не произносил, а просто разговаривал, как говорят в юрте за едой.

Ланжеро смотрел гостю в глаза. Хорошие у него глаза, зачем только он их застеклил как окна, боялся, чтобы не замерзли, что ли?

— Вот вы люди,—сказал гость,—и в городах в теплых больших домах тоже живут люди. Между вами разница маленькая, этак в десять или больше тысяч лет. Раньше вами и нами, нашей страной правили люди, которые украли у нас счастье, пользовались вашим трудом. Вас они оставили умирать. Вам они оставили собак. Себе они взяли всех животных: коров, лошадей, деревья, дающие большие и вкусные плоды, тысячи разных вещей, которые облегчают и делают приятной жизнь. От вас они брали соболей, белок, кету. Вам взамен они давали болезни. Они боялись, чтобы вы их не нагнали. Они боялись вас учить. Вы знаете, мы давно этих людей выгнали. Сейчас нам с вами нужно подумать о том, как догнать другие народы нашей страны.

Низюн переводил старикам слова гостя.

Ланжеро понимал гостя и без Низюна. Низюн только мешал ему слушать гостя.

Гость сказал:

— Вы, наверное, слышали—в Ногликах открылась большая туземная школа. Нужно послать туда детей.

Низюн перевел.

— Зачем вам дети?—перевел Низюн.—Отдайте детей советскому правительству. Вам жить будет легче.

Ланжеро, услыша эти слова, вскочил.

— Постой!—крикнул он Низюну.—Ты не то говоришь. Совсем не то. Погоди!

Старики зашикали, зашумели, закричали на Ланжеро.

— К порядку!—сказал русский.

Ланжеро покраснел.

— Вроде врет,—сказал он тихо.—Говорит вроде не то. Вроде не туда клонит.

— Кто врет?—перебил его Низюн.—Ошибаться я умею. Врать я не могу. Я человек чистый, как Лангри.

После схода Низюн подошел к Ланжеро.

— Зайди ко мне, парень,—сказал он.

Утром Ланжеро вышел из дома. Было еще рано. Стойбище спало, старики кашляли, ворочаясь. Их кусали вши. Дойдя до зимника Низюна, Ланжеро остановился. Собаки Низюна спали. Одна собака бредила, тихо лаяла во сне, будто жаловалась на хозяина. Ланжеро стало грустно.

Он постучался в дом Низюна. Ызь сидел перед огнем. Лицо его, окутанное дымом, смутное было, словно не наяву, точно он не сидел перед Ланжеро, а снился.

— Парень,—сказал Низюн,—я знаю твое желание. Тебе хочется уйти от нас, посмотреть, как живут другие люди. Ты хочешь убежать от меня, парень.

Ланжеро отвернулся. Он не любил этого человека, не понимал.

— Парень, сядь ближе. Может быть, я твой друг.

Ланжеро отодвинулся. В зимнике было тихо. В углу спали жены Низюна—две хозяйки—толстая и тощая. На собачьем столике стояла еда. Висело ружье. Ызь следил за взглядом Ланжеро.

— Возьми,—сказал он,—это теперь твое ружье.

Ланжеро не взял.

— Парень,—сказал Низюн,—я люблю свой народ, лететь на собаках, ловить рыбу, видеть небо, мять бабу. Я люблю жизнь, парень. Бить зверя и ломать врага—это жизнь. Мне надоело обижать людей. Я прошу тебя, убей меня, парень. Возьми ружье.

Ланжеро прислушался. Выла собака.

— Это моя смерть. Что же ты стоишь, парень, убивай!

Ланжеро отскочил. Перед ним сидел плохой человек с косым взглядом и откушенным пальцем.

— Ударь меня, друг,—сказал этот человек.

Ланжеро ударил.

— Вот как? Бьешь?—удивился Низюн. Глаза его сузились, стали собачьими.

— Бьешь,—прошептал Низюн.

И вдруг вскочил, прыгнул через огонь, распахнул дверь и выскочил на мороз неодетый.

— Старики, на помощь!—закричал он.

Стойбище выбежало.

— Старики! Он метился в меня. Он хотел меня застрелить. Видите кровь? Это моя кровь. Это он меня ударил!

Старики бросились на Ланжеро.

— Назад!—крикнул Низюн.—Не трогать! Пусть он живет. Вот я какой! Отпустите его! Пусть он ест и пусть пьет. Он хочет моря и птиц. Он любит небо и то, что далеко. Дайте ему все, что он хочет. Дайте ему неба. Дайте ему реку. Он хочет девушку. Отдайте ему свою дочь. Он хочет итти. Пусть идет. Дайте ему. Вот я какой! Старики, возьмите моих собак и отдайте ему.

Ланжеро пошел. Отойдя немного, он остановился и крикнул:

— Я вернусь еще, Низюн.

Глава шестая

Ланжеро услышал в тайге песню. Пела женщина. Между Ланжеро и женщиной было болото, сваленные бурей деревья, сланник, ночь.

Песня то была слева, то слышалась справа. Ланжеро шел на песню, как на огонь.

Огонь мелькнул и исчез, не то маленькое окно посреди леса, не то большая звезда среди ветвей. Оттуда слышалась песня. Где-то близко кого-то ждала девушка.

„Может быть, меня“,—подумал Ланжеро.

Ланжеро обрадовался человеку. Месяц он жил без людей среди сланника, птиц и звезд.

Тело его стало словно чужим, руки высохли, казалось, стали длиннее, ноги высохли, он стал легким, шатался, но шаг его стал мелким, трудным, точно не он, Ланжеро, жил, а, вместо него, шел Чевгун Старший.

Хоть бы встретить человека, тронуть его, взять его руку в свою руку, даже если это и лихой человек, пусть даже это Низюн. Хоть бы услышать слово, одно человеческое слово. И вот он услышал песню. Пела девушка. Слова ее пропадали в чаще, в ветвях, в прошлогодней траве.

Ланжеро шел на песню. Девушка—это не только женщина, но и человек, но и жизнь.

Там мигало окно. Это мигала жизнь.

Песни уже не было слышно. Ланжеро остановился. Ему казалось, что сейчас потухнет звезда между ветвей, окно в лесу. Шатаясь, он стоял, держась рукой за молодое дерево.

Песни не было. Может, она почудилась. Ланжеро упал лицом в прошлогоднюю траву. Хотел встать, но не мог.

Он пополз.

Была ночь. Может быть, это уже другая ночь. Он полз, хватаясь за траву, за корни, за ветви сланника, натыкаясь на камни, ударяясь о пни, проваливаясь и вновь подымаясь. В одном месте он задел локтем что-то живое и теплое. Разбуженная куропатка выскочила из травы, ударив его крылом. В другом месте он провалился в ключ, покрытый непрочным льдом.

Казалось, что все его чувства уснули.

Вдруг песня разбудила его. Слов он не понял. Лучше бы совсем не было слов.

Девушка кого-то звала. Ясно, что она его звала.

— Я здесь!—хотел крикнуть Ланжеро.

Ветер поднял сухие листья и наполнил Ланжеро рот.

Когда Ланжеро встал, он увидел дома. Они были рядом—длинные дома. Окна темнели. Но в одном доме не спали, светило большое окно. Ланжеро подумал: сейчас он ее увидит.

Дверь распахнулась: упал свет, в дверях был дым, слышен был смех.

Песня жила в этом доме. Сейчас он откроет дверь и войдет. Но у порога он остановился, словно у него не было сил открыть дверь. Он

стоял на крыльце. Из тайги дул ветер. Пахло мхом, лиственницами и безлюдьем. В окно были видны люди: все до одного парни. Девушки не было видно. Но дом был наполнен песней. Девушка, должно быть, жила в другой половине дома, за стеной.

Ланжеро распахнул дверь и, шатаясь, вошел.

— Люди,—сказал он.

Больше у него не было слов.

Парни встали.

— Гость,—сказал кто-то.—Никак с того света.

— Помолчи ты, Омелькин!

К Ланжеро подошел краснолицый парень.

— Держись за меня,—сказал он.—Вот так.

— Веди его сюда, Воробей.

Парни окружили Ланжеро, подвели его к столу, сняли с него мешок и стали стаскивать обледенелые торбаза. Их руки коснулись его, дотронулись до его спины, до его плеч, это были грубые, ласковые руки. Но Ланжеро смотрел мимо них, оглядывался, словно кого-то искал. Песня наполняла комнату, голос девушки был здесь, но девушки здесь не было, ни одной женщины, даже старухи.

— Здесь кто-то есть,—сказал Ланжеро.

Парни на него посмотрели.

— Что-то ее не видать.

Парни его сначала не поняли.

— Где она?—спросил Ланжеро.—Песня ее здесь.

Парни расхохотались.

Тот, которого звали Омелькиным, принес вещь, вроде ящика. В ящике жил голос. И Ланжеро понял, что девушки здесь нет, может, даже она умерла, что здесь только один голос, песня, отделенная от девушки, что это всего-на-всего дерево и еще что-то, просто-напросто—вещь.

Отчаянье вдруг вернулось к нему, будто здесь не было людей, точно он был один среди звезд, и он отодвинул от себя вещь и заплакал, плакал он тихо, и вместе с отчаяньем он чувствовал и радость,—он жив, рядом люди, их много, и девушку, хозяйку голоса, он найдет.

Ланжеро проснулся. Вместо неба, был потолок. Ланжеро вытянул руку и дотронулся—теплая, деревянная стена.

Он лежал среди людей. Люди спали. Он дотронулся до них,—да, это были люди.

Как хорошо лежать и думать, медленно думать.

„Вот я здесь поживу,—думал Ланжеро.—Посмотрю и пойду дальше. Что там дальше?“

Он поднялся, осторожно перешагнул через спящих, распахнул дверь и вышел под звезды.

Ветви покачивались, ночь шла, ветер шумел, как река. Ланжеро шел в сторону ветра. Он увидел большую просеку—русло ветра. Стояли пни. Лежали срубленные деревья. Их было много. Ланжеро шел, но просеке, казалось, не было конца.

Когда он вернулся, дома ожили, люди бежали, что-то кричали на ходу. В руках у них были пилы, топоры.

Ланжеро стоял; казалось, о нем забыли. Дома были пусты. Все ушли. Он пошел туда, куда ушли они.

Глава седьмая

Никогда еще Ланжеро не видел так много людей. И люди были все в штанах,—одни парни; ни женщины, ни ребенка, ни старухи, ни старика.

Должно быть, приходила сюда беда: вымерли все дети и старики, девушки и старушки. Вот беда, так беда!

Ланжеро остановился возле маленькой речки. По ту сторону речки стоял длинный парень, что-то насвистывая. Парень смотрел на Ланжеро. Ланжеро глядел на парня. Долго они так стояли и обоим стало смешно. Ланжеро перескочил через речку и, протянув руку, дотронулся до парня.

— Что ты меня трогаешь?—спросил парень.—Не видал, что ли?

— Удивляюсь,—сказал Ланжеро.—К человеку привыкаю. Давно людей не видал.

— Привыкаешь?—сказал парень.—Привыкай, привыкай.

Ланжеро сел на пень возле парня, достал кисет из беличьей кожи, трубку и, закурив, спросил:

— Мамка твоя где?

Парень усмехнулся.

— Нет у меня мамки.

Тогда Ланжеро спросил:

— Где твоя сынка?

Парень рассмеялся.

— И сына тоже нет. Еще не родил.

Тогда Ланжеро спросил:

— Есть ли у тебя отец?

— Имеется,—ответил парень.—В гороге Улан-удэ, далеко.

Тогда Ланжеро спросил:

— Как называется это стойбище?

— Какое же это стойбище?—ответил парень.—Это комсомольский леспромхоз. Лесорубы мы. И ты тоже будешь лесоруб.

Тогда Ланжеро спросил парня:

— А как ты называешься?

— Называют меня Мишкой,—ответил парень.—А фамилия у меня горбатая, хотя горбатых в родне нет. Горбунов—я, а ты—кто?

— Я—Ланжеро.

— А по батюшке?

Ланжеро молчал, он не понял. Парень понял, почему Ланжеро молчал.

— А по отцу как? Есть же имя у твоего отца?

— Отца зовут Водка.

— А мать спирт,—добавил парень,—а сестра поллитровка, а дядя—спотыкач. Славная фамилия.

Ланжеро растерялся от всех этих слов.

— Значит, Ланжеро Водкович Пивоваров. Очень рад. А я Михал Сергеич. Есть у нас еще один Мишка. Так он директор, а я нет.

— Мих... Мих... Михал Сергеич,—Ланжеро чуть не захлебнулся, едва выговорил.

Парень подмигнул.

— Что же так весело зовут твоего папашку? Пьет?

Ланжеро понял.

— Нет. Купец один крестил. Купец дал имя. Купец был из ваших.

— Из наших? Нет среди нас купцов. Мы—комсомол. Знаешь такое слово, нет?

— Слыхал.

— Из ваших,—парень повторил это, он, казалось, на что-то рассердился.

Прыгнул через ручей, но поскользнулся, чуть не провалился, лед был тонкий.

— Из ваших,—ворчал парень,—может, он другое имеет в виду. Уже слышал и намекает.

Парень крикнул громко, как будто он стоял на другом берегу не ручья, а большой реки.

— Эй! Слышь! Как тебя, я намеков не принимаю. Мало еще жил, чтоб меня учить. Понял?

— Не знаю,—сказал Ланжеро,—я так.

— Ну, хорошо, что так.

Парень посмотрел на Ланжеро и расхохотался. Ланжеро посмотрел на парня и тоже захохотал.

Они стояли один на левом, другой на правом берегу зимнего ручья и смеялись.

Парень поманил Ланжеро пальцем и спросил его тихо:

— А ну-ка признайся, Водкович, выпивать—выпиваешь? Пьешь?

— Не знаю,—сказал Ланжеро.

— Надо знать.

Парень дал Ланжеро пилу, себе оставил топор.

— Вот что,—сказал он,—не пей. И приглашать буду, не ходи. Ну, как, значит, друзья?

Он протянул свою большую руку. Ланжеро пожал эту руку.

— Однако,—сказал он,—может быть и друзья.

Ланжеро привык здесь поздно ложиться, рано вставать, спать под простыней. Ко многому привык Ланжеро. Он привык не плевать на пол, ходить прямо — потолок был высок; мыть пол, подметать, выполнять женскую работу, два раза в день мыться, но к одному он еще не мог привыкнуть, — почему у него так много друзей.

„Птица, — думал он, — рябчик или какая другая, когда садится на ветку, она садится не одна, с ней садятся другие птицы, ее друзья. Рыба кета или горбуша, когда идет в реке, поднимается метать икру, она поднимается не одна, с ней поднимаются ее друзья, поднимая волны. Когда я иду рубить деревья, лес может испугаться, вот сколько идет нас, это идут мои друзья. Вот сколько у меня друзей".

Друзья эти были насмешники. Виноват был сам Ланжеро, зачем он принял вещь за девушку, патефон. Смеялись они также над косой.

Сам ты девушка,—говорили они Ланжеро.—У нас только школьницы ходят с косой.

Ну, и пусть ходят. Ланжеро не отрежет косу. Ему коса не мешает, разве она мешает им.

Кика и Кока Прыгуновы, два брата, сказали, что они тоже хотят отрастить косу.

— Зачем?

— С косой оригинальней.

Кика и Кока были не просто ребята, они были артисты, смешные люди. Ребята объяснили Ланжеро, что это за люди такие артисты.

Ланжеро хитрый, усмехнулся:

— У нас тоже был артист,—сказал он.

— Кто?

— Шаман.

Глава восьмая

В каждом бараке жила своя песня.

В том бараке, где жил Чижов, была грустная песня. В том бараке, где была пекарня, жила густая песня, эта песня пахла дымом, пахла хлебом. В том бараке, где ночевал Омелькин, жила разухабистая, хриплая, простуженная песня, словно не песня, а скачущий конь.

Веселая песня жила в том месте, где был Воробей.

Ланжеро сидел у окна. За окном была ночь, полная звезд и деревьев.

Где-то началась песня. Она шла от барака к бараку. Песня налетала на песню.

И вот, среди множества песен остались только две песни: грустная песня Чижова и Воробья веселая песня.

В бараках светились окна. А там дальше стоял лес, белела река, и еще дальше было море.

И вот снова запели все бараки.

В пекарне стоял у дверей и пел пекарь. В конюшне пели конюхи, возле коней. В домах пели лесорубы.

Ланжеро сидел у окна. Вдруг он увидел,— кто-то выбежал на поляну, где стояли лиственницы, и начал плясать. Он плясал посреди деревьев и звезд, возле гор, недалеко от речки. Может, оттого он казался выше.

— Кто же это? Неужели Воробей?

А человек плясал посреди ночи, он словно хотел слиться с этими опками, с этой замерзшей рекой, с этим небом, похожим на воду, полную звезд.

Ланжеро думал: завтра лесорубы откроют сундучки и достанут черные и желтые узкие штиблеты, положат штаны на стол и будут водить по сукну железной горячей штучкой, как они говорят — „гладить“; те, у кого есть бороды, будут брить друга друга. Завтра большой праздник: выходной день.

В каждом бараке жила своя песня.

Песня шла из барака в барак и становилась все тише и тише. Один за другим погасли огни в окнах.

Еще в бараке Омелькина гудела мужская, грубая одинокая песня.

И вдруг запела девушка. Казалось, на свете никого больше не было, кроме Ланжеро и этой девушки.

Ланжеро потушил лампу и в темноте усмехнулся.

— В этих краях нет ни одной девушки,—сказал он себе,—это не девушка, а ящик.

Он долго ворочался, хотел вспомнить это слово; перед тем как заснул, он вспомнил его: патефон.

Утром к Ланжеро пришел Воробей.

— Вставай,—сказал он,—коли проснулся. Сны снились?

— Чорт его знает,—ответил Ланжеро и засмеялся.—Как из дому ушел, не снилось ни одного сна.

— А мне чушь снится,—сказал Воробей.—Квартирки снятся. Ванные комнаты. Снится удобство. Я и прежде себя упрекал: думаю, обыватель в тебя забрался и ведет свою подрывную вредительскую работу. Сейчас же я считаю, что справедливые видел сны. Не вечно нам жить в бараках. Мы здесь еще построим домики.

— У вас и так большие, хорошие дома.

— Ну, одевайся, Ланжеро, мы сейчас пойдем пить чай, а потом...

— А что это за праздник у вас, в честь какого бога?

— В честь отдыха бога. У нас каждую шестидневку праздник.

Из столовой Ланжеро и Воробей пошли на речку. Здесь лесорубы носились по льду, как маленькие дети, на ногах у них были железные штучки вроде ножей, ногами лесорубы делали разные фигуры. В обычное рабочее время, когда ноги исполняют свою однообразную работу: ходят, ни за что не подумаешь, что в человеческих ногах спрятано столько ловкости. Ланжеро любил ловкость.

— Зачем вы это речку ногами режете?

— А что, ей разве больно, речке?

Ланжеро хотелось самому побегать, но он почему-то стеснялся, боялся, вдруг его ноги окажутся неловкими, и он, вместо того, чтобы бежать, поскользнется и свалится под общий смех. Но под конец он не выдержал, подошел к Воробью, который сидел на берегу и снимал коньки.

— Что, хочешь покататься?

— Да однако. Однако я хочу испытать свои ноги.

— Надевай.

Когда Ланжеро выбежал на лед, ему показалось, что он не на ровном месте, а на горе, что сейчас он слетит.

Лесорубы смотрели на него и подбадривали.

Но Ланжеро не упал, он выпрямился, ноги его побежали; казалось, они бежали сами; он выбежал на средину реки и летел как птица, ветер дул ему в лицо, и он все летел; когда он оглянулся, лесорубы были едва видны, впереди белело море, замерзшие волны, впереди зеленело небо. Ланжеро бежал все вперед и вперед.

Возвратился он вечером. Первого, кого он встретил, был Омелькин.

— Мы уж думали,—сказал Омелькин,—что ты убежишь от нас совсем.

Как-то Воробей разговорился с Ланжеро. Он сделал это ловко, „по-воробьиному“, начал издалека.

Ланжеро сказал Воробью, что он, пожалуй, задержится в леспромхозе недолго, поживет и уйдет.

— Куда?—заинтересовался Воробей.

— Известно куда,—рассмеялся Ланжеро.

— А все же?

— Дальше. Туда, где еще не был, посмотреть то, чего еще не видал.

Воробью это понравилось.

— Я в стране Австралии,—сказал он,—еще не бывал. И в Индии не бывал. Когда я беспризорничал, меня ребята раз надули. Я у буксы под вагоном ехал. Ребята мне и говорят: „Давай, говорят, в Индию поедем“. Я им говорю: „Чего я в Индии не видал?“ Они говорят: „Слона не видал“. „Врешь, говорю, я слону чуть хвостик перочинным ножиком не оттяпал. Ладно, сторож увидал меня, за ухо вывел“. „Врешь, говорят, слону хвост и трамваем не перерубить“. Едем под вагоном. Думал я, в Индию едем, а приехали в Конотоп. Да что я тебе рассказываю... Тебе сначала нужно объяснить, что такое слон, потом что такое Конотоп. Потом, что такое Индия. А что такое Индия, я сам не так давно узнал. Так вот, Ланжеро, я нашу страну исходил всю. На Камчатке только не был.

— Что ж, пойдем. Вдвоем итти лучше.

Воробей расхохотался.

— Какой прыткий,—сказал он,—оставайся у нас. Ты нам пригодишься. И мы тебе тоже скоро понадобимся.

— Вы—другое дело. А я вам зачем?

— Увидишь.

Ланжеро помолчал.

— Человек,—сказал он,—я думаю, не должен сидеть на одном месте, его дело итти вперед и вперед, падать и вставать и опять двигаться дальше.

— О, да ты философ,—сказал Воробей.—Оставайся рубить с нами деревья. Зачем тебе далеко ходить, ты и отсюда можешь увидеть, что там дальше за тысячи верст и за сотни лет.

— Машина такая есть?

— Нет, на этот раз обошлось без машины.

В комнате, в которой происходил этот разговор, стоял широкий, пахнувший свежим деревом книжный шкаф—клубная библиотека.

— Вот тут,—сказал Воробей, лукаво улыбаясь,—здесь и стоят разные страны, как в аптеке. Что хочешь—люди, звери, нездешние моря, города, от которых осталась одна пыль. Есть даже такие растения, цветы, что ли, а жрут, как звери, стервы, поймают муху и сожрут. Не слыхал? Есть полузвери, полуптицы, кладут яйца как куры. Откровенно признаюсь, яиц этих я не едал. На деревьях растут ягоды с твою го-

лову, фрукты. Что касается людей, они бывают разного цвета, есть черного цвета, есть красного цвета. Краснокожие — это дальние твои родственники, Ланжеро. Профессор Штернберг говорит, что вы, гиляки, приехали на Сахалин из Америки на большой льдине. Знаешь, я о чем жалею, Ланжеро, что есть люди разные—белые, черные, желтые, и вот голубых нет. Природа цветом человека обидела: всего три цвета. Так вот, когда-то по земле ходили звери вот с эту гору. Я не вру.

Ланжеро взял одну книгу, перелистал и положил.

— Мне доктор Иван Павлович,—сказал Ланжеро,—читал как-то книгу. Но тут что видали другие, а я хочу сам поглядеть.

— А ты научись читать, тогда мы с тобой философствовать будем.

— Я понимаю, что это,—сказал Ланжеро,—но понимаю мало, чуть-чуть. Вы отделили песню от человека, отрезали голос от девушки. Песня живет в ящике. Здесь вы отобрали мысль. Разговор живет, а человека-то, может, и нет. Он умер, может.

— Нет, не понимаешь ты это. Не обижали мы твою девушку и человека тоже. Мы, Ланжеро, за человека. Человек — это все. Смотри сюда!

Воробей вынул из бокового кармана записную книжку, перетянутую резинкой, в книжке лежали разные бумажки, на пол из книжки выпала маленькая пятиминутная фотография.

Воробей поднял ее.

— Посмотри,—сказал он гиляку.

Ланжеро взглянул. На фотографии, на этом кусочке жесткой бумаги, жило смеющееся лицо девушки с прищуренными глазами. Никогда еще Ланжеро не видел такой девушки. Ему было обидно, что это не девушка была, а кусок бумаги. Ему хотелось, чтобы эта девушка была здесь в комнате, чтобы она здесь жила.

Ланжеро неохотно возвратил фотографию Воробью.

Кто это?

— Сестренка. Я уже ее давно не видал. Она учится в Москве в институте им. Губкина. На последнем курсе.

— Она жива?

— Конечно, жива. В ней жизни хватит на десять девушек. Это же фотография. С нее взяли три целковых и сняли где-нибудь в Москве на улице. Она от этого не пострадала. Так сняли и голос девушки, о которой ты говорил. Хочешь, я и тебя сниму.

— У нас Низюн есть,—сказал Ланжеро.—Ызь по-нашему, по-вашему — хозяин. У него ничего не пропадает. Юкола по десять лет висит. Вот и вы тоже. Песню посолили и спрятали. Тоже рассказ чужой. У нас есть старик Чевгун Старший. Сто один год ему. Он видел первого русского человека, приехавшего на остров. А он умрет, и вместе с ним умрет все, что он видал.

— Вот, вот,—обрадовался Воробей.—Мы начинаем говорить на одном языке.

Молчание.

— Хочешь писать книги?—спросил Воробей и подмигнул.—У нас писателем таких называют.

— Нет, пожалуй,—ответил Ланжеро,—пожалуй, не хочу.

Он думал о девушке, лицо которой только что видел. Оно теперь

было в записной книжке, в боковом кармане Воробья. Ланжеро бы еще посмотрел на это лицо.

„Пожалуй, я хотел бы тем быть, который снимал девушку“,—подумал про себя Ланжеро.

На одном из производственных совещаний среди других вопросов стоял вопрос и о Ланжеро.

На совещании присутствовали комсомольцы, люди многих профессий. Был здесь и Кешка-моторист, и бригадир Новиков, и конюхи, и откатчики, в дверях, сложив на животе руки, стоял толстомордый парень в белом фартуке, на руках его было засохшее тесто.

Позже всех пришел Омелькин.

Он шлепнул ладонью парня в фартуке по самому его толстому месту.

— И вечно ты обманываешь меня!—сказал он.—Каждый раз я принимаю тебя за бабу. Ажно дрожь пробежит по телу. Так давно не стоял возле бабы. Ну, и не выдержишь, шлепнешь тебя по самому бабьему месту. Ажно дрожь...

Лесорубы захохотали.

— Его, видно, из женского теста лепили.

— К порядку!—постучал об стол Воробей.

— Какой порядок, когда третий год без баб.

— Так и быть, Омелькин, выпишем мы тебе бабу.

— Мне одной бабы мало.

— К делу!—повторил Воробей.

— Какое тут дело, когда ночью такие сны снятся.

— Я тебе не давал слова, Омелькин.

— Какое тут слово...

— Довольно, Омелькин...—закричали лесорубы.—Хватит жеребячиться, не в конюшне!

Когда были разрешены все вопросы, Воробей взял слово по вопросу о Ланжеро. Воробей говорил о том, что Ланжеро — человек другого тысячелетия. Задача большая—из первого века перевести в наш, в комсомольский, в двадцать первый. Нужно ему все показать, все отрасли хозяйства и производства, чтобы он мог выбрать профессию по душе.

Ребята согласились с Воробьем. Между собой они долго спорили, с чего должен Ланжеро начать.

Кешка-моторист настаивал, что должен Ланжеро ознакомиться сначала с техникой, постоять у мотора.

Конюхи настаивали, что должен он пройти через конюшню, начать с коня.

Спор продолжался долго.

Ланжеро проголодался. От парня в фартуке пахло свежим хлебом.

— От тебя вкусно пахнет,—сказал Ланжеро парню в белом фартуке.—Нет ли у тебя с собой хлеба?

— Идем!—позвал парень в фартуке.—Я дам! Я тебя накормлю.

Так оно и произошло само собой, что Ланжеро начал свое восхождение от первого к двадцать первому веку не от машины и не через конюшню, а через пекарню, где пахло жаром из печей и мукой.

Тесто огромное, пышное, мягкое, живое обрадовало руки Ланжеро.

Ланжеро вылепил из теста оленя, маленького кита и нерпу возле большого камня.

Парень в белом фартуке улыбнулся и, схватив из кадки большой кусок теста, бросил его на стол и стал его бить, подкидывать, мять.

— Ты мне оленей не лепи,—сказал он,—валяй, брат, хлеб.

И Ланжеро начал под руководством парня кидать об стол, бить, мять, подкидывать кусок теста, борясь с желанием — придать ему какую-нибудь форму.

— Тесто, — сказал он как-то парню в белом фартуке,—как твое лицо расплывчатое. Так и хочется из него что-нибудь вылепить.

— Как? — удивился парень в фартуке,—и ты тоже надо мной насмехаешься?

— Да нет, я не смеюсь.

— То-то, — сказал парень. — А то лесорубы надо мною насмехаются. Подумаешь, только и знают, машут топором. А без меня дня не проживут, без моего хлеба. А ты и в самом деле не смеялся?

— Да, нет, нет.

Идя по поселку, Ланжеро боялся, что встретится с Воробьем. Там у Воробья в записной книжке, перетянутой резинкой, в боковом кармане тужурки находится смеющееся лицо девушки с прищуренными глазами, видно, ей в глаза попало солнце. Ланжеро еще раз хотелось взглянуть на эту девушку, потому-то он и не хотел встречаться с Воробьем.

Глава девятая

В поселок приходили письма, правда, довольно редко. Это был большой день, когда приходили письма.

Письма получали все, кроме Ланжеро и еще одного парня. Парня этого звали Чижов.

Чижов был очень странный парень, Ланжеро это сразу заметил. И держался он не так, как другие, а все в сторонке, все один.

Ланжеро подошел к нему.

— Давай поговорим,—сказал Ланжеро,—хочешь, я тебе скажу, о чем я думаю?

— Не хочу,—ответил Чижов,—дума не разговор. Она любит, чтоб человек один-на-один с ней находился.

Ланжеро улыбнулся.

— Вот я и хотел тебе это сказать. Я смотрю на тебя и вижу, ты думаешь. Я тоже люблю думать.

— Ну, что ж,—сказал Чижов и усмехнулся,—давай думать вместе.

Он снял скрипку, висевшую на стене, и тихо провел смычком. Ланжеро показалось, что подул ветерок, где-то закричала река, словно сон.

Вот дождь и звезда, думал он. Вот птица. Эта птица заблудилась в ветре. Вот олень. Он проснулся. В воду упала большая звезда.

Скрипка, вещь эта, она была словно сделана из человека. Она кричала, как человек. Ей было больно. Удивительный парень этот Чижов, он играл то, о чем Ланжеро думал, о девушке, голос которой сейчас

молчит, о девушке, которая сейчас в Москве, песня ее в ящике, а лицо в кармане у Воробья спрятано вместе с записной книжкой, не лицо, а отражение лица.

Ланжеро стало грустно. Песня подружила Ланжеро с Чижовым. У Чижова все было не так. У других были родные и друзья, у Чижова не было никого.

В комнате его было пусто. Стены были осенние, грустные и весной и летом.

Лесорубы не любили его скрипку.

— Душу тянешь,—говорили они,—душа не резина.

Вместо приветствия, лесорубы кричали ему:

— Грустишь? Не надоело еще?

— А что, разве запрещено?

— Осень у тебя в инструменте. Хуже зимы. А ты солнцем бы нас порадовал.

— Бывает и с солнцем. Солнце и то грустит. Особенно наше сахалинское солнце.

Однажды ночью Ланжеро вскочил. Ему приснилась девушка, та, которая пела. Она сидела над водой у реки, лицо ее было смеющееся, а глаза прищурены, словно туда попало солнце.

Ланжеро не спалось. Он подошел к патефону и завел. Запела девушка. Парни проснулись. Кто-то из них запустил в него подушкой.

Придя с работы, Ланжеро разобрал патефон, оклеил внутри ящик. И голос девушки стал еще ярче, еще громче, еще ближе.

— Где же она? В Москве? Далеко ли Москва?

Глава десятая

Зима в этом году застряла в тайге; весна опоздала на месяц; уж давно была пора зиме уходить, а она все сидела как наседка.

— Хоть бы ты как будущий комиссар погоды,—обращались к Воробью лесорубы,—хоть бы ты ей намекнул.

Весна пришла внезапно вместе с летом, вместе с птицами.

Ночью лесорубы проснулись. Казалось, гремел гром. Этот гром был низко, где-то справа, не на небе, а на земле.

Лесорубы выскочили. Что-то рухнуло. Уж не гора ли? Те, что выбежали первые, увидели, что с рекой творится что-то неладное. Река разорвала лед. Она выскочила из берегов и обрушилась на сопки.

— Что это с небом?—спросил кто-то из лесорубов.

Небо падало. Казалось, оно было не выше уже деревьев.

— Чорт побери, да это гуси!

Гуси покрыли лес, луг, гору, садились на дома, чуть ли не на людей.

— Должно быть, летят на полуостров Шмидта,—сказал Омелькин,—говорят, там от птиц спасу нет.

Но вот стая гусей поднялась. От шума хлопающих крыльев не стало слышно реку.

Сверху открылось небо, снизу море. Утреннее солнце было закрыто гусями.

Из леса ветер принес запах талого снега и оживших деревьев.

Лесорубы вздохнули.

— Красота!—задумчиво сказал Воробей.

Весна пришла с теплом, но без солнца, не с юга, а с востока, весна пришла с дождями.

Случилось одно событие, не слишком приятное, почти беда.

— Беда эта поправимая,—говорил Воробей.—Ребята, всё на ликвидацию прорыва! Река выкинула номер. Объявляю аврал.

От больших дождей земля осела, река поднялась. Все превратилось в болото: берег, лес, дорога; болото превратилось в озеро; в озере стояла гора; деревья торчали из воды.

— Вот и руби их!

— Погодка. Не дождь, а душ!

В бога, в душу!

— Лодку дай нам. Без лодки к дереву не подступись.

Я пароход вам выпишу по почте.

Кто шутил, а кто и хныкал, ворчал.

— „Соловьи", чортово племя, нытики, спасай лес!

— А нас кто будет спасать?

Озеро становилось все шире и шире, оно подползало к поселку, слева—озеро, справа—река.

А наверху море,—шутил Мишка Горбунов.

— Нет, болото, — возражал Кешка-моторист, — разве небо такое бывает?

Нам не летать.

Уж многие дома, как птицы, сидели в воде.

— Ляжем здесь,—шутили лесорубы,—а проснемся где? Может быть, на Курильских островах.

А наши острова в честь кого наименовать? Мы тоже островитяне.

— Острова имени Кольки Воробья.

— Что ж,—согласился Воробей.—Я не отказываюсь. Есть же Воробьевы горы, пусть будут Воробьевы острова.

Ребята отшучивались, валялись в постели, кое-кто притворялся спящим.

Среди них стоял Воробей в высоких резиновых сапогах, в шапке и с топором в руке.

— Что же это—в качестве воздействия?—показывали лесорубы на топор.

Вставай! Вставай! Довольно отшучиваться! Прием устарелый, — тормошил комсомольцев Воробей. — Ну, выходи на субботник!

— Не выходи, а выплывай.

Лесорубы „выплыли", вышли все. Последним показался Омелькин. Лесорубы поеживались от сырости и от холода.

— Вспомните, когда мы ночевали у костра, жили в обледенелой палатке. Эй, веселей!

— Веселей не выходит.

— Что за сопливая весна! Весенняя осень.

— Осенняя весна.

Что музыка? Как скрипка Чижова?

Чижов стоял тут же.

— Оркестр бы сюда!

Воробей засуетился.

— Даю слово, ребята, выпишу инструменты.

— Скоро?

— На будущий год.

Все захохотали.

— Музыку бы,—не унимался Омелькин.

— Чижова!—крикнул кто-то.

— Чижов, тащи свою музыку. Используй момент.

Чижов сбегал за скрипкой. Он заиграл что-то, и до того грустное, до того неподходящее к случаю, что всем стало весело и смешно.

— Это он отпевает будущих утопленников.

Мишка Горбунов, так тот не выдержал, пустился в пляс в воде.

— Что, уже укачало?—сказали ему Прыгуновы.—Уже опрокинул, успел?

Солнце выскочило пугливо, как заяц, смешное, выскочило и скрылось опять.

— Даже солнце, и то побоялось твоей музыки!

— Друг,—сказал Чижову Воробей,—бросай скрипку, бери топор.

Лесорубы запели песню и пошли в тайгу с песней, как в бой.

В этот день ребята возвратились все в грязи, в траве, в листьях, словно были вылеплены из земли, из болота и кочек. В этот раз озеро было уничтожено, отведено, сброшено в долину.

Река ревела, стерва, злилась.

У Ланжеро ныли плечи сладко, сонно болели ноги, слипались веки. Спать, спать... До чего хорошо спать после такого дня.

Глава одиннадцатая

Однажды вечером в пекарню ворвался Воробей.

— Идем! Идем!—сказал он Ланжеро.

Ланжеро стоял у стола с решетом в руках. Сеял муку.

— Решето-то здесь оставь. И фартук снимай. Там тебе фартук не понадобится.

Парень в белом фартуке стоял возле открытой печи, держа лопату, на лопате лежал хлеб.

— Куда?—спросил он.—Куда ты его зовешь? А кто месить тесто будет?

— Ладно, не слушай его, Ланжеро. Идем! Не пекаря же мы из тебя хотим сделать.

Парень в белом фартуке от неожиданности опешил.

— Как, ты от меня совсем его отбираешь? Хочешь меня без помощника оставить?

— Дам я тебе помощника.

— Кого?

— Омелькина.

— Да я...—парень выронил из рук лопату,—я решу себя. В квашне утоплюсь, в тесто себя запеку. Я хлебы вам сожгу. Я не знаю, что сделаю.

— За вредительство отдам под суд. За самоубийство выгоню из организации.

Парень в белом фартуке снял с табуретки кадку с тестом, фартуком смел с сиденья муку.

— Садись,—сказал он Воробью.—Пирожки испытай. Я сейчас пирожки по-новому делаю.

— Некогда. В другой раз. Идем, Ланжеро.

— Подожди. Я хотел сказать... Не бери от меня Ланжеро. Я его еще пирожному делу не воспитал. Повремени немножко. Дай передать человеку опыт.

— Омелькину передашь. Идем, Ланжеро.

Парень в белом фартуке, грустный, стоял в дверях.

Воробей оглянулся и крикнул весело парню:

— Насчет Омелькина не бойся. Не пошлю Омелькина. Другого...

Парень в белом фартуке крикнул им вслед:

Ланжеро сам ко мне вернется. Правда, Ланжеро?

Воробей привел Ланжеро к завхозу.

— Слышь, Сапогов,—сказал Воробей,—выбери ему самого классного коня.

— Кого же ему дать? Разве гнедого?

— Дай гнедого.

Когда Ланжеро получил лошадь, он вспомнил Низюна. Ему дали лошадь с упряжью, совсем с телегой. Ланжеро растерялся перед всем этим. Из домашних животных ему приходилось иметь дело только с собакой, ездить на собаках, кормить собак.

— Это тебе не сучка,—сказал ему завхоз, старообразный бородатый парень, держа под уздцы коня,—это тебе не олень какой-то паршивый. Я тебе не клячу вручаю. На этом коне Воробей выдвинулся. Это его Гнедко Смотри, не сбей ему холку. Супонить будешь, щади. Ты забудь, что это животное. Это личный друг Воробья. Если что случится с ним, я тебе—враг. Понял?

С тех пор Ланжеро стал возчиком, возил лес.

— С конем совладаешь,—встретил его как-то Воробей,—я допущу тебя к машине. Это, так сказать, экзамен. Ну, езжай. Что стоишь? Езжай.

— Я так думаю,—сказал Ланжеро.—Конь оленю брат. Он, должно быть, в лесах, как олень, бегал. Как он только дал себя человеку взять?

Воробей расхохотался.

— Чудак ты! Да нет такого зверя, что человеку бы не подчинился. Ну, езжай, некогда, езжай.

Конь, это тихое покорное животное с длинной мордой, гиляку не нравился. Что из того, что он Гнедко? Собаки были лучше. Только не сдвинуть, не поднять столько собакам, сколько шутя вез на себе этот конь.

По ровной дороге везти бревна было не так трудно. Конь шел себе, колеса крутились, а рядом шел Ланжеро и смотрел по сторонам. Но ровной дороги был небольшой кусок, километра два—не больше.

Дальше начинались бугры, горы, ямы, болото, пни. Конь то-и-дело останавливался.

— Тах! Тах!—кричал на него, как на собак, Ланжеро.

— Да не так, так, а нн-о! Кричи ему но-о! Он по-гиляцки не понимает. Понукай его!—советовали лесорубы.

Конь взбирался на гору, напряженно перебирая ногами. А тут как на грех попался навстречу бородатый парень, завхоз.

— Эх!—сказал он.—Замучил ты моего гнедого, навьючил. Кто же накладывает столько?

Ланжеро молчал.

Подняться на гору это еще полбеды, тяжело спуститься. Гора ползла вниз, размокшая глина втягивала и не выпускала колеса. Конь поскользнулся и упал.

— Погубил ты мне коня,—сказал завхоз.

Гнедко лежал, подогнув под себя задние ноги и пытаясь подняться.

— Ну, что стал?—перед Ланжеро стоял завхоз с таким видом, словно хотел его ударить.—Склад знаешь? Там меня конюхи ждут. Иди, отпусти за меня овес. Я за тебя свезу.

Ланжеро взглянул на завхоза и подумал: побриться бы ему надо, борода как у айна. Такую бороду топором рубить—не отрубить.

— Ну, что уставился?

Ланжеро усмехнулся прямо в лицо этому человеку.

— Не выйдет,—сказал Ланжеро. Ему очень нравилось это слово: „не выйдет". Он слышал его от лесорубов.

— То есть, как не выйдет?

— Сам справлюсь как-нибудь. Пожалуй.

— А я где? Думаешь, я буду спокойно смотреть на это убийство? Думаешь, я позволю... Думаешь, я...

— Ничего я не думаю.

Ланжеро распряг коня, помог ему встать. Завхоз схватил коня за недоуздок.

— Отдавай коня!

— Не отдам коня.

— То есть, как не отдашь коня?

— Не отдам коня.

— Идем к Воробью.

— Идем!

У Воробья было какое-то заседание. Он вышел и засмеялся, увидя гнедого и машущего руками взволнованного завхоза.

— В двух словах, Сапогов,—сказал он,—я сейчас занят.

— В двух словах: погиб конь. Ты посмотри, что он сделал из коня!

— Короче, Сапогов. Я сейчас ухожу.

— Я тоже ухожу. Уволь меня, Воробей. Этому тунгусу...

— Это не тунгус, а гиляк.

— Этому гиляку на собаке ездить. Или отбери у него коня, или снимай меня с этого места, Воробей. Не могу я глядеть, как убивают коня. Не сойду я с этого места, Воробей, пока не возьмешь у него гнедого. Я тебе клянусь, Воробей, ночью я у него украду коня. Убегу вместе с конем. Не могу допустить! Я в этого коня всю силу свою

вложил, я счастье, может быть, свое из-за этого коня потерял. Пока я тут за этим конем ходил, там на материке у меня любимого человека увели...

Завхоз вытащил из кармана письмо.

— Вот, можешь сам прочесть. Я слезами обливался, читал. Пишет: „Если тебе дороже меня какая-то лошадь, то оставайся на Сахалине, а я ждать больше не могу, потому что нашла себе хорошего человека".

— Ну, а ты что ей ответил?

— Я ей телеграмму составил. „Стерва, написал я ей, дело не в коне, а тут находится моя честь. Я в коня свое здоровье вложил. Коня я строил, это мой участок. Я социализму строил, потому что в каждом деле... и так далее... Стерва", писал я ей. Но телеграфист не принял от меня телеграммы. „Тебя, говорит, за нецензурные выражения, Сапогов, оштрафовать надо. А еще завхоз". А вечером меня взяло сомнение. Может, права она. Девушке тоже обидно, променял ее на коня. Не может же она понимать, что конь это не просто конь, а участок социализма, что я свою задачу выполняю, строю этого коня. Вышел я на двор, взглянул на коня и на тебя и на ребят, у которых тоже есть невесты, но которые оставили все и пришли сюда делать свое дело. „Нет, сказал я себе, прав ты, Сапогов, а не она. Нашла себе хорошего человека и пусть нюхается с ним, а Сапогов свое счастье еще найдет".

— Ладно, Сапогов. Мы это дело урегулируем.—Воробей, сказав это, подошел к Ланжеро.—Слышал? Понял?

— Ладно,—сказал Ланжеро.—Пусть берет коня.

— Нет, это не надо, Ланжеро. Вообще, тебе объяснять не надо. Ты парень не глупый. Поймешь. А ты, Сапогов, не ерепенься. Конь для него экзамен. А экзаменовать будем мы с тобой. Поучи его, Сапогов.

Ланжеро стал другом гнедого. У коня была сбита спина. Ланжеро вымыл ее светлой водой из ручья, смазал рану медвежьим салом. Он разорвал свою нижнюю рубашку и подложил ее под чересседельник. Свободное время он проводил с конем, не доверял конюхам, сам подбрасывал ему свежую траву, выбирал сено, выпрашивал для него овес.

Бревен было много. Иногда Ланжеро думал о том, зачем так много убивают деревьев. Неужели на свете так много людей, у которых нет домов?

Он думал о реке, которая несет бревна людям, о том, что здесь есть и им доставленные деревья, его труд и труд его коня. Он думал также о том, как он придет к людям, которые живут в новых домах, о том, как он поздоровается с ними и расскажет им о себе, а они скажут ему:

— Поживи, Ланжеро, в наших домах, это и твои дома.

И он ответит им:

— Ладно, хорошо. Я поживу у вас и пойду дальше, туда, где еще не был. А вы, если будете проездом в нашем краю, заезжайте ко мне, поживете у нас, наши дома это также и ваши дома.

А они скажут ему:

— Ладно, хорошо. Спасибо, Ланжеро. Мы к тебе заедем.

Иногда Ланжеро тянуло к морю, к реке, в лес, где с лиственницы прыгает белка прямо в сланник за кедровой шишкой, где нерпа вынырнула и плывет к камню, нерпа, отбившаяся от стада, заблудившаяся нерпа, из моря она заплыла в реку, из реки попала в ручей, она удивлена и испугана этим маленьким и пресным миром, ей тесно, она замутила ручей, разорила его и плывет обратно в реку.

Фыркнул соболь. Он выгнулся, посмотрел налево, направо и вскочил на валежник. Прыгая с пня на пень, с сучка на сучок, ни разу не коснувшись земли, не оставив следа, ничего, кроме легкого, почти неуловимого запаха, он прыгнул на обгорелую, убитую молнией лиственницу и скрылся. Здесь был его дом.

Эту ночь Ланжеро провел возле реки.

Он шел вверх по течению, окруженный тучей мошкоры. Ветер принес ему запах песка, речных камней, запах реки. Где-то закричал олень. Ланжеро пошел в ту сторону, где был олень. Река делала изгиб, берег больше походил на берег озера, чем на берег речки; на берегу рос камыш. Олень едва ли мог почуять человека, ветер дул не в сторону оленя, а в сторону Ланжеро. Из-за камня Ланжеро увидел его темную фигуру: рога и бок на фоне светлевшей реки. Оленя беспокоила мошкара, он вошел в воду и шел дальше; вот он поплыл на середине реки, на поверхности были только рога, ноздри, уши, глаза. Олень закрыл от наслажденья глаза и фыркнул.

Ланжеро ждал. Оленя несло. Он отфыркивался, мотал головой, брызгался.

Ланжеро где шел, где полз, он боялся только одного: оступиться, Олень мог услышать. Река стала мельче. Олень уже не плыл. Он брел. Отряхиваясь, он вышел.

Ланжеро выстрелил в него.

Утром лесорубы поздравляли Ланжеро.

— Как же ты его приволок?

— Я его разрубил на части. Связывал, торопился. Не хотел вас будить.

— Это славно,—сказал Воробей.

— Главное, будет чем доктора угостить.

Ланжеро послали встретить этого доктора. Думали, что он приедет на моторной лодке. Ланжеро чуть не целый день просидел на берегу, всматриваясь и вслушиваясь: лодки не было. Возвращаясь в поселок, он увидел высокого человека, который только что вышел из лесу. Ланжеро его узнал.

— Доктор,—крикнул Ланжеро,—Иван Павлович!

— Да, я Иван,—сказал доктор,—не шуми!

Он, должно быть, не узнал Ланжеро.

— Угораздило,—ворчал доктор,—едва не перевернуло. Поломало руль-мотор. Послали со мной урода. Фарватера не знает, а суется. Я ему говорю: „Отдай лучше мне руль, а сам измеряй дно!“ Нет, шеста у меня не взял и руль не выпустил. Вот и сидит в лодке, сторожит вещи.

Доктор рассеянно взглянул на спутника.

— Послушайте, товарищ, нужно будет сходить, помочь ему, а то он сдуру утопится.

— Ладно.

До поселка было далеко. Ланжеро всматривался в дорогого спутника. С тех пор как они расстались, доктор постарел, изменился, или потому что Ланжеро вырос, доктор, казалось ему, даже стал ниже ростом.

От него попрежнему пахло острыми нездешними духами. Когда-то доктор выручил его из большой беды, и сейчас они идут рядом, как чужие.

— Доктор,—сказал Ланжеро тихо.

Доктор протер очки характерным докторским жестом.

— Что за чепуха? Неужто это ты, Ланжеро? Как ты сюда попал? Ну, как там у вас с заболеваниями?

— В стойбище?

— Нет. Здесь.

Доктор был живое письмо. Разве можно заменить живого человека? Слова, отделившиеся от человека, вот что такое письмо. Доктор прибыл из родных мест, из Нань-во.

Иван Павлович посмотрел на Ланжеро, исподлобья, лукаво, и усмехнулся.

— Низюна помнишь?

— Где забыть Низюна!

— Низюн тебя вспоминает. Над Низюном смеются. У Низюна жена сбежала третья, младшая. Низюн чуть с горя себя не убил. Я ему сказал: „Живи, Низюн, неужели тебе двух жен мало?“. „Я, говорит он, в работники пошел бы к бывшему своему батраку, Вакону, собак бы ему отдал, себя бы ему отдал, только возле нее быть, видеть ее. Лучше бы убил меня Вакон, зачем он у меня жену отобрал“.

— Хорошая была у него жена. Ну, а отец как мой живет, Водка?

— От него тебе привет. Чудак твой Водка. Он думает, что страна, что стойбище, пошел и встретил. „Ты, сказал он, непременно его увидишь“. Я смеялся. Оказалось, старик-то прав.

Добравшись до леспромхоза, доктор собрал лесорубов.

— Ну, что,—спросил доктор,—признавайтесь, вши есть?

— Вы бы что-нибудь свеженькое,—разочарованно сказали лесорубы.

— Есть и свеженькое,—сказал доктор.

Доктор, оказывается, привез с собой радиоприемник.

— Надо же вас чем-нибудь порадовать, робинзоны!

— Вы бы спирту лучше привезли.

— Это кто сказал?

— Это я сказал, спирту.

— Горбунов? Узнаю. Есть и спирт. Прививки будем делать. И сыворотка тоже есть.

— А порадуете чем?

— Порадуете вы меня.

В тот же день доктор осматривал бараки, остановился, как нарочно, возле койки Мишки Горбунова.

— Это чья кровать?—спросил доктор и только начал хвалить Мишку за чистоту, как на подушке показалась какая-то точка, которая при ближайшем рассмотрении оказалась не что иное, как вошь.

— Ну, вот и порадовал,—сказал доктор.

Мишка стоял красный. А лесорубы смеялись, говоря, что доктор специально ехал, чтобы убить Мишкину вошь.

Мишка махнул рукой, словно желая отмахнуться.

— И у вас их не бывает? У кого их нет?

Доктор рассердился.

— Кто у вас тут рисует?—спросил он.

— Все мы художники,—ответили лесорубы.—От слова гулять.

Доктор подозвал Ланжеро.

— Ты мне вошь изобрази и рядом с вошью его. Для вашей газеты. Только смотри, чтобы вошь получилась не больше его.

Ланжеро сел рисовать.

— Никогда я еще не рисовал такого маленького зверя. Медведя бы лучше меня попросили, или нерпу, вот нерпу бы я нарисовал.

Когда Мишку Горбунова подвели к рисунку, Мишка удивился.

— Да это же не я,—сказал он и обрадовался.—Это Омелькин. Это же его нос. И ноги его.

— Ну, а вошь-то твоя, не отопрешься!

Лесорубы подходили—посмотреть рисунок.

— В самом деле, Омелькин.

— Как же это получилось? Рисовал Мишку, а получился Омелькин. Как же это, Ланжеро?

Ланжеро посмотрел на Мишку и на Омелькина.

— Мишка мне друг,—сказал он,—зачем я буду обижать друга?

Омелькин побледнел.

— Я это так не оставлю,—сказал он.

В это время Ланжеро отозвали. Ему сказали, что с ним хочет разговаривать девушка из Александровска, что она жива.

Ланжеро услышал голос. Говорила девушка, но это был другой голос. Девушка была не та.

Глава двенадцатая

Для доктора затопили баню. Лесорубы знали, что Иван Павлович любил париться, дров не пожалели.

— В баню я один не пойду,—сказал Иван Павлович,—одному мыться скучно. Идемте и вы со мной. И ты, Ланжеро.

В бане Ланжеро долго стоял одетый среди голых, мялся. Он не привык, чтоб на него смотрело, на голого, столько людей.

Доктор разделся, налил в таз воды, сунул руку в кипяток и от удовольствия крякнул. Он велел принести бутылку пива, раскупорил ее. Ланжеро думал, что он будет пить, а он опрокинул бутылку над тазом и стал лить пиво в кипяток. Из таза пошел пар.

Ланжеро подумал, что доктор хочет умилостивить горячую воду, принося в жертву ей пиво. Доктор намылил себя и начал себя бить.

— Ланжеро!—крикнул он.—Ну-ка, потри-ка мне спину! Да покрепче!

Докторская спина была не такая, как другие, широкая, большая, волосатая.

— Вот бы мне такую спину,—подумал Ланжеро.

В бане было шумно. Голые лесорубы, гремя тазами, окачивали друг друга кипятком, выбегали на ветер, даже не смыв с себя мыла, и возвращались.

Иван Павлович лежал на верхней полке и хлестал себя веником. Голос у него был густой, банный, подходящий к моменту. Временами Ивана Павловича совсем не было видно в тумане, и откуда-то сверху слышался его голос, словно не доктор это был, а дух.

— Мылся я недавно в Охе,—рассказывал Иван Павлович,—баня японской архитектуры. Чистота. Этика. Никто не сдает своих вещей банщику. Все остается на месте. Город, доложу я вам, пятнадцать тысяч жителей, а на дверях ни одного замка. Я не знаю, для чего там существует угрозыск. Во всем городе ни одного вора, ни одного мошенника. Жил один жулик, да и того недавно похоронили. Эй, подкиньте-ка мне пару! До чего скупой народ пошел, живут в лесу, а жалеют дров! Возвращаюсь к Охе. Было время, когда там нехватало гвоздя. В кинематограф за билет платили гвоздями. Мальчишки что делали,—ходили и вырывали гвозди из домов, из тротуаров, где увидят. Тротуары расползались. Жителей одолевала цынга. Женщины лысели. У молодых людей выпадали зубы, вылезали брови. У японцев на концессии свои болезни. Почти поголовно апендицит. Приносят мне одного японца на операцию. Дело международное, я бы сказал, почти дипломатическое дело. А вдруг умрет у меня японец на столе!

— Ну, как,—перебил кто-то доктора,—как прошла операция?

— Великолепно. Японец открыл глаза и смотрит, как новорожденный. А у меня в руке его слепая кишка... Что это у вас так холодно в бане, сверху дует, снизу дует... Так вот, об Охе. Сейчас нет в Охе ни одного цынготного. Женщины жалуются на то, что слишком часто беременеют. „Климат“,—говорю я им, что же мне еще сказать? Уезжая из Охи, я сказал охинцам: „Приезжайте ко мне в Ноглики“. „А что это за Ноглики“,—делают они вид, что не знают. „А Ноглики,—отвечаю я им,—это город. Мы выстроили его для туземцев“. „А дома,—спрашивают,—там есть?“ „Есть,—отвечаю,—выстроили дома, да вот беда, жители и не хотят жить в домах, не привыкли. Живут в палатках. Вы бы хоть приехали, поучили их жить в домах“.

Веселый человек этот доктор, свой парень, чудак, право, чудак.

Из бани отправились в столовую—пить чай. Доктор играл в шахматы и ковсем придирался.

— Вот вы, пионеры, скватеры или как их там называют. О ваших делах Брет-Гарт будущий напишет или новый Майн-Рид. А многое ли вы знаете о своем крае? Ну-ка, Михаил Сергеич Горбунов, скажите-ка мне, кто открыл наш остров и в каком веке?

— В XVI веке открыли, а кто?—не помню. Не то какой-то адмирал, не то генерал... Колумб открыл...

— Ну, брат, ты Сахалин с Америкой спутал. В XVI веке о Сахалине и не подозревали.

— А вы что, экзаменовать нас приехали? Вы ко мне придираетесь,

думаете, вошь нашли, так совсем угробить надо человека. Ваше дело спросить, не болит ли что у кого. У меня, например, в руках ломота. Печень болит.

— Вы бы насчет девочек позаботились. А то здоровье и красоту здесь оставим, а приедем на материк, нам и скажут: „Откуда это пригнали стариков?“

— Вы бы нам, доктор, совет медицинский дали. Как это—на здоровье отражается или не отражается?

— Что?

— Да то, что мы здесь, а они там...

— Кто это они?

— Да люди другого пола, по-ученому сказать, а говоря просто: бабы.

— Это вас всех интересует?

— Да нет, Омелькина в первую очередь.

— Товарищи, это вопрос серьезный. Шутить не надо,—сказал доктор.—На здоровьи это не отражается. А на работе—да. Я буду в Александровске, вопрос этот поставлю. Года через полтора...

— Долго ждать.

— Года через полтора я уже буду у вас не в качестве доктора, а приеду на октябрины...

— Вы сначала на свадьбу приезжайте. Вам бы только детей принимать да октябрить.

Доктор задумался.

— Шутить вы любите. Мы тоже шутить любили. Только шутка у нас застыла на губах, когда нас привезли сюда. Я сюда на Сахалин первый раз в трюме приехал. Моря и того мне не показали. Всю дорогу видел ноги, спины, руки. Спины эти чесались о спины. Так тесно было. Какая-то каша из людей, мешков и железа. Когда пароход покачивало, нас швыряло друг на друга. Когда нас выгнали на палубу, ко мне подошел худощавый человек с красивыми грустными глазами. У него был вид болезненный и слегка небрежный. Он спросил меня тихим, печальным голосом: „Говорят, среди вас есть врач?“ „Да, ответил я, врач—это я“. Он взглянул на меня и скорбно мне улыбнулся. Я подумал, что он нуждается в моей помощи. „Очень приятно“, сказал он мне, и вдруг его всего свело; словно от падучей, он пошатнулся, и в следующую секунду я почувствовал боль; я даже сразу не понял, что человек меня ударил. А человек посмотрел на меня и сказал, облегченно вздохнув: „Ну, вот, и я с доктором познакомился. Всех отведал. И студентов приходилось, и инженеров, и фельдшеров, а доктора все не было и не было. Я по доктору давно скучал“. „Параноик“, подумал я себе в утешение. Это был первый сахалинский человек, которого я встретил, смотритель Сморчук.

— Попади мне этот Сморчук,—перебил доктора Мишка Горбунов,—я бы сделал из него сморчок.

— В это время,—продолжал доктор,—с берега подул ветер. У меня закружилась голова. Я увидел три скалы в море—„Три брата“ и остров, залитый солнцем, и небо, и горы, такие же первобытные, как на берегу Байкала, и я забыл об этом человеке. Нас высадили на берег и повели мимо всей этой красоты, мимо деревьев, мимо реки, мимо гор, покры-

тых синими деревьями, прямо по траве, только вышедшей из земли, по ручьям и земле, пахнувшей талым снегом, прямо по весне нас вели в тюрьму.

У этого доктора слов бы нашлось на целый год, год бы он мог проговорить, а слушателям показалось бы, что прошел не год, а час. Лесорубы не заметили, как пришла полночь.

Иван Павлович своей жизнью коснулся многих городов, людей, народов, стран. Но из всех народов сердцу доктора ближе всех был маленький нивхский[1] народ. Из всех „стран" роднее всего страна Сахалин.

В своей стране он знал каждую тропу, каждую речку, он знал чуть ли не каждого гиляка по имени, в каждом доме у него был друг или враг. Однажды его спросили о его национальности, нужно было заполнить какую-то анкету.

— Русский, разумеется,—ответил он и рассмеялся.—Пишите, что и гиляк, также и тунгус и орочен. Пожалуй, больше всего гиляк.

Больше всего он не любил, когда Сахалин называли островом. Остров это что-то замкнутое, отдельное, а советский Сахалин связан со всем Союзом.

— От Москвы Сахалин дальше всех,—говорил он.—А связан с Москвой, может быть, больше, чем какой-нибудь подмосковский городок. Если мне нужно, я прямо с Москвой разговариваю, или с Хабаровском.

Один раз он до того договорился, что стал утверждать и настаивать в правоте Лаперуза, который считал Сахалин полуостровом.

— Географически он был не прав,—утверждал Иван Павлович,— а фактически его слова сейчас оправдались.

Не любил он также название „Сахалин".

— От этого названия каторгой пахнет,—говорил он,—Сморчуком.

Приехав сюда в поселок к лесорубам, казалось, он привел за собой сюда весь остров, у него можно было узнать о жизни каждого угла, и что сейчас в Москве, и как в Донбассе или Николаевске-на-Амуре, на земле Франца-Иосифа, со всеми он переписывался, везде у него были знакомые или друзья.

Послушать Ивана Павловича, так можно подумать, что у него знакомые и друзья были и сто лет назад и на тысячу лет раньше; об Иване Грозном он рассказывал так свободно, словно жил с ним в одном дворце и по утрам приходил к нему щупать пульс.

Должно быть, не так часто Ивану Павловичу попадались такие слушатели, как наши лесорубы.

От времен исторических он перешел к временам доисторическим и дошел до Мезозойской эры.

— А люди в ту пору жили?—спросил Воробей.

— Нет, людей еще не было.

— А раз не было людей, значит, неинтересно. Вы бы лучше про людей.

---

[1] Гиляцкий.

Воробья интересовали только люди.

- А звери там какие-нибудь жили?—заинтересовался Кешка-мотористт.

— Зверей не было. Обитали ящеры величиною с пароход. Полузмеи, полу еще что, в общем пресмыкающиеся.

- А наши предки где в то время жили?

— Это и есть наши предки.

- Нет,—вмешался Мишка Горбунов.—Это клевета на нас. Еще на обезьян соглашусь. Не соглашусь, чтобы ящерицы были наши предки. Я думаю—это буржуазные ученые выдумали, чтобы человека оплевать.

В заключение Иван Павлович возвратился к излюбленной теме.

Относительно гиляцкого народа у него была своя теория.

Гиляки, по его мнению, были народом очень древних времен, случайно уцелевшим. Гиляцкий язык не был похож ни на один из существующих на земле языков.

- Судя по множеству диалектов,—говорил Иван Павлович,—народ этот некогда был очень большой. Сейчас их осталось всего четыре тысячи.

Иван Павлович был убежден, что народ этот со временем станет большим народом.

— Вот человек этого народа,—показал он на Ланжеро.

Лесорубы окружили Ланжеро.

— Ну, древний человек,—сказал Воробей и зевнул,—идем-ка спать.

За окном среди поблекших звезд светила белая, почти дневная луна. Ночь переходила в утро. Над рекой был туман.

Перед отъездом из поселка доктор собрал в клуб лесорубов и устроил сеанс одновременной шахматной игры.

— А ты что, Ланжеро, стоишь?—спросил Иван Павлович.—Не умеешь?

- Не умею.

Иван Павлович сделал ход слоном, поправил очки и, посмотрев на всех, сказал:

В следующий мой приезд он должен мне сделать мат. Не то вам всем будет мат.

Глава тринадцатая

Из всех русских слов Ланжеро больше всего нравилось слово: Москва.

Он часто слышал это слово. Из всех городов Москва была самый большой город.

В Москве живет великий человек Сталин. Из Москвы во все края едут люди. Все люди идут в Москву.

В Москве учится та девушка, голос которой в ящике, а „лицо“ в записной книжке в левом боковом кармане у Воробья.

Ланжеро много раз хотелось спросить у лесорубов о Москве. Но всякий раз, когда он спрашивал у них о Москве, они смеялись.

— До Москвы,—говорили они,—далеко.

В клубе на стене висела бумага величиною со шкуру оленя. Ланжеро очень нравилась эта бумага. Она была вся в разноцветных пят-

нах—синих, розовых, зеленых, желтых, в извилистых линиях, похожих на жилы оленя.

Ланжеро долго стоял перед этой бумагой.

— Что,—спросил его Кешка-моторист,—что смотришь на нее, узнал?

— Нет, не узнал.

— Как же ты мать свою не узнаешь? Это наша общая мать, матушка-земля.

Ланжеро сначала не поверил: как же она поместилась на бумаге, неужто она такая маленькая—земля?

Кешка ткнул пальцем в самый конец карты.

— Вот это место, мы тут с тобой стоим. Это Сахалин.

Ланжеро посмотрел и обрадовался. Он узнал остров, остров походил на нерпу, узнал Лангри. Значит, Кешка не врал: это в самом деле была земля.

— Где же Москва?—спросил Ланжеро.

Кешка показал. Смерив пальцем расстояние от Сахалина до Москвы, он сказал:

— От нас до Москвы приблизительно десять тысяч верст.

Ланжеро стало грустно. Между ним и девушкой было десять тысяч верст.

Первое слово, которое Ланжеро прочел сам, было слово: Москва.

Он часто подходил к карте, чтобы прочесть это слово.

Между ним и Москвой было десять тысяч верст.

Думая о Москве, Ланжеро думал и о девушке. Он не знал ее имени. Может быть, ее тоже звали—Москва.

Встречаясь с Воробьем, Ланжеро смотрел ему на грудь, в то место, где отопыривался карман. В кармане была записная книжка, в книжке лежало ее лицо. „Хоть бы посмотреть еще раз“,—думал Ланжеро.

Но Воробей редко пользовался записной книжкой.

Ночью Ланжеро просыпался от внезапного желания. Ему хотелось встать и пробраться в комнату Воробья, взглянуть на ее лицо и положить книжку обратно в карман.

Воробей приучал себя смотреть на себя, как на других, со стороны.

Ему казалось, что он всех знает и каждому может составить подробную характеристику, а себя самого он знает меньше всех.

В порядке самокритики он записывал в свою карманную книжку все свои пробелы, которые нужно ему восполнить, и самым большим своим пробелом он считал собственный характер; ему казалось, что он недостаточно внимателен с людьми, что у него со всеми легкие полутоварищеские, полуделовые отношения, но настоящих, глубоких дружеских отношений он не сумел наладить, что он перебрасывается с ребятами замечаниями, словами, шутками, а поговорить, как следует по-душам, он ни с кем не успел.

Воробей жил другими. Казалось, убрать двести других, оставить его одного, и он не сможет жить, задохнется от безысходности, от отсутствия воздуха, воздуха других людей.

— Гениальная книга,—отзывался он о Робинзоне Крузо.—Но книгу писал купец. Капиталист писал. Я не выдержал бы на месте этого Робинзона, пришел бы к людоедам и сказал им: ешьте, если хотите, но не могу жить один. Лучше уж в людоеды меня принимайте.

Воробей был из породы тех людей, которые, слушая вас, вбирают вас в себя целиком. И вы не знаете, где он и где вы. Он живет и вашей жизнью. Лучшего собеседника, пожалуй, трудно представить. Слушая, он никогда не перебивает, чтобы напомнить о себе, чтобы отвлечь человека от него самого.

— Ну, что пишут?—спрашивал он.

— Пишут. Зовут. Скучают.

— А ты напиши им, что не стоит скучать. Летом поедешь в отпуск, увидишься. Щенюк, у тебя хворала сестра? Поправляется?

— Плохо.

— А ты направил бы ее на юг, послал бы ей деньги. Как с деньжатами у тебя?

— В одном кармане ветер. В другом табак.

— У меня тоже зима в кармане. Карманный туберкулез. Вот ведь как! Ну, подумаем. Заходи. Средство найдем.

Молчание.

— Щенюк, ты наверное будешь писать сестре. Напиши привет от меня. Мол, секретарь просит поправляться, следить за собой. Очень, мол, просит.

Воробей жил только людьми, словно мир состоял из одних людей; вещи и животные, реки и горы, природа и ее красоты существовали постольку, поскольку они были нужны людям.

К красотам природы он относился даже подозрительно.

— Видишь, как расписало закатик,—говорил он.—Быть большому ветру. Я знаю, что значит такой закат.

В тяжелые дни и минуты Воробей был нужен всем лесорубам. Бывали нелегкие дни. Ребята чувствовали себя отрезанными от мира. Работа была трудна и не всегда радовала сердце. Все лес и лес, комар и кочки; так можно разучиться ходить; приходилось вязнуть в болоте, жить в сапогах, полных грязи, проваливаться по живот, зимой промерзала одежда; случалось, что рубаху не снимешь, не стянешь с ног штаны, нужно обламывать по кусочкам как лед; пальцы не слушались, их было не согнуть; ночь коротка, а утром снова в лес, снова в болото—руби, пили, носи, вози лес без конца. А, главное, не было видно результатов. Бревна—вот и все. Какие же это результаты?

Лесорубы иногда не верили в необходимость своего труда.

— Счастье не в бревнах,—говорили они,—в лесу и на материке довольно.

Вот тогда-то без Воробья нельзя было обойтись.

Он был даже мечтателен, этот Воробей, как ни странно.

— Пустяки, бревна сами по себе,—говорил он.—А сколько в них скрыто радости, чего только из них нельзя смастерить!

За деревьями он видел тех людей, для счастья которых их рубят.

— Представьте себе,—говорил он,—какие строят сейчас города. Это вы, это мы с вами строим. Ребенок держит в руке игрушку. Это мы с вами ему подарили. Молодожены привезли чудесный шкаф и лю-

буются. Это мы дали им дерева на шкаф. Что может быть лучше детской и человеческой радости? А для нашей радости не рискуют разве моряки, летчики, рыбаки в море? Как по-вашему? По-моему рискуют.

В леспромхозе он носился с каждым человеком. Все, по его мнению, все были „без пяти минут"—кто Карузо, кто Капабланкой, кто Водопьяновым, кто Менделеевым, кто Колумбом, а кто просто прохвостом.

Есть сволочи,—говорил он,—но неспособных людей нет.

Он угадывал каждого, казалось, знал каждого больше, чем тот сам себя. Он всех подбадривал и подначивал. В одном он открыл артиста, в другом будущего инженера, только перед Ланжеро он растерялся.

— Подожди, парень,—сказал он ему,—поживи. Я тебя еще не вижу.

— Как так?

— Очень просто. Поживи, поучись, поработай у нас. Нас поучи работать. Куда тебе спешить?

В этот вечер Воробей был наедине с самим собой.

Он ходил из угла в угол. Нельзя сказать, чтобы он был очень собой доволен. Вчера уехал Иван Павлович—доктор.

Перед отъездом они долго беседовали; доктор по обыкновению шутил, смеялся; но Воробей знал, что доктор никогда не шутит напрасно; обещал доктор прислать из Александровска инструктора—учить лесорубов летнему делу; многим недоволен остался доктор, упрекал Воробья, что живут они по-старинке, как в „двадцать третьем году",—теперь так не живут.

В заключение сказал он Воробью скороговоркой:

— Всем ты хорош, парень. Но перегибаешь палку. Для себя мало оставляешь. Надо не только людям радоваться; и ко всему найти в себе радость—и к птицам, и к закату, и к речке, вот этой необыкновенной. О себе, о девушках надо больше думать. Силы в тебе много, а одного я боюсь...

Доктор усмехнулся и погрозил ласково пальцем:

— Смотри, не состарься к шестидесяти годам!

Воробей долго ходил из угла в угол. Ударил себя по карману, по тому месту, где была записная книжка, и вдруг рука испугалась: карман был пуст.

Воробей стал вспоминать, где бы он мог ее оставить или выронить, в каком месте. Ему представилось, что книжка попалась кому-нибудь из ребят, например, Омелькину...

Воробей испугался.

— Что ты гимназистка,—сказал он себе,—потерявшая дневник, что ли? Пусть себе ржет Омелькин. Начхать!..

Когда Ланжеро вызвали к Воробью, он подумал: „Дело неладно, догадался Воробей, что у него книжка, догадливый человек".

— Ну-кось, садись, побеседуем,—Воробей показал на стул.

— О чем будем говорить?

— О себе будем говорить, о тебе.

Ланжеро посмотрел на Воробья: секретарь был сердитый, хмурился.

„Ясное дело, догадался Воробей, что книжка у Ланжеро. Может быть, отдать, признаться. Нет, уж пусть лучше берет силой. Не отдам".

— Ну, что ж...

— Я что! Мне тут хорошо. Народу много. Коня мне дали... Коня я сначала не любил. Не было привычки. У нас в Нань-во Ызь на коне сидел, Низюн. На коне он выше всех был. Все на собаках. Очень гордился.

Ланжеро остановился. „Ясное дело,—подумал он,—сейчас он мне скажет: ты мне о коне не говори, а книжку мне отдавай, сестру".

— Ты о коне после,—сказал Воробей,—и о работе после. Ты о своей жизни расскажи. Твоя жизнь на нашу непохожа. Не торопись. Чай пить будем. У нас время много. Ты о себе расскажешь, потом я тебе о себе расскажу.

Ланжеро посмотрел на Воробья и усмехнулся.

„Хитрый,—подумал он,—сначала про жизнь спрашивает, а потом скажет: „Книжку-то мою отдавай. Зачем взял? И сестру отдавай".

— Что рассказывать? Я родился в стойбище Тальво-тигр-во. Мой отец из рода Лесгран, перевести, шалаш будет, на который кладется медведь. Род на две части делился. Богатая часть рода называлась Рафтан, в переводе: кладбище. Кладбище у нас почитается, туда кладут богатство. Бедная часть рода Отх-тан. Переводить не стану: нехорошее слово. Обе части рода вымерли, остались только отец и я. Мы в Нань-во убежали на чужих собаках. Когда отец приносил убитую нерпу, я радовался: мясо будет. Когда зима приходила, я прыгал, зиму любил. Зимой все другим становилось. Гора покрывалась белой шкурой. Река твердой делалась. Низенькие деревья как зверьки становились пушными. Мы из снега зверей разных лепили, медведя, белку лепили, морских уток лепили, мор-зверя, нерпу лепили, потом мы стреляли из лука в этих зверей. Звери рассыпались. Когда я стал немножко побольше, отец взял меня в море, дал мне гарпун и сказал: „Твой день. Скоро ты меня кормить будешь. Нерпу бей". Мы сели в лодку. В море было много нерп. Когда подошли ближе, я бросил гарпун, но не попал в нерпу, задел только, поцарапал. Отец убил трех нерп. Когда мы вернулись в стойбище, отец мой сказал старикам: „Это Ланжеро убил, он у меня хороший охотник". „Врешь, сказал я отцу, это ты убил, я не попал". Люди стали смеяться над моим отцом. Когда я подрос, я нарты научился делать. Из дерева я мог все сделать, что видел. Я думал: неживые вещи я делаю. Нарты мои сами не побегут. Лодку мою шестом подталкивать надо, веслом грести. Я думал: неужели человек не может сделать вещь, которая как живая была бы, чтобы сама бежала? Ветер у нас злой. Неужели, думал я, ветер нельзя запрячь, вместо собак? Много думал я, много делал. Не получалось. Люди смеялись над моей работой. „Уроды, говорили они, уродов строишь, сани твои уроды". У вас колесо увидел, обрадовался. Простая вещь, хорошая. Машины ваши сначала не понравились мне. Тяжелые очень. Я легкие вещи люблю. Когда я про самолет услыхал, „вот, подумал я, полечу скоро".

А куда бы ты от нас хотел улететь?—усмехнулся Воробей.

Ланжеро взглянул на Воробья и, не отводя взгляда, сказал:

В Москву.

Ланжеро вышел.

Оставшись один, Воробей подмигнул сам себе и сказал:

— Весь парень, как на ладони. До чего честный и прямой человек, отцу и тому отрубил: „Врешь, отец“.

Выйдя от Воробья, Ланжеро остановился.

„До чего хитрый парень,—подумал он,—до чего хороший, весь вечер проговорили, а про книжку не спросил. Значит, не нужна ему книжка“.

Ланжеро достал из-за пазухи книжку Воробья и вынул карточку. Он увидел девушку со смеющимся ртом и прищуренными глазами, должно быть, ей в глаза попало немножко солнца.

— Москва,—сказал Ланжеро.

Глава четырнадцатая

Ланжеро получил зарплату. Он расписался, нацарапал свое имя. Это его так увлекло, что он нарисовал лиственницу и хорька с пушистым хвостом. Кассир вырвал у него из рук ведомость.

— Что ты делаешь?

— Ничего, Шемякин. Я пишу плохо. Вот я и нарисовал.

Ланжеро растерялся,—столько теперь у него было денег. Сначала он рассовал их по карманам, потом собрал их и завязал в платок.

До кооператива было недалеко. Там он купил себе все необходимое для жизни здесь, в поселке, без чего он обходился в Нань-во.

Продавец, увидя Ланжеро, рассердился.

— Надо уметь покупать,—сказал он,—на материке ты за все бы заплатил в три раза. Да там и товара такого нет.

— Я не был на материке.

Ланжеро не знал, с чего начать. Ему нужно было белье, и костюм, и ботинки, и шляпа.

Шляпы не оказалось.

Ланжеро примерил синий шевиотовый костюм. Продавец помог ему завязать галстук.

— Ты теперь не тот Ланжеро,—сказали толпившиеся в лавке лесорубы. — Ты теперь не Ланжеро.

Один из лесорубов дал Ланжеро карманное зеркало. Ланжеро взглянул на себя. Теперь он был, как они. Он подмигнул своему отражению и улыбнулся.

— А это что?—сказал Омелькин и схватил Ланжеро за косу.

Коса теперь была лишней, даже смешной.

„Нет,—подумал Ланжеро,—не хочу. Не дам стричь. Не дам, вот и все“.

Он увидел шелковый платок. Платок этот был женский, почему его сюда забросили, неизвестно. Ланжеро платок купил.

Ему понравился футляр от ручных часиков. Часов в магазине не было, и Ланжеро не имел часов, но футляр он купил. Он купил зонтик. Ему объяснили его назначение. Купил безопасную бритву, хотя ему пока еще нечего было брить. Он увидел забавную вещь, дорожную ложку.

— Дорогая?—спросил он.

— Нет, недорогая и удобная,—ответил продавец,—насыпал в нее чай, положил в стакан и помешивай. Заменяет чайник.

Ланжеро купил эту ложку.

— Правда, удобная, — сказал он.

Он купил флакон одеколона, рюкзак, чемодан. В чемодан положил купленные галоши, купил клетку для птицы. Птицу он поймает.

— А я думал, сгниет эта клетка. К нему бы ее приспособить,—сказал продавец,—никто даже не спросил цену. Смешно сказать: клетка, птичья тюрьма. А на что тюрьма, когда и птиц нет певчих. Забрасывают сюда всякий сор. Я уж там им писал. А ведь вот оказалась нужна.

Он подмигнул.

— Птиц будем ловить,—сказал он Ланжеро. — Петь будем.

— Будем, — согласился Ланжеро.

Ланжеро купил ночные туфли и календарь. Взял крем для обуви, щетку, маленький электрический фонарь.

Вышел зав.

— Вот это покупатель,—сказал он, восхищенный.

Вытащил из чехла и показал Ланжеро ружье. Ланжеро поднял ружье, взвел курок и прицелился. Это было двухстволыное ружье, но в середине был еще маленький стволик. Он заряжался пулей.

— Английское, по случаю,—сказал продавец,—советую.

— Сколько?—хрипло спросил Ланжеро.

— Недорого. Отдам за девятьсот.

Денег у Ланжеро больше не осталось ни копейки.

— Может быть, возьмешь, что я набрал, обратно? Уступишь ружье?

Зав задумался.

— Хорошо,—сказал он,—бери в рассрочку. Понял? Это только для тебя делаю. Не было у нас еще такого покупателя. Неси домой.

Ланжеро связал все в один большой узел, ружье за плечи и пошел в общежитье домой. Каждую вещь он трогал, примерял, пробовал, смотрел на нее и радовался, как ребенок. У каждой вещи был свой запах. Ланжеро развернул зонтик, примерил ночные туфли. Фонарик действовал отлично. Ланжеро радовала не столько сама вещь, сколько ее назначение, стоит нажать рычаг и станет светло. Фонарик ворчал, как зверек. Через вещи Ланжеро узнает, как живут там, в Москве. Это же московские вещи. Зонтик, туфли, клетка—их же употребляют в Москве. Через знакомство с этими вещами он приобретет новые привычки, приобщится к своим новым товарищам. По утрам будет чистить зубы. Почистив штиблеты, наденет костюм, подвяжет галстук, выйдет и скажет, как Прыгуновы:—Ауфвидерзейн.

Лесорубы, соседи по бараку, осмотрели покупку.

— С обновкой,—говорил они. И по-мальчишески наступали на новые штиблеты, дергали Ланжеро за рукава нового костюма. Уж на что хмурый человек Чижов, и тот развеселился вдруг:

— Костюм-то ты купил, и галстук,и все остальное. А где же нижнее белье?

— Забыл, — сказал Ланжеро.

— Деньги-то у тебя остались?

— Нет. Денег больше нет.

— На что же ты будешь жить?

Ланжеро уснул среди своих вещей крепким сном. Так он спал в детстве.

Его разбудил крик. Что-то упало.

Ланжеро вскочил.

— Сволочи!—услышал он.

Голос был знакомый — голос Воробья.

Через минуту влетел Воробей. Вместе с ним был и зав и продавец из кооператива.

— Сволочи!—кричал Воробей.—От вас Николаем Романовым пахнет. За такое дело бьют морду.

Лесорубы сбежались, прибежал Кешка-моторист, Омелькин, Мишка Горбунов. Откуда-то выпрыгнули Прыгуновы.

— В чем дело, Воробей?

Посмотрите на этих мерзавцев,— показал Воробей на зава и продавца.—Заманили Ланжеро и всучили ему все, от чего не могли избавиться три года. Недоставало, чтобы они его подпоили. Это дело судом пахнет. Я думал, что у меня в кооперативе работают комсомольцы, а там, оказывается, мошенничают купцы.

Поосторожней на поворотах, Воробей,—сказал зав,—меня трогай. А советскую торговлю не задевай.

— Это свой поступок ты называешь советской торговлей?

— Да он же не маленький, сам брал.

— А вы где были? Вы же комсомольцы, а не купцы!

Воробей подошел к покупкам Ланжеро и взял клетку.

— Ну, зачем ему эта вещь?

— Это покупателю знать.

— Да поймите вы, купцы, что он первый раз видит эти вещи, что завтра они ему наскучат, что в этих вопросах он ребенок... Эх, купцы вы, купцы...

Ланжеро понял, что случилось что-то неладное и что вещи у него сейчас заберут.

Глава пятнадцатая

В Москве три миллиона жителей,—узнал Ланжеро.

Чтобы добраться до Москвы, нужно много пройти городов, городов тридцать, не меньше. Нужно сначала пройти до Охо-города, в Охе сесть на пароход—лодку-гору, проехать море до самого города Владивостока.

Во Владивостоке возле города стоят такие дома, не очень бальшие, на тяжелых колесах! Ждут. Первый дом закричит, и дома побегут, а в домах полки. Ланжеро будет лежать на полке и смотреть в окно.

Дома добегут до самой Москвы в восемь дней. У домов этих смешное название: поезд.

— Пояс?—переспрашивал Ланжеро.

— Нет, поезд,—повторяли лесорубы и смеялись.

Ланжеро знал, что в Москве ходит полмиллиона девушек, а может, и больше. Он думал, „свою“ он сразу найдет, в толпе ее отличит и подойдет к ней. А что вот скажет?—он не знал. Много думал об этом, но не мог придумать. Что-нибудь да уж скажет, когда встретится, не может быть, чтобы у него не нашлось слов.

Ланжеро строгал кусок дерева, из дерева хотел сделать смешного человечка, чтобы нос был у человека, чтобы рот был у него, чтобы мог человечек сидеть или стоять, хитрого такого человечка.

— Игрушку делаешь?—сказал Воробей.—Детей нет. Кто играть будет?

— Руку испытываю. Давно из дерева ничего не делал. Я хочу сделать такого человечка, чтобы как живой был. Мне нерпу хочется из дерева вырезать. Я пень видел, очень похожий на нерпу. Иногда думаешь о чем-нибудь, мечтаешь. И вдруг захочется, что думал—из дерева вырезать или из кости. Когда я был небольшой, года четыре мне было, я себе брата из снега вылепил. Очень мне брата хотелось. Думал, брат этот мне товарищем будет. Будем мы вместе с ним играть. Рыбу ловить будем. Рыбу из снега вылепил. Жалко мне стало оставлять брата. Думал, ребятишки могут унести. Собаки повредить могут. Взял я брата в юрту, оставил его возле дверей. Утром проснулся. Про брата забыл. Отец говорит мне: „Вставай, чай пить. Очень густой сегодня, вкусный чай". Стал я чай пить, вспомнил про брата. Жалко, думаю, брат мой чай пить не может. Растает. Подошел к двери, а брата и нет. „Где брат?"—отца спрашиваю. „Какой брат?" „Из снега брата, я тут его вчера оставил". „Нету брата,—отец сказал мне,—ты его пьешь. Я утром снег увидал у дверей, я его в котел бросил, скипятил". Теперь бы я брата не оставил у дверей.

— Сделаешь нерпу,—сказал Воробей,—подари мне. Я ее сестре пошлю. Моя сестра в геологическом институте учится. Я в Москву пошлю твою нерпу.

Ланжеро вздрогнул.

— Дерево хорошая вещь. И кость тоже,—сказал Ланжеро.—Но из дерева или кости радость трудно вырезать, горе сделать. В другой раз в тайгу выйду: снег, следов много, горностай пробежал, куропатка улетела, на горе солнце, уж другое, под снегом уже шевельнулась земля, с лиственницы упал ком снега и заблестел, точно белка прыгнула, в реке лед стал тоньше, рыбу подо льдом видно, топнул я ногой, а рыба, глухая, не слышит меня; с моря подул ветер, теплый ветер, другой, пахнет ветер мхом, речными камнями, тающим снегом, из другого края ветер, где река уже очистилась. Где-то девушка вяжет сети. Разве скажешь об этом деревом, вырежешь это из кости? Петь надо. Петь я не умею.

— Откуда ты?—спросил Кешка.—Вот и хорошо. Ты мне поможешь шуруп нарезать. Винт запропастился. У меня машина стоит. Тоскует. Придумаем что?

— Придумаем.

Ланжеро рад был. Давно руки сидели без дела. Возить лес—это скорее для ног дело, чем для рук. Идешь себе, шагаешь, конь себе везет. Хороший у Ланжеро конь. В кузнице не было кузнецов. Кузнецы отдыхали. Ланжеро устроился, как хозяин. Развел огонь. Зашумели меха.

— Ну-ка, помогай ка мне, Кешка. Не стой.

Он нарезал винт. Руки разохотились, обрадовались работе. Ланжеро увидел в углу железо ржавое, хлам. Ему пришло в голову сделать маленькую вещь, совсем пустяки.

Что это ты мастеришь?—спросил Кешка.

Да так. Увидишь,—ответил Ланжеро.

Он снял рубашку и ковал,—так разошелся. Кешку даже бросило в пот. А ему, Ланжеро этому, ему все мало, вот как расходился парень.

— У-ух!—говорил Ланжеро и причмокивал.

Кешку это рассмешило.

- Жалко, что воды здесь нету близко студеной. Вот бы вылить на тебя ушат.

— Лей, хоть целую реку. Я холодной воды не боюсь.

Кешку бросило в жар, он выжал из рубахи пот, но Ланжеро его не отпускал. Он словно сошел с ума, точно сам дух работы в него вселился, ковал, ухал и усмехался.

— У-ух!—говорил Ланжеро,—пропадешь ты сегодня со мной, Кешка, поту в тебе нехватит.

— А я думаю, ты скорей убежишь. Руки-то твои здесь. А одна нога уже там.

Ланжеро сделал несколько железных крючков. Кешка сделал вид, что понял, для чего эти крючки. А Ланжеро все подымал молот, ковал.

— У-ух!—говорил Ланжеро.—Ну, что, Кешка, устал?

— Сознайся-ка, сам устал.

Ланжеро подходил к токарному станку, выпиливал, отделывал свои детали.

„Вот чорт,—думал Кешка,—не даром он сюда в свободное время ходил".

Кешку тянуло к машине, машина стоит без дела, да и время рабочее кончилось, день прошел, пора бы и в общежитие, выпить бы чайку, закурить, вытянуть ноги и сказать:

— До чего есть хорошие девки на материке. Вот через год съезжу. Выберу себе одну, и она меня выберет. Не ошибемся. Жизнь вся впереди.

Кешка тронул Ланжеро за плечо.

- Эй! Ланжеро! До чего у нас на материке есть хорошие девушки!

— А? Что?

— Девушки, говорю, хорошие есть.

– Девушки?—Ланжеро обрадовался.—Где девушки?

- На материке девушки.

- Далеко,—сказал Ланжеро,—разве ближе девушек нет?

Ланжеро вспомнил, как в лесу он услышал голос. Он шел на песню. Думал—вот-вот он эту девушку увидит. Падал, вставал и шел. Пришел: песня есть, а девушки нет. Зачем ему песня без девушки! Ланжеро вздохнул. Кешка рассмеялся.

— О девушке все. Думаешь, я не понял твой вздох?

Ланжеро еще раз вздохнул. Девушка ему снилась. Он знал приблизительно, какая она. Во сне разве увидишь точно. Была и нету. Она такая, как их сестры, этих ребят, только гораздо лучше. Лесорубы не раз показывали ему фотографии своих сестер. Омелькину только нельзя было показывать.

— Вам сестры,—говорил он,—а мне они жены.

Ланжеро часто слышал голос своей девушки. Думал о ней. Только никому не говорил. Как скажешь об этом другому? Вот ей самой, ей, может быть, он бы сказал.

— Задумался,—обрадовался Кешка,—может быть, чай пить захотел?

А Ланжеро, казалось, забыл о том, что темно на дворе, что ужин уже остыл. Железо у него кричало, радовалось. А он все нажимал и нажимал.

Кешка думал с тоской: хоть бы пришли кузнецы, спят, верно, хоть бы поругали за самовольный захват кузницы, хоть бы погнали отсюда нас. А Ланжеро ухает себе, кует, словно сердится на железо, лупит и лупит. Кешку он просит то углей подкинуть, то мех посильнее раздуть.

— У-ух!—говорил Ланжеро.—Ну, как, не устал еще, Кешка?

— Жив еще,—отвечал Кешка,—кому другому, а тебе не сдам.

Кешка взглянул в угол: а железа там еще было много.

— Отпусти меня, Ланжеро,—сказал тихо Кешка,—и себя освободи. На сегодня хватит.

— Что ты сказал?—не расслышал Ланжеро.

— И не думал. Ничего я не говорил.

А Ланжеро этому рад. Вот притворяется, что не слышал. У самого слух, как у зверя. Кешка даже рассердился. Что он не из такого, что ли, материала, усталость почему его не берет?

— Эй, Кешка!—спросил Ланжеро.—Не знаешь, Прыгуновы рыбу любят?

„К чему это?“—подумал Кешка.

— Который Прыгунов?

— Оба.

— Рыбу—не знаю,—буркнул Кешка.—Баб они любят. Герои, как мы все.

— А Воробей любит рыбу?

— Зачем это тебе? Откуда я знаю? Воробей людей любит. А людей не едят.

— У-ух,—сказал Ланжеро.—А ну, еще немножко. А ну, еще.

— Еще. Так, еще.

Когда они вышли из кузницы, Ланжеро предложил Кешке бежать взапуски. Ну и чудило! И, не дождавшись ответа, побежал; чтобы не отстать, Кешке пришлось бежать за ним. Ланжеро обежал дом и, крадучись, вернулся в кузницу. Он думал, что Кешка не побежит за ним, но Кешка не отставал.

Ланжеро сказал Кешке:

— Ты иди, отдыхай. Мне что-то неохота. Пьян я, что ли?

„Ага! Хочешь смыться незаметно“,—подумал Кешка.

— Смеешься,—сказал он,—не на такого напал.

Ланжеро вытащил раскаленную полосу и ударил, легко и сильно, точно в первый раз. Ударил, а потом еще и еще.

— Ночь скоро уйдет,—сказал Кешка, — а что ты творишь—не догадываюсь. Тоже творец!

— А я и сам не знаю, получится или не получится. Новое дело, как песня. Первые слова знаешь. А дальше идешь ощупью. Может, и не выйдет у меня ничего.

— А смеха моего не опасаешься? Ночь-то, думаешь, бессонную я тебе прощу? Вот уж посмеюсь.

— Иди спать. Я один как-нибудь.

— Что, уже испугался?

Ланжеро пытался взять хитростью. Он сделал вид, что ему очень хочется спать. Широко зевнул.

— Пойдем-ка лучше спать.

— Что ты сказал, Ланжеро?

— Спать, я сказал.

Пошли, легли, уже светало. Спали они рядом. Только легли, а Ланжеро уже встает.

— Ты куда?—поднимается и Кешка.

— Во двор.

— И я во двор.

— Ты куда, Ланжеро?

— В кузницу. Забыл я рукавицы.

— И я туда же. Тоже что-то забыл, не помню что.

Вот они опять в кузнице.

— А все-таки, Ланжеро, вразуми, объясни, что ты делаешь?

— Человека хочу немножко облегчить. Человеку трудно. Коню хочу помочь. Жалко коня. Придумать хочу. Одну вещь. Попробовать.

— Ну, человека и без тебя облегчают. Коню автомобиль помощник. Это дело инженера. Какой из тебя инженер?

Все же не выдержал Кешка, сдался, согласился, пошел спать. Он бы не ушел, если бы думал, что Ланжеро что-нибудь нужное делает, ремонтирует, скажем, машину, или даже пустяк, но нужный пустяк—ручку для дверей, а то тратит себя человек, кует неизвестно что: железо не слова, из железа песню не споешь. Ушел Кешка спать.

„Завтра выходной,—думал он,—отосплюсь".

Утром Ланжеро разбудил Кешку. Ланжеро даже шатался не то от усталости, не то от радости.

— Вышло,—сказал он,—сделал. Эта штука для облегчения. Вроде машины. Подъем бревна облегчит. Трудные у вас, толстые бревна.

— А рыба на что?—спросил Кешка, увидев в руке Ланжеро связку продетых за жабры рыб.

— Рыбу передай Воробью и ребятам. Машину передай. Мой подарок. Машина в кузнице стоит. Передай ему еще эту книжку. Девушку, скажи, себе оставил.

— А ты сам?—спросил Кешка.

— Ты спи, Кешка, еще утро.

— А ты сам-то иди, Ланжеро, спать.

В этот день место Ланжеро за столом осталось незанятым. Остыла налитая для него тарелка супа.

В этот день Ланжеро ушел, никому ничего не сказав.

(Окончание следует)

СТАРИКИ

Л. Фридланд

Иван Николаевич Широков, профессор Ленинградского медицинского института, получил письмо от человека, с которым его связывали очень далекие воспоминания. Вместе сидели они когда-то на одной скамье в младших классах гимназии маленького южного города, вместе бегали к реке, играли в разбойников и вечерами носились, нагоняя страх на собак, по тихим засыпающим улицам. В бытность студентом и позже—ассистентом, а затем и доцентом, Иван Николаевич, наезжая иногда каникулами в родной город, встречался с этим худым, долговязым, нескладным человеком, у которого выросла черная борода, а глаза глубоко прятались под бровями. Они пожимали друг другу руки, обменивались короткими вопросами—что и как? Широков знал, что его однокашник имел какое-то отношение к педагогике. Последний раз они виделись перед самой войной, в четырнадцатом году, когда Иван Николаевич уже несколько лет занимал кафедру. А письмо пришло в тысячу девятьсот тридцать шестом.

Профессор сразу и не догадался, кто автор.

Из письма видно было, что этот человек, Георгий Яковлевич Владыкин, давно уже никакой не педагог, а партийный работник и большое лицо в том городе, откуда пришло письмо. По содержанию убористо исписанного листка Широкову стала ясной серьезность положения. Болезнь была неприятная и тяжелая, не укладывавшая, правда, в постель, но, вместе с тем, весьма мучительная для людей дела, у которых каждая минута дорога. Операция—это был самый легкий исход, на который следовало рассчитывать. Так решил и консилиум: ехать в Ленинград и ложиться в клинику к профессору Широкову, крупнейшему специалисту в этой области. Тогда больной вспомнил давние отношения. „Вот оно как, дорогой дружище. Приходится беспокоить, но ничего не поделаешь,—извинялся он.—Очень уж машина развинтилась. А приеду я 20 сентября, точно в срок. Само собой, бумаги, какие надо, захвачу. Нельзя ли будет только отдельную комнатку, хоть самую маленькую, заполучить?“

Профессор, сообразивший, наконец, кто такой корреспондент, перечитал снова письмо. Георгий Яковлевич Владыкин! Бог мой, сколько же это лет! А как будто вчера было. Нескладный товарищ детства представился ему необычайно ярко со своим густым голосом и широкими лопатками.

Вечером у профессора было очередное заседание того научного

общества, председателем которого он состоял. Часов в одиннадцать, возвращаясь домой, Широков вспомнил о письме и о том, что сегодня уже 19-е число, и решил зайти в клинику, чтобы распорядиться насчет палаты к завтрашнему прибытию земляка.

Коридоры были пусты; в углах слабым светом горели ночники; из открытых дверей доносились ночные сонные звуки; сестра шла по линолеумной дорожке с каким-то пузырьком в руке; она выглядела озабоченной и усталой, но, узнав профессора, оживилась.

— Здравствуйте, Иван Николаевич,—сказала сестра, подойдя ближе и распространяя запах эфира.—Какая неприятность! Мы впрыснули ему только что морфий.

— Кому?—удивился профессор.—О ком вы говорите?

Брови ее поднялись.

— Разве вы не знаете, профессор? Вам, кажется, звонили. Ведь сейчас привезли Льва Сауловича. У него опять приступ. Его поместили в девятую палату, а Селиверстова перевели в пятую.

Лев Саулович был ординатором этой же клиники, страдавший время от времени припадками почечных колик.

Профессор накинул халат, принесенный сестрой, и пошел по отделению. Шаги его раздавались в тишине. Пол чуть поскрипывал. В половине для выздоравливающих слышались приглушенные голоса еще не спавших больных.

В маленькой палате, белой и чистой, как коробочка, профессор застал дежурного врача. На кровати стонал бледный, с перекошенным ртом человек; морфий еще не действовал, и зрачки закатились от боли. Прижавшись к стене, стояла в углу молодая светловолосая женщина с взволнованным и страдальческим лицом.

Осторожно пощупав у лежавшего сильно напряженный бок, профессор после нескольких успокаивающих слов изложил свое мнение о необходимых мероприятиях. За дверью, освобождаясь от халата, он сказал:

— Завтра поступает больной, которому нужно предоставить отдельную палату.

Дежурный врач, круглолицый, бойкий человек, развел руками:

— Разве только Льва Сауловича в пятую перевести. Там пока один Селиверстов и другое место не занято. Но,—добавил он,—с Львом Сауловичем ведь жена, она хочет неотлучно быть при нем. Впрочем...

— Лев Саулович женат?—спросил профессор.

— Молодожен,—весело ответил доктор.

Профессор вспомнил молодую женщину.

— Что ж делать,—повел он, наконец, плечом.—Льва Сауловича, конечно, оставим, а завтрашнего поместим с Селиверстовым. Фамилия его Владыкин. Только не ставьте туда больше коек.

* * *

Сиделка, шлепая туфлями, вошла и завозилась у кроватей. Тощий, с плоскими глинистыми волосами Селиверстов сказал:

— Маша, сутки еще не отошли. Поздновато начал я собирать.

И он вздохнул, незаметно покосив глаза на потолок. Голос у него был высокий, с елейным переливанием. Сиделка что-то пробормотала себе под нос, забрала стеклянный сосуд и понесла в лабораторию.

— Ну, и что же, товарищ,—продолжая разговор, спросил Владыкин,—страшно было?

Речь шла об операции, уже перенесенной его соседом. Владыкин был высокий, истощенный, пригнутый слабостью человек лет под шестьдесят. Лишь глаза его в глубоких, точно обстроганных по краю орбитах легко и живо ворочались, да голос был порывистый и, несмотря на густоту, горячий.

— Нет, зачем же,—ответил не спеша Селиверстов.—Надо всегда надеяться. Если есть надежда и вера, чего же бояться?

— Вера?—сказал быстро Владыкин.—Во что же вы веруете? Не в бога ли?

Селиверстов сидел, опустив ноги на пол, небольшой, с старческими морщинами постного лица, на котором росла редкая бородка клином. Руки его были сложены на коленях. Он внимательно посмотрел на Владыкина, упираясь взглядом не в запавшие глаза его, а в точку возле уха.

— В бога нынче не принято верить,—сказал он.—Я верую в животворящую силу, во мне обретающуюся. Ежели ее много, она переборет все. Через нее я и страданья переношу с легкостью. Много их еще мне предстоят. Теперь вот готовлюсь ко второй операции.

— А вы служите где-нибудь?—неожиданно спросил Владыкин.

— Нет, немощен я стал. Иждивенствую у детей.

Пришла другая женщина в халате, раздатчица, принесла белого хлеба, сахар, кусочек масла; потом она вернулась с чайником и разлила горячий, с паром, чай. В палате стало по-домашнему уютно.

После завтрака, после раздачи лекарств, часов в 10, в коридорах началось движение: появился профессор.

Владыкин провел в клинике уже четыре дня; он был принят очень хорошо; ординатор, вступивший в дежурство и уже предупрежденный, сам показал ему койку, а сестра, суя подмышку термометр, тепло произнесла:

— Вот привыкните, и вам здесь понравится.

Новый больной вступил в мир, совершенно непохожий на тот, в котором он до сих пор находился. То, к чему Владыкин обычно относился равнодушно, в лучшем случае принимал как скучную, но неизбежную обязанность: уход за собой, за своим телом, за его отправлениями; порядок приема пищи, вставания, отдыха,—все это здесь было главным, первенствующим, самым важным, о чем все говорили, заботились, что приковывало внимание. Если у кого-нибудь желудок вдруг зашалил или человек плохо спал,—уже начиналось беспокойство, портилось настроение; отсутствие аппетита принималось как катастрофа. Вначале Владыкину показалось это диким после борьбы, громких споров, дискуссий, разносов, громовых речей, разъездов,—после всего, что было связано с заводами, фабриками, вагонами, снабжением, машинами, цементом, бригадами, строительством. Ему представлялось, что нет никакой точки в стране, будь это Академия Наук или школа первой ступени, где вопросы сырья, выработки продукции и так далее не бурлили бы. А здесь царила тишина, неторопливая жизнь.

Однако, другая сторона того, что происходило в больнице, поразила его. Профессор нажал под ребром, постукал плашмя ладонью, по-

смотрел на пятнистые серые стекла, принесенные ординатором, задал несколько вопросов больному, потом врачу, который обслуживал больного, и вот профессор покачал головой и сказал, что почка лежит низко, мочеточник согнут и завернулся вокруг оси, имеется расширение лоханки,—сказал так подробно и просто, точно видел все это непосредственно глазом. Одного больного провезли по коридору, и Владыкин узнал, что этому человеку вводили внутрь электрическую лампочку; про кого-то рассказывали, что инструментом добрались до его почки, и стало ясно, как на ладони, что в ней происходит. „Вот что значит наука! Чорт возьми,—думал Владыкин,—хорошо бы понимать все это. Сбросить мне годиков тридцать пять, пожалуй, засел бы я за медицину".

Перед дверью зашумели. Вошел профессор, с ним ассистенты, ординаторы, все в халатах, словно белое облако влилось в палату.

Селиверстов встал на своих гнущихся ногах и пожал руку профессора.

— Набираетесь сил? -сказал ему профессор.—Очень хорошо. Питайтесь как следует. Скоро мы вас перешьем.

Ассистент принялся докладывать о данных последних исследований.

— Судьбы наши взвешаны,—ответил больной, как только ассистент кончил, и потрогал редкую свою бороду.

Профессор поздоровался с Владыкиным.

Как себя чувствуете?

Владыкин, шевеля нависшими бровями, живо сказал:

– Скучно без дела, Иван Николаевич. Нельзя ли как-нибудь ускорить?

— Как же ускорить? Оперировать ведь придется, а это требует подготовки.

Владыкин ощутил на спине холодок, но взглянул твердо на профессора.

— Я готов. Валяйте.

Профессор укоризненно сказал:

- А зачем запустили болезнь? Надо было месяца на четыре раньше явиться. Удельный вес какой?—повернулся он к врачу.

— Тысяча пять.

- Ну, вот. Куда такие почки годятся! Разве это организм? Вот поднимем хотя бы до тысячи пятнадцать, тогда можно будет.

Владыкин гулял по коридору, когда профессор, кончив обход, направлялся к себе в кабинет. Еще крепкий, сохранивший стройность, профессор шел уверенным четким шагом. Мимо пробегали сиделки. Свет осеннего дня отражался от белых стен. Халат профессора с отложным воротником был белоснежен.

— Видите, как занят, Георгий Яковлевич,—задержавшись, сказал профессор.—Минуты свободной нет, даже не успели мы как следует поговорить.

Владыкин вспомнил, что еще недавно он сам крутился как бес в своем учреждении с людьми, телефонами, заседаниями, комиссиями.

— Время горячее,—ответил он охотно.—Живем в особенное время. Надо догнать и перегнать. А покалякать не мешало бы, ей-богу.

Он засмеялся. Профессор улыбнулся.

В глубине коридора показалась молодая женщина тоже в белом халате, жена Льва Сауловича; легко двигаясь, она подошла к ним.

— Профессор,—начала она,—я хотела сказать вам... Он такой слабый... Нельзя ли отложить операцию.

Ее негромкий голос, просительный и как будто теряющийся, был приятного низкого тембра, того именно, которым обычно поют цыганские романсы. Сухое лицо профессора стало внимательным и мягким.

— Мы примем все меры, Вера Дмитриевна,—проговорил он.—Возможны осложнения, если не поспешить. Я этого боюсь. Поверьте, все, что от меня зависит, будет сделано. Не надо волноваться, Вера Дмитриевна.

Владыкин уловил в его тоне нежность.

Когда она ушла, профессор, глядя ей вслед, несколько секунд молчал, задумавшись.

— Да, так о чем мы...—сказал он потом.—Знаете что, Георгий Яковлевич? Вечером я буду здесь у себя в кабинете заниматься. Вы бы спустились ко мне. А то мы так с вами и не поболтали.

* * *

Эту женщину Владыкин встречал в клинике несколько раз. Молодая, чуть сутулящаяся, с мальчишески остриженными светлыми волосами, с свежим румянцем, в белом халате, она выглядела очень привлекательной. И сейчас, спускаясь в первый этаж, он заметил ее. Она шла по внутренней лестнице, направляясь, очевидно, тоже к профессору.

Владыкин крякнул про себя и замедлил шаги. Дойдя до площадки, белая фигурка повернула налево. Убедившись, что он не ошибся, Владыкин решил переждать и стал прохаживаться по нижнему коридору, который заканчивался тупичком с профессорским кабинетом.

Минуты через две за его спиной скрипнула дверь; жена врача шла обратно.

„Короткий визит“,—подумал Владыкин и тут же ему стало неловко, точно он дурное сделал, позволив возникнуть этой мысли.

Профессор сидел за внушительным столом в массивном кресле; раскрытые журналы в цветных обложках лежали перед ним. Лампа горела под зеленым абажуром. На стенах висели портреты. В окна видны были корявые стволы деревьев, росших во дворе, и край вечернего неба поднимался над крышей противоположного дома. У профессора были неподвижные глаза: они смотрели вдаль, затуманенные, отсутствующие, завороженные. Владыкин, придерживая халат, потянул к себе кресло.

— Удивительно славная женщина,—сказал вдруг профессор.—Я не люблю, признаться, этого ординатора, у него нет склонности к научной работе, но я завидую ему.

Он передвинулся в кресле и другим тоном спросил:

— Ну, как, Георгий Яковлевич? Операцию делать придется, не обойтись никак.

Владыкин покрутил головой.

— Знаю и боюсь,—простодушно ответил он.—Боюсь, умирать не

хочется. Дурацкое дело смерть. Жизнь день ото дня становится интереснее, тянет она к себе. А умирать, ох, страшно.

— Ну, умирать,—возразил профессор.—До смерти еще далеко. Операция—это не смерть, операция—враг смерти. Вы женаты, Георгий Яковлевич?

— Нет,—сказал Владыкин.—Жену я похоронил лет шесть назад,—хороший был у меня товарищ жена. Детей мы с ней, жаль, не народили. Шесть лет,—повторил он.—Вот годы-то бегут. За работой, за суетой не замечаешь, как они пролетают.

— Значит, вы один живете теперь?

— Зачем один. Я член партии, старый коммунист. Семья у меня огромная,—улыбнулся он.—Нет, я своей жизнью доволен, а если и огорчает она меня, так тем, что короткая она все-таки. Знаете, Иван Николаевич, что я бы сделал, если бы мог?

В больничном платье Владыкин казался ничем не приметным, одним из тех, которые сотнями проходили перед Широковым. Что бы он мог сделать, этот изношенный человек?

— Ну?—с любопытством спросил профессор.

— Пошел бы я сейчас,—сказал больной воодушевленно,—на медицинский факультет. Удивительно интересна эта ваша наука. И стал бы я работать над продлением жизни.

„Подходящее желание для человека,—подумал профессор,—у которого смерть на носу".

— Конечно, в том великом деле, которое мы все выполняем,—продолжал Владыкин,—все важно. У меня вот политическая работа, ну и руководство хозяйственными организациями. Открывается в области, например, завод, построили школу, фабрику-кухню,—это шаг к будущему. По существу—это мировое дело. Но, когда я смотрю на вас всех здесь, то, чорт возьми, это тоже здорово. Ведь какой труд! Два слова скажете как будто пустяковых, а за ними опыт целых поколений. Наверно, интересно вам, Иван Николаевич, жить. Я люблю людей, которым жить интересно.

Он наклонился, чтобы поправить туфель, сбитый задник которого давил пятку, и тихо почему-то рассмеялся. Профессор уселся глубже и посмотрел внимательно на своего товарища детства.

— Это, мой друг, вопрос предрасположения, конституции,—сказал профессор ровным голосом, в котором можно было уловить и усталость и скуку.—Человек, который любит музыку, любит ее потому, что так построена его нервная система. Поэтому же скульптор не может не возиться с глиной, художник с красками. Это, как желудок, который должен переваривать, потому что это его свойство. Я не мог не разрабатывать некоторые медицинские проблемы, потому что этого требовал мой внутренний бес. Но, по совести говоря, наука страшная вещь. Я ей отдал молодость, я тратил на нее по 20 часов в сутки, и так в продолжение десятков лет. У меня есть знания и, без скромности, слава. И вот, когда можно остановиться и оглянуться, видно, что жизнь-то, собственно говоря, проморгана. Мне пятьдесят восемь лет, шесть десятков. Я уже не смею думать об обыкновенном простом человеческом счастьи, о женской любви, например. Этого мне ничто не заменит. Вы завидуете мне, а я завидую тому больному ординатору,

которого любит вот эта молодая, только что вышедшая от меня женщина.

Удивленный Владыкин раскрыл рот, но профессор не дал ему ничего произнести.

— У древних греков,—сказал он снова,—был миф о Минотавре. Минотавр—это чудовище, сидевшее в пещере и требовавшее себе жертв. Народ, чтобы уцелеть, отдавал ему на пожирание ежегодно семь лучших юношей и девушек. Наука похожа до некоторой степени на это чудовище. Мы отдаем ей молодость, и она пожирает ее без сожаления. Да-с. Вот так.

Его собеседник после короткой паузы с горячностью сказал:

— Это у вас упадничество, Иван Николаевич. Засиделись вы в своем кабинете без свежего воздуха. Или что-нибудь затерло. Не в том дело, что женскую любовь вы цените, это не плохо, а в том дело, что вот талант и знания свои ценить не хотите. Определенно упадничество.

Широков сдержанно и невесело улыбнулся.

Когда Владыкин собрался уходить, он вспомнил, что у него к профессору было дело.

— У меня, Иван Николаевич, просьба есть. Выпустите меня часа на три отсюда. Хочу тут на один завод съездить. Товарищ, с которым я работал еще на фронте, мне писал, чтобы я, когда попаду в Ленинград, обязательно их завод посетил. В гости зовет. Он там директор. Завод какой-то замечательный. Я позвоню, за мной машину пришлют. У меня охота поехать. Часа на три, не больше. А то потом операция, лежание. Кто знает, когда выберешься!

— Можно,—ответил профессор и взял перо.

— Вы бывали когда-нибудь на заводе или на фабрике?—спросил Владыкин, пряча записку профессора к сестре-хозяйке.

Профессор покачал головой.

— У меня вот какое вам предложение есть. Поедемте со мной.

Профессор подумал и сказал:

— Хорошо. Давайте. Завтра в час я свободен.

* * *

Профессор вымыл руки и пошел к себе. Операция кончилась, и еще не проснувшегося Селиверстова увозили. Его поместили в палату для только что оперированных. На пороге из вестибюля в коридор стоял высокий костлявый старик с кепкой в руке; седые желтоватые усы его мешались с бородой, пиджак и брюки были из толстой темной ткани. Профессор не сразу узнал Владыкина.

— А я вас жду,—сказал старик.—Машина пришла. Вот видите,—прибавил он, оглядывая себя застенчиво.—Я в полной форме. Катетер и склянка остались в палате.

Профессор не возражал. В сущности, проехаться после работы очень приятно.

Они спустились во двор.

Автомобиль крякнул утиным голосом; деревья, люди побежали назад. Ветер бил в лицо. Окна домов смотрели им вслед.

Потом начались незнакомые профессору места; попадались невысокие деревянные домики, иногда пустыри. Бегая через дорогу, играли дети. Свежий облачный день октября проливал тусклый свет. Машина выбралась на окраину.

И вдруг появилась крепко убитая земля; огромные корпуса какой-то странной архитектуры, похожей на кубы, квадраты, прямоугольники, поставленные друг на друга и рядом друг с другом, тянулись целыми кварталами. Поражало количество стекла; окон было необыкновенно много. Иногда два таких строения соединялись аркой и тогда в просвете ее виднелись газоны, уже опустошенные осенью, лужайки, площадки.

— Рабочее строительство,—сказал сквозь шум мотора Владыкин, поймав взгляд профессора.—Теперь это в каждом городе. Америка!

У ворот, проделанных в длинном деревянном заборе, автомобиль застопорил. Вывеска „Завод Красная Ваганка" поднималась дугой над входом.

Из проходной конторы выбежал небольшой приземистый человек со скуластыми щеками и с такой облупленной и красной кожей, точно он вот-вот вернулся из Крыма, и кинулся к Владыкину. Они обнялись и поцеловались. Скуластощекий человек скользнул глазами по старику, и лицо его омрачилось.

— Время-то идет,—только и сказал он.

— Это Шибаев,—представил его профессору Владыкин.—Директор. А это—профессор, который резать меня будет.

Шибаев провел их к себе в кабинет, и тут он и Владыкин стали засыпать друг друга воспоминаниями.

Профессор узнал, что Владыкин был в подполье, попадался контрразведке, чудом спасался, был военкомом дивизии, отступал, гибнул, воскрешал, нападал. Профессор с новым любопытством смотрел на друга детства.

При осмотре завода профессор, идя рядом с Владыкиным, видел, как блестели его глаза и оживленно дергались брови. Старик качал восхищенно головой, слушая объяснение работы той или иной машины. Колени его гнулись от слабости. Станок, похожий на груду кузнечиковых лапок, грациозно вертевшихся, заставил его замереть неподвижно.

— До чего замечательно,—твердил он.—Вот придумано! Золотые головы эти инженеры.

Раза два он наклонялся к Шибаеву, не отставшему от него ни на шаг, и что-то шептал. Тот провожал его в уборную.

— Болезнь,—извинялся Владыкин неловко, как будто робея.—Клепки расслабли.

Профессора никто не замечал, он сам себе казался маленьким, затерянным среди огромных конструкций, наполнявших помещение.

— Все своими руками, товарищ Владыкин. Исключительно,—повторял Шибаев.—Без импорту. Наше, советское. Исключительно!

Владыкин отвечал:

— Вот это здорово!

Автомобиль увозил их обратно в клинику.

Владыкин задвигал губами, профессор наклонился, чтобы услышать.

— Я как будто воскрес,—говорил Владыкин.—Думал, что больше

этого не увижу. Какие все молодцы, энтузиасты! С такими, конечно, перегоним. Вот жизнь будет прекрасная. Как вы находите, Иван Николаевич?

Кожа лица его была сморщенная, нос заострился. Поездка и хождение по заводу отняли у него много сил. „Не нужно было разрешать ему покидать палату,—подумал с досадой профессор.—Напрасно я разрешил".

— Посмотрим,—коротко ответил он.

— Ведь таких заводов и фабрик сейчас сотни строятся в стране. Они нас переделают и земной шар. А все—техника. Она творит чудеса. Эх, если бы мне вернуть лет двадцать! Знаете, что я бы сделал? Пошел бы во втуз, на учебу.

Машина повернула на проспект. Слева и справа выросли дома центра.

— Вы вчера только хотели быть врачом,—заметил профессор.

Владыкин часто и тяжело дышал.

— Что ж из того,—ответил он.—Следовало бы знать и то и другое. Все надо бы знать, во все влезть. Нам нужно свирепое любопытство. У нового поколения это будет само собой подразумеваться.

Он вдруг хитро подмигнул:

— А читали в газетах: мастер завода „Светлана" доклад делал о Пушкине в Академии Наук? Мастер, рабочий. Без отрыва от производства. Вот то-то и оно.—И без видимой связи добавил:—А вы говорите—Минотавр.

* * *

Владыкина оперировали и удалили опухоль, но рану не полагалось зашивать наглухо. Весь живот его был укутан толстой повязкой.

Вата и марля быстро промокали, и всегда к вечеру сестре приходилось повязку надбинтовывать.

Больной чувствовал нарастающую слабость. Ел он мало—не было аппетита. По утрам его возили в перевязочную, большую светлую комнату, и профессор сам менял ему тампоны.

Профессор каждый раз приветливо спрашивал:

— Как себя чувствуете сегодня?

— Спасибо, Иван Николаевич, прекрасно.

И пока сырые куски марли тяжело плюхались в таз, пока очищалась рана и засовывались в нее свежие салфетки, профессор произносил разные ободряющие слова и громко восхищался послеоперационным течением. Владыкину, несмотря на боль, были приятны замечания профессора. Как только за носилками захлопывалась дверь, профессор хмурился и говорил врачам:

— Плохо, очень плохо. Никуда не годится. Запоздали с операцией, кажется. Да и организм изношен.

Потревоженная рана ныла еще долго, но в палате Владыкин скоро переставал ее ощущать. Ежедневно почта приносила ему пачку писем, и он жадно на нее набрасывался. Родной город не забывал его, доносил обо всех делах. В конвертах лежали новые заводские корпуса, этажи жилмассивов, станки, чугун, пароходы, акры полей, га озелене-

ний, завоеванные рекорды. Письма говорили о надежде его увидеть в ближайшие недели. А, между тем, слабость кружила голову и заставляла бросать письмо на полустроке.

Как-то однажды в дверь осторожно постучали. Сестра отлучилась зачем-то; в палате оставался один Владыкин. Прозрачное, как стекло, стояло на дворе холодное солнечное ноябрьское утро; поредевшая по-осеннему верхушка дерева, дотянувшаяся до второго этажа, качалась на синеве неба, и больной вначале подумал, что это удары ветвей об окно он принял за стук в дверь. Но опять постучали, и тотчас же в комнату просунулась голова с узкой бородкой.

— Это я,—сказал Селиверстов, переступая порог и закрывая за собой дверь. Он был одет в обыкновенный пиджачный костюм. — Совершаю беззаконие, что вторгаюсь без халата. Пожелал я проститься с вами.

Больница, вылечив, отпускала его.

— Как я рад за вас,—взволнованно проговорил Владыкин.—Две операции! Ну, теперь проживете еще пятьдесят лет.

Быть здоровым, дышать воздухом улиц, двигаться, суетиться, распоряжаться, спорить, добиваться, стоять на трибуне в жаркий майский день,—неужели все это никогда не вернется? Отчаянная зависть к человеку с бородкой охватила Владыкина.

— Это уж не в нашей воле,—скромно протянул Селиверстов.—Что в книге судеб написано, то и сбудется.

Владыкин почувствовал, как сжалось его сердце; горячий ком подступил к горлу. „Что со мной?—мелькнуло в его голове.—Никак раскисаю. Эх, старик!"

— Испытание вам послано,—продолжал Селиверстов.—Я от всей души сострадаю. Однако, надейтесь. Целители наши, доктора, умудрены знанием и помогут вам восстановить телесные силы. Желаю вам не оскудевать мужеством.

Губы Владыкина растянулись, вокруг глаз сбежались морщинки. Проповеднический тон Селиверстова рассмешил его.

— Спасибо,—сказал он.—Знаете, я тоже хочу пожелать вам. Вы хорошо выглядите, окрепли, прямо помолодели. Ведь вам всего 54 года. Зачем вам иждивенчество? Научитесь чему-нибудь, ну, там бумаги регистрировать или обои клеить. Ей-богу, это здорово вам на пользу пойдет. Да и сами пользу принесете.

Лицо Селиверстова сперва ничего не выразило. Затем на нем проступило что-то заговорщицкое. Он пригнулся к изголовью и, понизив голос, точно сообщая тайну, произнес:

— Истинно вы сказали. Я и сам замыслил подобное, имея склонность к счетоводству. Только пригожусь ли?

Селиверстову, очевидно, очень хотелось поделиться в подробностях своими сомнениями, но, заметив утомленно опустившиеся веки больного, он лишь коротко добавил:

— Пребывайте во здравии.

И простился жестом, похожим на благословение.

Силы Владыкина заметно убывали. Он уже с трудом мог приподняться на кровати.

На восьмой день профессор вечером посетил отделение. Осмотрев

кой-кого из тяжело больных, он зашел и к выздоравливающему Льву Сауловичу. От доктора профессор направился в палату Владыкина. Жена врача провожала его по коридору. Шли они медленно. Глаза молодой женщины сияли. Белый ворот халата оттенял ее свежее лицо, пушистые рыжие волосы и нежную линию подбородка. Она благодарила профессора, и в грудном ее голосе прорывались мальчишеские звонкие интонации. Завтра муж выписывался. Седой человек ласково, с затаенной грустью смотрел на нее.

— Рады?—спросил он.

— Очень!

— Рады, что покидаете нас,—шутливо упрекнул профессор, и вдруг рот его покривился.—А я хотел бы встречать вас здесь каждый день. Без вас скучно будет, поймите. Что делать?

Он проговорил это глухо и так странно, что молодая женщина недоуменно подняла на него глаза и ничего не сказала. Пока она уходила по длинному коридору, взгляд профессора не отрывался от удалявшейся тонкой фигуры.

Сделав оперированному впрыскивание, сестра влажной от эфира ваткой потерла взбухшее место укола и бережно уложила в коробку шприц. Сердце Владыкина теряло ритм. Повязка толстой грудой, как подушка, возвышалась на его животе. При появлении профессора сестра поправила одеяло и вышла.

— Как дела?—спросил профессор, подсаживаясь.

— Сами видите, Иван Николаевич. Похвастаться трудно,—вяло ответил больной.

Он резко похудел за эти дни. Зубы казались вылезшими из лунок. Говорил он медленно, с натугой, и в словах сквозила печаль.

— Да, да,—неопределенно сказал профессор, потирая лоб, как от боли, и думая о другом. Но затем, точно опомнившись, он с обычной профессиональной бодростью произнес:

— Ничего, начнете поправляться, все будет в порядке. Пока надо потерпеть. Это уж болезнь такая.

— Я понимаю,—чуть заметно улыбнувшись, сказал Владыкин и несколько раз втянул воздух, словно нехватало дыхания.—Только очень досадно, Иван Николаевич. Никогда так жалко не было умирать. Ах, время-то какое!

У профессора уже много дней было недовольство собой. Он чувствовал свои годы и свое одиночество. Совершенно удивительным образом это состояние было связано с пребыванием в больнице жены Льва Сауловича. Профессор ловил себя на несообразных порывах. На него иногда накатывалось желание кому-то пожаловаться, открыться. И тогда он думал о Владыкине.

Поездка на завод вызвала у профессора к Владыкину особое любопытство. Владыкин ни по духу, ни по воспитанию не был солдатом, воякой. Он был добродушен, мягок, даже застенчив. И, оказывается, этот человек здорово дрался, не раз ставил на карту свою жизнь и приносил смерть другим. Это было именно так. Владыкин,—профессор это прекрасно помнил,—всегда в юности отличался серьезностью, размышлял, думал. Значит, надо полагать, его поступками управляли большие идеи. Профессор смутно представлял себе эти идеи, но сами су-

ждения Владыкина казались ему упрощенными, чрезвычайно утилитарными. Однако, звучавшая в них непоколебимая уверенность гипнотизировала и притягивала профессора.

И вот Владыкин умирал.

Профессор часто имел дело со смертью. Какое-то количество людей, попадавших в отделение, уже не выходило оттуда. Смерть для профессора была процентом. Каждая болезнь имела свой процент. Деятельность профессора была направлена целиком к уменьшению этих процентов. Когда ординатор докладывал, что такой-то скончался, его это искренне огорчало, он хмурился, качал головой. Он представлял себе снова весь ход болезни умершего и мысленно проверял, не было ли здесь допущено ошибки. А затем им овладевали очередные дела. Печальный случай укладывался в процент. К этому событию смерти профессор не привязывал ничего личного.

Глядя сейчас на Владыкина, профессор вдруг ощутил острую тоску, точно умирал он сам, а не Владыкин. У него было такое чувство, что это умирает его детство, его молодость, весь он пришел к концу. Запавшие глаза Владыкина, обкуренные седые повисшие усы, углубления худых щек,—это говорило ведь и об истекающей собственной профессорской жизни. Профессору стало невыносимо обидно и горько. Сияние светлых глаз молодой женщины все не погасало в его воображении, ему захотелось все бросить, пасть перед ней и молить о счастьи.

— Посмотрите-ка,—с усилием сказал Владыкин, движением головы указав на столик.—Это я сегодня получил. Посмотрите, Иван Николаевич.

На ночном столике лежал объемистый пакет. Профессор, еще неся в себе щемящее уныние, вытащил содержимое пакета. Это были фотографии, снимки многоэтажных домов, цветников, детских площадок, дворов, улиц с трамвайными путями.

— Не узнаете?—спросил Владыкин.

Профессор пожал плечами. Его изумлял Владыкин; в минуты, когда приближался страшный и таинственный уход, больного занимали какие-то картинки. Неужели же он не понимает, что с ним? И профессору захотелось сказать этому человеку, что он, Георгий Яковлевич Владыкин, умирает, что вскоре ничего он больше не увидит, никаких домов, никаких цветников, что осталось у него мало времени, что пусть он соберет всю силу своей мудрости и подумает в последний раз о жизни и о счастьи.

— Не узнаете?—напрягая силы, снова сказал Владыкин.—А ведь это Собачий хутор. Вот что мы с ним сделали!

Собачий хутор! Так называлась одна из окраин города, откуда они оба были родом,—самая захудалая нищенская часть, рабочий район. Профессор вспомнил кривые домишки, пьяные ночные крики, оборванную детвору, всю пугающую славу этого места. Ход его мыслей нарушился. Он снова перебрал снимки. Неужели эти монументальные жилища, солнечные детские площадки, эти опрятные аллеи и есть Собачий хутор?

— Ага, красиво,—оживился Владыкин, когда профессор задержался на перспективном виде квартала.—Версаль, ей-богу, Версаль. Смотрите, дома-то улыбаются. Замечательная вещь архитектура. Чтобы дома улыбались, это надо уметь.

Слова Владыкина прерывались, становились невнятными, но на исхудалом и желтом лице оставалось торжествующее выражение. Он нескрываемо любовался впечатлением, произведенным снимками. Он говорил, а голос его слабел, под веками и у рта копились тени. Профессор нагнулся к нему и с торопливой повелительностью сказал, беря за кисть:

— Молчите, Георгий Яковлевич, берегите силы.

Пульс под пальцем профессора пропадал. Кончик носа больного темнел. Профессор сильно нажал звонок.

— А знаете,—хрипло сказал Владыкин,—дали б мне срок, я бы обязательно занялся архитектурой. Ей-богу, стоит. Города наши должны петь.

Его лоб увлажнился, губы беззвучно шевелились.

— Дигален и кислород!—сердито приказал профессор вбежавшей сестре.—И сейчас же позовите сюда дежурного врача.

Побыв еще некоторое время в отделении, профессор отправился домой. Владыкин уже не нуждался ни в чьей помощи. Спускаясь по слабо освещенной лестнице, гулкой и пустынной, профессор потирал руки и бормотал:

— Минотавр... пятьдесят восемь лет... Минотавр...

Павло Тычина

ЖИВОЙ СОЮЗ СЕМЬИ ЕДИНОЙ

Я сторонюсь чужих и чуждых
Болот родимых, мелких бродов,
Сияет радугою дружбы
Мне единение народов.

Оно такой встает вершиной,
Оно таким дыханьем дышит,—
Ударишь громом в сердцевину —
И гром другой в горах услышишь.

И гром другой взрывает дали
И радуется, молодея,
Что встала радуга из стали,
Сердца народов дружбой грея.

И сам ты вдруг—как гром над кровлей
Как молниями озаренный,
Как будто выпил на здоровье
Из родника воды студеной.

Ой, выпил, выпил да утерся,
И припадаешь снова, снова,
И открываешь первородство
В глубинах языка чужого.

Его коснешься ты—все мягче,
Все легче он тебе сдается,
Хоть слово сказано иначе,
Но суть в нем наша остается.

Как будто так: в руках подкова
Упрямая все гнется, гнется,
И разом вдруг—чужое слово
В родной язык родным ворвется.

То не язык, не просто звуки,
Не слов блуждающие льдины,

В них слышен труд, и пот, и муки —
Живой союз семьи единой.

В них шум лесов, цветы и поле,
И волны радости народной,
В них—разум класса, кровь и воля
От давних дней и по сегодня.

И вносишь ты чужое слово
В язык прекрасный и богатый,
А это входит все в основу
Победы пролетариата!

Перевел *Николай Браун.*

ДУМА О ТРЕХ ВЕТРАХ

На ранней весне—прóвесне,
Гей, на рассвете гул.

Ой, за горами, за высокúми,
Там за морями, да за глубокими,
За дорогами непроезжими—
Рано-ранехонько Ясно Солнышко всходило.
Ясно Солнышко всходило, братьев своих, Ветров, к себе скликало.
Оно словáми к ним взывало:
„Братья мои!
Ветры мои!
Братья вы мои милые,
Вольные, быстрокрылые!
А встаньте вы на ровные ноги:
На горы, долы, перелоги, на пути-дороги.
Летите—пойте,
Про меня, вашего брата старшего, Ясна Солнышка,
Правду откройте,
Что уж я да не по-зимнему грею:
Заря с зарей перемигнуться не успеют—
Как я пламенею".
Ветры зов услыхали,
На ровные ноги вставали,
На разные стороны могучие крылья расправляли.

На ранней весне-прóвесне,
Гей, на рассвете гул.

Как первый ветер ветровей,
Лукавый Снеговей
Так про себя подумал, так помыслил:

„А не лучше ли было б,
Если б ты, братец мой, Ясно Солнышко, да по-зимнему всходило?
Эту землю ведь только пригрей—
Хватит заботы о ней".
Вот первый ветер Снеговей-Морозище
Летит, гудит, свищет,
Снегом в людей швыряет,
Насмешками обижает:
„Это вас,—говорит,—Солнышко весеннее встречает".

И люди тогда приуныли,
Один другому о том говорили:
„Ой, не быть, видно, весне, как в декабре грому,
Если с нами говорят по-чужому".

На ранней весне-прóвесне,
Гей, на рассвете гул.

Как другой ветер верховей,
Беззаботный Буревей
Так про себя подумал, так помыслил:
„Пускай себе Солнышко как угодно всходит—
Хоть по-зимнему,
Хоть по-весеннему,
Мне бы только пить да гулять бы,
Свою душеньку потешать бы".
Вот другой ветер налетает,
Хаты людям он разоряет,
Насмешками обижает:
„Это вас,—говорит,—люди, весна да воля встречает".

И люди тогда приуныли,
Один другому о том говорили:
„Что же это за весна, что ж это за воля,
Проклятая наша доля!"

На ранней весне-прóвесне,
Гей, на рассвете гул.

Как третий ветер молодой,
Легковей Теплокрыл-Удалой,
Он так про себя подумал, так помыслил:
„А спасибо, что Солнышко на весну повернуло,
А то бы земля навек охладела, заснула".
Вот третий ветер летит, напевает,—
Лаской всех по-родному окрыляет,
Каждую хату на пути окликает.
В бедные оконца пальцами постучит-поиграет:

„Вставайте,—говорит,—люди, солнце вам улыбается,
Вашего плуга земля дожидается".
Тогда-то все люди услыхали,
С песнями из хат выбегали,
В великой радости сырую землю целовали.

На ранней весне-провесне,
Гей, на рассвете гул.

Перевела *Мария Комиссарова.*

Максим Рыльский

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Над землей сентябрь и август
Шпаги длинные скрестили,
Несмертельные две шпаги—
Желтый луч и серый дождь.

Над медовою землею,
Над пустынным колким жнивьем,
Над баштанами, где зреют
Зеленеющие тыквы,
Над протяжным птичьим свистом
Неопасный бой идет.

Сталь о сталь звенит неслышно,
То сверкнет, то снова гаснет,
Очи синие встречают
Серых длинные ресницы,
Только злобы нет в очах.

Сколько сил в любом движеньи,
Кровь живет в ударе каждом,
Бьются мускулы, как струны,
На десницах обнаженных.
Смех слетает с полных уст.

А земля—в красе медовой,
А поля, мечтая, дремлют,
А в просторных огородах
Тыквы стелятся на грядах,
И в протяжном птичьем свисте
Крыл широких ровный взмах.

2

Как слово милой—в памяти моей
И молния зеленой гибкой вербы,
И тот холма зеленого зигзаг

За стеклами вагона. Пастушата
С ногами загорелыми, с мешками
Заплечными бежали нам навстречу,
Махали нам руками. И мохнатый
Щенок веселый, шустрый их приятель,
На поезд лаял в радостном презреньи,
А ветер тени гнал, перегоняя
Через луга, и девушку такую,
Пригожую собой, какими только
Бывают незнакомки,—через лес,
Уже закатным солнцем озаренный.
Писать об этом долго на бумаге,
И в памяти остался долгий след,
А все только минуту продолжалось.

Один из ребятишек дольше всех
Махал руками нам; его друзья,
Щенок мохнатый—все к делам вернулись,
И только он один еще смотрел
Вслед поезду, что круто выгибался
По колее загадочно-блестящей,
Но что он думал—неизвестно нам...
И я припомнил прежних ребятишек,
Мимо которых весь их рабский век
От детских лет, что пороты кнутами,
До старости печальной пробегали
Составы желтоглазых поездов,
Им оставляя только клочья дыма
Да робкие мечтанья о чужой
Счастливой жизни, шумной, многоцветной,—
И думал радостно, что, может быть,
Вот этот загорелый пастушонок
Сам поведет когда-нибудь в просторы
Веселые большие поезда,
Он сам проложит ровные дороги
Сквозь наши освеженные поля,
Сам будет ветром, молнией, огнем
Пересекать зеленое раздолье.

3

Был ранний час, и пассажиры спали,
И сонный умывался пароход,
И фыркал, словно конь. Едва вставали
Лучи зари над серой гладью вод.

Я на террасу вышел. С удивленьем
Скамья сырая встретила меня.

Вился дымок над лугом, в отдаленьи,
Дыханье трав над берегом гоня.

Какой-то дед, потягиваясь, вышел,
Сел на скамейку—тоже на мокрень,
И закурил. Махорка духом вишни
Мне в сердце детства колыхнула тень.

Заговорили мы (над берегами
В бубенчики звонили кулики),
Дед вынул узловатыми руками
Какие-то потертые листки.

А, понимаю! Там, по всем равнинам,
Где стелятся посевы и сады,
Есть мотылек, на вид совсем невинный,
Несет он людям пригоршни беды.

Приносит он на крыльях год за годом
Пустыни призрак желтый, как скелет.
Чтоб истребить разбойничью породу,
Простое средство изобрел сосед.

Старик прошел сквозь дебри издевательств,
Он их запомнил, как проклятый сон.
Над ним смеялись: „Вот изобретатель!
Кулибин! Самоучка! Эдиссон!"

Теперь не то. С ним говорил Петровский,
Письмо вот это на прощанье дал:
„Прошу вниманье оказать..."—Что? Ловко?
Эх, мне вернуть бы юные года!

Вокруг дела творятся—глянуть любо!
Земля вовек не видела таких!—
В его лице, морщинистом и грубом,
Цвели глаза моложе молодых.

А день все рос .. И чайки подымали
Протяжный крик над бурою водой,
И пассажиры сонные вставали,
И рыбий плеск взлетал над глубиной.

И профиль комсомолки рисовался
На синеве распахнутых небес,
И мачтами высокими вздымался,
Как будто сон прекрасный, Днепрогэс.

4

Над землей сентябрь и август,
Две сияющих десницы,
Это—солнце золотое,
Это—месяц молодой.

Просвистели сонно кряквы
Над болотом утомленным.
В лозняке, густом и низком,
Где прозрачный лег туман,
Гомонят перед ночлегом,
Легким облаком спускаясь,
Говорливые скворцы.

А земля—в красе медовой,
А над северными льдами,
Над суровым океаном,
В острой, птичьей высоте
Путь прокладывают новый
Храбрецы-аэронавты,
Молодою сединою,
Как венком, покрытый Шмидт.

А земля—в красе медовой,
А в пустынях азиатских,
Где склоняется без ветра
Звонким стеблем саксаул,
Наши братья, наши сестры
Добывают в недрах воду
И, пустыни орошая,
Сеют щедро золотое
Живоносное зерно.

Я стою, ружье сжимаю,
Ожидаю перелета,
Я вдыхаю грудью жадной
Сырость легкую лугов,
А душа уж набухает,
Как весною почка дуба,
И распустится, и скоро
Песней новой запоет.

Все тебе, земля родная.
Все тебе, моя отчизна,
Где над полем обновленным
Ходит смуглый новый труд!
Все тебе несу с любовью,
Приношу на юг, на север,—
Дело рук, работу мозга,
Блеск очей и сердца кровь!

Перевел *Николай Браун.*

НА БУРАКАХ

Вечерний звонкий холодок—
Как сердца первая пороша,
И луж осенних придорожных
Не застеклил еще ледок.

Роняет верба, стелет перья
По черным колеям дорог.
И взгляд заметил, подстерег
Отлетный клин в дали вечерней.

Но где ты, спутница, сестра
Осенних вечеров суровых,
Где грусть души, плаксивый ворог,
Мной перепетая стократ?

Припомни: шла полями осень,
Как волны мертвой злой реки,
Рабы копали бураки
В угодьях панских грязны, босы.

Как пепел, падали на гай
Сырые сумерки. Казалось,
Тогда сам бог, бичом врезаясь,
Рассек небес высокий край.

А бог другой, грозя нагайкой,
Ходил по стоптанной земле,
И труд клонился тяжелей
Все ниже, ниже, в доли жалкой...

Ровесник мой! Взгляни, узнай,—
Мы пели? Да! Еще бы! Вспомни:
Словами песни той огромной
Был клич голодный: „Хлеба дай!"

Носи под сердцем эти были,
Как мать ребенка: пусть они,
Как гнев, как гром, как шум весны
Гремят: о них мы не забыли.

И наших троп разбег широк,
Нам светел труд родного поля,
И Демченко Марии воля
Осенний греет холодок.

Перевела *Мария Комиссарова.*

Володимир Сосюра

МОЛОДОСТЬ

Грохочет ночь. Республика труда
Не знает сна от края и до края.
Грохочет ночь, и песня, как всегда,
Летит в мое окно, подобна маю.

Льют первые лучи живую ртуть
На все деревья льют и сами льются.
Как я хотел бы молодость вернуть,
Как я хотел бы к юности вернуться.

Чтоб в жизнь войти опять порою той,
Порою штурма огненного ночи,
Когда в простор помчались золотой
Челны зари над городом рабочим.

Чтоб стать таким навеки, как страна,
Моя, отчизна радостных и смелых,
Чтоб в славу ей не знало сердце сна,
Чтоб в честь ее оно большое пело.

О, ночи этой, что давно в пути
За окнами как птица пролетает,
До зорь иссиня-черная летит!
И на крылах искрится снег, не тая.

Она летит в леса фабричных труб,
На города из камня и железа,
Она летит беззвездная, и вдруг
Крылом зари крылатый мрак разрезан.

Там бой гремит. Зари и ночи бой,
И снег идет все чаще с крыльев черных,
Там клич зари победный молодой—
И ночи стон последний, обреченный.

Огня и мрака дальняя игра,
Но тьме отрезан путь на переправы,
И небо трубит в горн зари утра
И ночь в простор роняет цвет кровавый.

День наступает, день идет к боям,
И даль горит, в кумач зари одета.
Я открываю окна в море света—
С хорошим утром, молодость моя!

Перевел *Александр Прокофьев.*

О, НЕ НАПРАСНО!

О, не напрасно, нет, в сраженьях степь гремела,
И братья падали, и наша кровь текла.
О, не напрасно мать в те дни рукой несмелой
Дукаты и кресты с детей своих сняла.

На мостовой шаги. Мотора перебои.
Встречают юношей улыбкой вожаки,
Как будто светлый сон в темнеющем забое
Мне снится вновь под легкий звон кирки.

Рядами женщины и девушки шагают,
И радость у детей в сияющих глазах,
И стонет, стонет ночь прозябшая, глухая,
Давно распятая на солнечных мечах.

О, не напрасно, нет, в сраженьях степь гремела,
И братья падали, и наша кровь текла.
О, не напрасно мать в те дни рукой несмелой
Дукаты и кресты с детей своих сняла!

Перевела *Мария Комиссарова.*

Иван Кулик

ПЕСНЯ МОЛОДЫХ ГАЙЛЕНДЕРОВ

— Мы идем заодно с Робин-Гудом,
Зеленеет на шапках перо.
С нами песня, веселье да удаль,—
Вот его, да и наше добро.

У барона земля и посевы,
Деньги, золото, хлеб и вино.
Вот поэтому, что ли, но все мы
С Робин-Гудом идем заодно.

Замок стиснул нам горло. Довольно!
Скинуть камень с плеча нам пора.
У барона стада и угодья,
А у нас ни кола, ни двора!

Что ж, поможем барону, поможем,
Так, чтоб двери слетели с крюков!
Чтобы незачем было вельможам
Нанимать и кормить пастухов!

Прямо в туч кочевую недолю
Голоса поднимаем, грозя,
У барона—такие раздолья,
Что и глазом окинуть нельзя!

Пусть твой за́мок высок за рекою,
Пики выше и ты обречен.
Мы измерим луга—будь спокоен,
Мы поможем тебе кое в чем!

Дуб встречает весну. Мчится ветер.
В небе песню запели дрозды.
Жди нас в гости, барон, на рассвете.
Только знай, что не пьем мы воды!

Чтобы плесень никак не покрыла
У барона житье и вино,—
Все мы с песней своей легкокрылой
С Робин-Гудом идем заодно.

Перевел *Александр Прокофьев*

Леонид Первомайский

ПЕСНЯ

Возвращались из похода
В славе поднятых времен,
Возле млина, возле брода
Шум приветствуя знамен.

Ой, знамена—буря-бурей,
Ярче крови полотно!
Пан поляк и пан Петлюра
С ног валились от аллюра
И Деникин заодно!

Возвращались из похода
Перед алым светом дня.
Возле млина, возле брода
Дожидала их родня.

Ой, знамена—воля-волей,
Золотая сторона.
Светлый дол, большое поле,
Тополя у водопоя,
Да в колосьях ярина!

Возвращались из похода,
Выступая бить врагов,—
Возле млина, возле брода
Оставляли след подков.

О, знамена—шум шелковый!
Через травы в белый свет
Кони мчатся, бьют подковы,
Да буденовок знакомый
Запорошенный рассвет!

Возвращались из похода,
Веял флаг по сторонам.
Возле млина, возле брода

Припадали к стременам.

Ой, знамена—солнце, солнце,
Да родная сторона!
Вырастают наши хлопцы,
Не ослабнули червонцы, [1]
Не сносились знамена!

Перевел *Александр Прокофьев.*

ИЗ „ПАМИРСКОЙ ТЕТРАДИ"

1. Молния

Кишлак, и камень, и вода,
И свет, что в небе гаснет,—
Мне входят в сердце навсегда,
Как молния в ненастье.

И ты растешь до высоты
В походе, в песне, в страсти.
Я говорю тебе: и ты—
Как молния в ненастье.

Обвалы гор теснят меня,
Ты погубила счастье,
И я в галоп гоню коня,
Как молния в ненастье.

2. Камень

В долину мы входили, и над нами
Висело небо, а за нами шли
В покрове снежном горы табунами
И ношу туч за спинами несли.

И нас внизу долина повстречала
Рекой, дождем, и сном, и тишиной,
И травами густыми у привала,
И озера зеркальной глубиной.

За цепью туч, за склоном гор, за склоном
Дорожных мыслей и дневных тревог
Ночь созревала, падая сразгона
В пролеты скал, и ставила порог.

[1] Червонные казаки.

А там, за краем ночи, за порогом,
Там кони ржали и дрожал костер
Своим витым и желто-красным рогом,
И влажный дым вился в ущельях гор.

Мы ели плов из мисок деревянных,
И, закипая, крышкой дребезжал
Тигриный чай, и даже месяц глянул
На этот в травах раскаленный жар.

И мы тогда коней седлали снова,
И шли сквозь белый месяца дымок,
Мы шли вперед, и стукали подковы
И скалы нам вставали поперек.

Кругом ущелья темные молчали.
И ночь редела. Приближался час,
Когда земля казалась обещаньем,
Еще неясным до конца для нас.

И мы нашли его за перевалом,
Где, грохоча, взрывался динамит,
И где впервые мы тогда узнали
Холодный, ясный камень лазурит.

3. Месяц

Как тянется время! Как сердце дрожит неизменно!
И мысли бегут, набегают, как быстрый поток.
И горных обвалов холодные стынут каменья,
И над перевалами ночи прозрачный дымок.

Как грозная память о дальних краях, о печали
Вздымаются горы, и краткость их речи ясна.
И месяц напрасно, скитаясь, грустит о привале:
Внизу, по ущельям, бездонная спит глубина.

У самого склона горы он скользит, нависая.
И стелет лучи, и сияньем дрожит голубым.
И он бесприютен, и он одинок. Но я знаю,
Завидное знаю одно превосходство за ним.

С трудом я иду, пробиваясь вперед по каменьям.
И тропы все уже, и ливни срывают мосты.
Он мимо проходит, и вновь он идет неизменно,
Чтоб снова не раз еще той же тропою пройти.

Чтоб снова врываться в ущелий холодные стены,
В разливы каменьев, покрытые пылью седин,
И вырваться снова на волю из тесного плена
И вновь окунуться в ночную прохладу долин.

4. Гора

Мы обо всем подумаем, гора!
Мы все пройдем пути, мосты, ущелья, воды.
На скалах—радуги негаснущей игра,
Прозрачный дятел солнца крылья сводит
Просторным взмахом...
Пой! Твоя пора!
И подымается гора гранитным сводом.

Перевел *Николай Браун.*

УЛЬЯНА

Будет слово, будет песня про степные вечера,
Про безоблачные зори, про любовь и трактора.
Веют молодо и люто в марте месяце ветра.

Степь и ветер. Степь и солнце. Степь—затишье. Целина.
Выезжает в степь бригада, а в бригаде новизна—
Едет девушка Ульяна, молодая, как весна.

Почему же ты, Ульяна, от бригады отстаешь?
Почему же ты, Ульяна, полной нормы не сдаешь?
Ох, и ветряно, и пьяно! Ох, и взгляд её хорош!

Тут один, другой и третий говорит ей тракторист:
— Не твое, Ульяна, дело,—не твое и не берись!
А четвертый говорит ей: крой смелее, не стыдись!

День проходит. Два проходит. А Ульяна отстает.
Трое дразнят, а четвертый им руки не подает,
А четвертый на работе с нею об руку встает.

Холодны вы, ночи марта! Зябнет поле. Целина.
Ветром на-двое в разбеге ширь земли разделена.
Ночи мартовские, темные, бригадная весна!

Трое девушку встречают злой насмешкой у крыльца,
А четвертый озабочен, не узнать его лица.
А она: пускай смеются три недобрых молодца.

День проходит. Два проходит. Ночь и день, еще два дня.
Невеселые такие трое ходят у плетня.
Глаз бедовый у четвертого пылает без огня.

Что ж вы, парни, от Ульяны отстаете на версту?
Что ж вы, парни, отстаете, норму ставите не ту?
Ох, и ветряно, и пьяно сердце юности в цвету!

Ой, вы мартовские зори, черноземная весна!
Степь—распаханное поле, вся черным она черна
И лежат рядами зерна, где лежала целина.

Перевела *Мария Комиссарова.*

Иван Вырган

БАЛЛАДА О СЕСТРАХ

1

За далеким, синим бором,
За высоким косогором,
Где Сула вдали,—
Две сестры в отцовской ласке,
Словно в песне или в сказке,
Цветом расцвели.

У ворот тесовых сивых
Ждет отец своих красивых,
И они в цветах,
В песнях—в дом идут от пашен,
Тополей стройней и краше,
В молодых летах!

Быстро весны отцветают.
Ласточки перелетают,
Чтоб вернуться вновь.
Где ж вы, соколы-ребята,
С кем топтать полынь да мяту,
С кем водить любовь?

Канут листья. Встанут зори...
Будут гости, будут вскоре,
Будут издали.
Дорогим девичьим мылом
Сестры головы помыли,
Косы заплели.

В разукрашенной светлице
Синие летают птицы
В тучах рушников.
А внизу в разгоне конном
Ворошилов и Буденный
Посреди полков.

2

За дремучим синим бором,
За высоким косогором,—
В сто раз выше хат,—
Там лучом перевитые,
Золотые, золотые,
Две сестры стоят.

Старшая свой взор по сини,
Ясный взгляд свой за осины
На дорогу льет,
А сестра глядит в сторонку
Вдаль глядит и облак тонкий
По глазам плывет.

И одна в тревоге ловит
Звоны шпор и стук с дороги
Кованых копыт.
А вторая слухом жадным
К небу тянется—отрадной—
Милый прилетит.

Написали—будут в гости
Может завтра, аль сегодня,—
Радость хлынет в грудь.
Ой, долга, длинна дорога,
Путь к высокому порогу,
Каменистый путь.

И стоят две—в зорях—сестры
И лежат в долинах версты,
Опадает лист.
— Может, что случилось с ними?—
Сестры взглядов синий ливень
Опустили вниз.

Скрылись ласточки с долины
И горят кусты калины
Под окном, что кровь.
Листопад, но не упасть вот
Из сердец девичьих счастью,
Коль в сердцах любовь!

3

Засветил отец в светлице,
Ждет гостей. Стальные птицы
Сбили рушники.
Мчатся шелковые кони,
Едут Блюхер и Буденный
Осмотреть полки.

Перевел *Александр Прокофьев.*

Савва Голованивский

ДРУЖБА

Стих кончается грустью,
Кончается полночь стихом,
Как прочтенная книга,
Закрыта последняя рифма
И над серой бумагой
Встает одиночества тень.

Я глаза призакрою
Холодными дисками рук,
И ко мне соберутся друзей
Позабытые тени,
Наполняя жилище
Дыханьем своим и теплом.

И расступятся стены,
И сложится песня сама,
На знакомый мотив
Прозвучит незнакомое слово.
Узнаю тебя, дружба!
И славлю тебя и пою!

Трое было друзей нас.
(Бессмертная слава живым!)
Одного проводил я в гробу
По дороге печальной,
Через лес, бездыханного,
С желтым, как листья, челом.

В той, глухой стороне,
Мой товарищ нашел себе смерть;
Он искал ее всюду:
На темных путях и распутьях,
Меж обтесанных балок
И поднятых к небу стропил.

Он искал ее всюду,
Где только таилась она,

И за фронтом дубов,
Что стояли, как полк пограничный,
Он в ночной перестрелке
Нашел ее в пуле врага.

Опустили мы гроб
И сказали мы другу: прощай!
Нет, не каждый, не каждый
Так славно погибнуть умеет,
Так не каждый за родину
Голову сложит свою.

Мертвым—вечная слава,
Высокая дружба—живым!
Пусть в грядущих боях
Имена дорогие припомнят,
Как военный салют,
В орудийном победном дыму!

Трое было друзей нас,
И двое осталось в живых,
И когда моя грусть
В безответные окна стучится,
Ты приходишь ко мне,
Неподкупная дружба моя!

И шинель боевая
Спокойно лежит на тебе,
И осанка, и поступь
Вселяют отвагу и силу?
Так спасибо ж тебе,
И спасибо тебе и привет!

За отвагу—привет!
За великую силу—привет!
За прекрасную гордость,
Высокая честь—за доверье!
За сыновнюю верность
Любовь и спасибо тебе!

И когда ты на площади
Гордо вздымаешь свой штык,
Я спокоен за кровь,
И за честь, и за преданность друга,
Что достойно умрет,
Если нужно, в бою, как герой.

На далекой границе
Шумят вековые дубы
Над покоем друзей,

Свои темные ветви раскинув,
Как шеренги в строю
Пулеметом прославленных вахт.

Но идет наша радость
Из чащ, из таежных тишин,
По овеянным ветром
И полным покоя долинам
И встает, как солдат,
На победных границах моих.

Пусть наполнена дружбою,
Манит она и зовет,
И военным салютом
Гремят, отзываясь орудья
На могилах друзей
И в походах полков боевых.

Мертвым—вечная слава!
Высокая дружба—живым!

Перевела *Мария Комиссарова*.

ЛЕНИН НА АЛЕКСАНДРОВСКОМ ЗАВОДЕ

Сергей Спасский

Большевики на Николаевской дороге насчитывались единицами. Эсеры расселись вдоль железнодорожной сети. Эта расплывчатая крикливая партия, пользуясь отсталостью связанных с деревней железнодорожных низов, готова обещать, что угодно. Любыми путями она стремится увеличить численность членов. На предстоящем Всероссийском железнодорожном съезде эсеры рассчитывают занять первое место. В Исполнительном комитете Николаевской дороги выделилось их организационное бюро. „Обращайтесь к нам,—приглашает бюро.—Мы немедленно вышлем вам агитаторов и организаторов. Время не ждет, события не ждут. Прислушивайтесь к нашему голосу. Товарищи, „да не уподобимся тем девам, в светильниках которых к приходу жениха не оказалось масла".

Даже на Александровском заводе большинство рабочих отравлено соглашателями. Дункену приходится плохо. Его „обзывают" ленинцем. Это считалось тогда бранным словом. Дункен, высокий и сумрачный, прохаживался по мастерским.

— Эй, сколько тебе золота дали? За сколько ты продался Ленину?

— Ленин немало золота привез от немцев в запломбированном вагоне.

Вслед Дункену летели гайки. Он горбился и торопился пройти. Ему перегораживали дорогу.

— Постой. Отвечай рабочим. Мы тебя послали в совет. Какое ты хочешь правительство, если теперешним недоволен?

— Ленинцев вместе с немцами на шею нам хочет посадить!

— А что, если в топку тебя бросим?

В эти дни свой завод стал Дункену чужим.

У небольшого большевистского коллектива на заводе не было помещения. Собирались в райкоме или в районном совете. Иногда за городом на траве, чтобы не попадаться эсерам на глаза.

Под библиотеку заводский комитет отвел большевикам маленький шкафик.

— Вот там, ребята, шкафчик, прячьте ваши брошюры.

Туда легло несколько тонких тетрадок, отпечатанных на жесткой бумаге.

Особенно воодушевились эсеры, когда стал министром земледелия Чернов. Они возили Чернова по заводам, подготовляя министру всюду пышный прием. Александровский завод решил не отставать. Чернов должен появиться и здесь.

Заводские большевики знали о готовящемся митинге. Надо подготовить отпор.

— Нас, пожалуй, и слушать не станут.

— Погонят с трибуны, и конец.

— Привезем-ка мы своего Ленина,—предложил, подумав, Дункен.

Всех большевиков и сочувствующих предупредили:

— В ближайшие дни надо завод посещать. На митинге надо распределиться толково. Часть у трибуны, часть врассыпную по всем сторонам.

Проведя предварительные переговоры, Дункен в день митинга раздобыл автомобиль. Автомобиль дал Петроградский комитет партии. Дункен поехал на Широкую улицу. Ленин вышел. Оба уселись в машину. Дункен впервые видел Ленина так близко.

— Большая организация на заводе?

Дункен смутился, но хвастать нечем.

— Человек четырнадцать, пятнадцать. Пожалуй, столько же наберется сочувствующих.

— Ничего, окрепнете,—заметил Ленин.—Связь с ЦК не надо терять. Если понадобится, прибавим работников.

Ленин замолк. Дункен побоялся прервать молчание. Пусть думает о своем.

Машина въехала на заводский двор. Приезда Ленина никто не заметил. В то время Ленина не знали в лицо. Дункен и Ленин направились к „яме". Дункен был выше Ленина и шел немного впереди. Дункена окликали знакомые. У Ленина знакомых тут не было.

Огромный цех весь запружен народом. Чернов еще говорил. Он разыгрывал из себя простого и доброго малого, умеющего разговаривать с „народом" по-свойски. Весело потирал руку об руку, поправлял шевелюру, ухмылялся и пытался пошучивать. Дункен и Ленин протискивались к трибуне. Им нехотя уступали дорогу. Чернов выкрикнул высоким голосом приветствие временному правительству. Чернову бешено зааплодировали. Где-то в стороне раздался свисток. Но он потонул в общем прибое приветствий.

— Слово имеет товарищ Ленин,—внятно сказал председатель.

И вот тут-то и поднялся свист. Дункен побледнел. Он переглянулся с товарищами, заранее занявшими места вокруг трибуны. У всех были напряженные лица. Люди стояли, сжав кулаки.

Ленин взобрался на возвышение. Он ждал и осматривал толпу. Он стоял крепко и спокойно, слегка склонив голову на бок. Стало ясно, что он все равно не уйдет. Свистки и выкрики постепенно смолкли. Ленин негромко заговорил.

Негромко, но удивительно отчетливо. Словно разговаривал он в небольшой комнате. И обращался не ко всей массе, а к каждому человеку в отдельности.

Он начал без призывов, без ярких слов, которыми обычно забрасывали ораторы толпу. Он растолковывал каждому отдельно спокойные и убедительные мысли.

Могло показаться, что он говорит без подъема. Но в словах его неотступная настойчивость. Он словно брал слушателя за плечо и все снова и снова поворачивал перед его вниманием необходимые, обяза-

тельные доводы. И слушатель словно идет с ним рядом и кивает головой в такт словам.

Ленин слегка раскачивался, иногда повертывался всем корпусом из стороны в сторону. И вдруг оказалось, что в цехе глубокая тишина, все вбирающая, насквозь пропитанная вниманием. Лица невольно тянулись к оратору. Глаза принимали каждый его жест. Вот Ленин на мгновение остановился и откашлялся. И все задержали дыхание. Каждое слово ложилось вглубь сознания. Каждое слово правдиво и точно.

И само собой от всех доводов Чернова попросту ничего не осталось. Чернов отдаст земли без выкупа? Смешно и думать. Что такое Чернов? Ширма. И люди улыбались. Что такое временное правительство? Тут голос Ленина оказался громким. Слова со слегка картавым „р" кругло взрывались в примолкшем наглухо воздухе. Нужно очистить советы от соглашателей. Нужно бороться за власть советов. Нужна конфискация земель. Хлеб, свобода, немедленный мир. Слово „мир" широко покрыло толпу.

Да, все это, действительно, нужно. Это необходимо каждому из слушавших. Как могли они это забыть? Нет, пожалуй, никто и не забывал. Каждый словно остался наедине с собой, проверяя самые глубокие свои думы. И в то же время все были вместе. Неужели же все это в наших силах? Да, конечно, это о нас идет речь. Как могли мы усомниться в себе? Наши собственные, самые лучшие мысли, вот несутся они к нам навстречу, рассказанные ясными словами человеком, стоящим на возвышении.

Ленин резко обернулся и кончил. Мгновение собрание молчало. Словно люди остановились на-бегу с сильно бьющимися сердцами. Ленин наклонился, чтобы сойти с возвышения. И тогда со всех сторон набежавшие, одновременно взорвавшиеся аплодисменты разом наполнили цех. В этих аплодисментах, казалось, потерялся сам Ленин, спрыгнувший вниз и теперь сделавшийся невидимым. Но весь цех теснился к нему. Окружавшие Ленина большевики испугались. Вот Ленин подхвачен на руки, вот он вынесен общим потоком на двор. Дункен бешено пробирался вперед, чтобы не упустить Ленина из виду. Дункен взял Ленина за рукав, чтобы вытащить из толпы к автомобилю. Отдернув дверцу, Дункен пропустил Ленина вперед и сам впрыгнул в машину. Дверца захлопнулась. Громко гудя, маленький серый автомобиль выдирался из толщи невыпускавших его людей.

И теперь они ехали молча на заседание фракции совета в Таврический дворец. Ленин отдыхал после работы. Дункен хотел что-то сказать, но не мог.

— Вот это так,—думал он,—это правильно, это по-настоящему. Все вышло лучше, чем он предполагал, и в то же время иначе быть не могло. Дункен чувствовал счастливое удовлетворение. Да, он был прав всю свою жизнь. Вся эта хлопотливая изнурительная жизнь рядового рабочего, подпольщика, большевика показалась теперь Дункену легкой и нетрудной. Он правильно проводил эту жизнь и, в сущности, ему повезло. Повезло и том, что всегда он прислушивался именно к этому, сейчас сидящему рядом человеку, хотя и не встречался с ним непосредственно никогда.

— Главное, связь не надо терять,—повторялись мысленно сказанные Лениным слова.

Автомобиль подпрыгивал на плохо уложенной солнечной мостовой. На вокзальной площади—повседневный, непрекращающийся митинг. Что-то кричал в растегнутой шинели солдат, вскарабкавшийся на пьедестал под огромную чугунную морду царского понурого коня. Солдат поднял вверх кулаки, угрожая пыльному летнему небу.

— Связь с Комитетом,—думал Дункен.—Связь с Лениным. Это так. Это правильно.

ОКТЯБРЬ

Сергей Спасский

1

В дни Октября Николаевская дорога сумела выдвинуть свои красногвардейские отряды.

На Александровском заводе они сохранились с февраля. Это были те самые дружины, на долю которых выпало—вылавливать и обезоруживать городовых. Они влились в общие отряды рабочих Невского района. В феврале же они заняли под штаб помещение вечерних рабочих курсов. Вскоре Керенский счел дружины излишними. Он приказал их распустить. Охрана общественного порядка поручалась городской милиции. Здание курсов должно быть освобождено.

Эсеры подчинились министру. Большевики назвали дружины Красной гвардией. Штаб гвардии перебрался в трактир „Манчжурия". Начальником отряда был выдвинут рабочий Сергей Суворов. Попрежнему в организаторах и активистах состоял Изот Дункен.

Главное—не расстаться с оружием, как бы ни напирали эсеры. Оружие держали в квартирах. Каждый занимался учебной стрельбой, выбираясь за город или на другой берег Невы. Иногда происходили проверки приезжавшими членами большевистского комитета. Когда нужно было бороться с Корниловым, как из-под земли в Питерский комитет от района явилось двести вооруженных человек. С Корниловым драться не пришлось. Предстояли иные бои.

После ареста Корнилова Керенский вторично приказал разоружиться. Питерский комитет и военная организация большевиков предложили отрядам законспирироваться. Осторожно продолжали работать вербовщики. Несмотря на запрет Керенского, ряды Красной гвардии все увеличивались.

Во второй половине октября отряд был снова проверен. Проверяли т.т. Слуцкий и Дункен. Отряд вырос, вобрал в себя заводскую молодежь.

К Дункену тянулись нити с 1-го и 9-го участков службы пути. Там существовала партийная ячейка, еще в апреле организованная Калюкиным, Богдановым, Отто и Харитоновым. Разбредшиеся по различным общественным организациям –кто в милицию, кто в месткомы, эти февральские деятели не теряли друг друга из виду. Калюкин часто наведывался к Дункену посоветоваться в серьезных случаях. Ячейка насчитывала человек пятнадцать. Помещение ей не полагалось. Собирались в табельной на-ходу.

В июле ячейка притихла. Но не распалась, а медленно росла.

Дошла до девятнадцати человек. Встал вопрос об организации Красной гвардии. Все члены ячейки составили отряд. Отряд пополнился беспартийными рабочими. В корниловские дни отряд дежурил на участке. Во время забастовки охранял депо. Решение ПК о восстании своевременно дошло до ячейки.

Организатором отряда в Москве был Прохоров, слесарь вагонных мастерских. Вопрос о вооружении предварительно обсуждался в районном совете. Председательствовал там Пятницкий, сумевший вытеснить из совета соглашателей. Решено было вооружаться спешно. Большевики московского узла созвали рабочих на митинг. Единодушно прошла резолюция. Тут же Прохоров записал в отряд около тридцати человек. Но раздобывать оружие было трудно. Прохоров наскреб десять винтовок-берданок и четыре револьвера системы „Наган".

24 октября собрался ревком Невского района. В него входили от Александровского завода Котов и Дункен. Были назначены начальники отрядов. Точно размечены предстоящие операции. Выделен комиссар для занятия милиции. Рабочему тов. Воробьеву предстояло взять исполком. Отдельному комиссару предложено раздобыть еще оружие. На заводах созданы революционные тройки.

Когда к вечеру 25 октября Воробьев повел свой отряд к исполкому, он почувствовал облегчение, что, наконец, ожидания позади. Он не думал о мировой революции, о том, что эти числа навсегда врежутся в историю. Надо просто выполнить задание. И операцию провел он быстро.

Операция показалась ему незначительной. Даже странно, что так готовились к ней. В исполкоме не оказали сопротивления. Случайная охрана разбежалась. Отряд вошел в пустующие комнаты. И это все? Кажется, все. Надо переходить к очередной работе.

Ранним утром 26 октября другой отряд оцепил милицию. Эсеровский комиссар Беляковский выскочил растерянный и недоумевающий. Комиссара объявили арестованным. За него никто не вступился.

Один отряд отправился на вокзал. Там он и остался дежурить.

Другой перешел на правый берег Невы и разоружил полсотни казаков. Все дело было в полной ясности плана. В уверенности и решимости бойцов. Пусть не всегда они сталкивались с сопротивлением. Это радовало и облегчало задачу. Но если б встретилось любое препятствие, каждый бросился бы вперед, забыв о себе.

Дункен с группой членов партии явился в распоряжение Смольного. Антонов-Овсеенко присоединил группу к уже собранным рядам Красной гвардии. Ряды зашевелились и тронулись. Путь их лежал на Зимний.

Калюкин и красногвардейцы 1-го и 9-го участков службы пути решили остаться в своем районе. За Николаевской железной дорогой нужен внимательный надзор.

2

В бывшей квартире жандармского полковника Николаевской железной дороги в Москве, в конце пассажирской платформы южного поста,

25 октября происходило обычное заседание. Члены Викжеля [1] лениво беседовали, когда Малицкого вызвали к телеграфному проводу. Прямой провод находился тут же рядом на вокзале. Другой конец добирался до Петрограда, до министерства путей сообщения на Фонтанке. Оказалось, говорят петроградские викжельцы. Малицкий начал вчитываться в ленту.

Буквы на ленте вызвали недоумение. Что такое? Положение тревожное. Керенский в ставке. Съезд советов раскололся на две части. Его покинули все, кроме большевиков и левых эсеров. Однако, это еще не затрагивает железнодорожников,—пытался успокоить петроградцев Малицкий.

– Но войсками военно-революционного комитета занимаются все правительственные места. Есть опасность, что большевики захватят министерство. Тогда транспорт окажется в их руках. Требуется ваш приезд.

Данный довод был уже веским. Из Петрограда продолжался настойчивый зов. Главное, что положение непонятно. Пожалуй, всего разумней ехать.

В Москве оставили небольшое бюро: Гар, Эндимионов, Шаханов, Добытин и Федотов. Все остальные отправились в ту же ночь. Утром 26-го их встретил Петроград.

Их встретили петроградские товарищи.

— Что происходит?

— Пожалуй, революция.

— А, может, бунт? И он будет подавлен.

В городе неопределенно постреливали.

Приезжие направились в министерство. Картина представилась не слишком отрадная. Прежде всего, отсутствовало начальство. Ливеровский бежал, Тахтамышев арестован. Служащие бродили по комнатам, пугая друг друга все разраставшимися слухами. С фронта катятся казачьи эшелоны. Керенский разобьет бандитов большевиков. Город будет залит кровью. Комиссаром транспорта назначен Бубнов.

Члены Викжеля расселись тут же, в двух больших смежных комнатах. Во всяком случае, их отсюда никто не гнал. Они находятся в самом центре министерства. Нет администрации, с которой они привыкли спорить. Администрации, с которой старались договориться. Правда, она была не слишком покладистой. Отдельных людей Викжель предпочел бы не видеть. Но сейчас положение новое. Неожиданное, непривычное положение. Хозяев нет. Хозяева они сами.

Это выяснилось для них в тот момент.

— Итак, сейчас мы отвечаем за транспорт.

Малицкий осмотрел всех по очереди. Вомпе тряхнул головой и вскочил. Он был решительней других и горячей.

– Да, транспорт в наших руках.

Это и беспокоило, и льстило.

---

[1] Викжель — Всероссийский исполнительный комитет жел. дорог, избранный в августе на Всероссийском съезде железнодорожников в Москве, состоял в огромном большинстве из представителей меньшевиков и эсеров. Председателем в октябре был эсер Малицкий.

Значит, события их выбросили наверх.

— Как же мы относимся к событиям?

Малицкий оглядывал всех острыми, бегающими глазами.

— Не мы лично, но мы, как представители огромной железнодорожной массы.

Малицкий предлагал призадуматься. Вомпе [1] тотчас же попросил слова.

Ему казалось, что он рубит с плеча, как подобает прямолинейному революционеру.

— Правительство Керенского—правительство цензовиков. Его поддерживать явно нельзя. Им оставлен в наследство комитет спасения родины и революции. Организация явно реакционная.

— Ну, нет, это организация демократическая,—заметил с места кто-то из присутствующих.—В сущности, комитет—настоящая власть. К нему следует присоединиться.

— Да поймите же,—вскипел Вомпе,—железнодорожники за Керенским не пойдут. Керенский немало им насолил. Керенский довел до сентябрьской забастовки.

— Будем рассуждать спокойно и логично,—вмешался негромко Малицкий.

— Я и рассуждаю логично. Керенский — не знамя для масс. Но можно ли поддерживать большевиков?

Слушатели тревожно зашевелились.

— Большевистский военно-революционный комитет, — продолжал Вомпе,—люди, выкинувшие вреднейшую авантюру. Комитет, говорящий от лица одной партии. Разве железнодорожники все большевики? Разве одна партия справится с задачами, стоящими перед страной?

— Так что же вы предлагаете?

— То, что я предлагаю,—всем ясно. Мы не будем поддерживать никого. Мы объявим нейтралитет.

Обсуждение происходило со скрипом. Были возражения: какой там нейтралитет. Мы вовсе не третья держава, которая смотрит со стороны на воюющих. Железнодорожники не на особой территории. Война не может их не задевать. Однако, сейчас же становилось понятным: к большевикам присоединяться нелепо, итти с Керенским—оторваться от низов. В общем, как ни прикидывай, без нейтралитета не обойтись. Само слово выглядело заманчиво. Оно представлялось твердой платформой.

Итак, позиция найдена. Она преисполнила членов Викжеля самодовольством. Она представилась им безукоризненно-мудрой, ставящей Викжель в особое положение. Другие воюют, мы не воюем. Значит, мы видим лучше других. Мы—особая благая сила, способная всех образумить. Наш нейтралитет не пассивен, это активный, требовательный нейтралитет. Мы обратимся к враждующим сторонам и заставим их сложить оружие. То, что стороны эти не равноценны, то, что одна движет историю вперед, другая же обращена в прошлое, то, что одна — воспрянувший пролетариат, другая—реакционная буржуазия,—было Викжелю якобы невдомек. Впрочем, многие члены Викжеля это знали. И решили совершенно сознательно помешать пролетариату взять власть.

[1] Представитель Николаевской дороги в октябрьские дни.

— Мы предложим воюющим сторонам сконструировать объединенную власть. „Славный“ железнодорожный союз с честью выполнит свою высокую роль.

Оружие против обеих сторон—угроза забастовки на транспорте.

И вот, в первый же день пребывания в Петрограде, 26 октября, Викжель рассылает по дорогам первую руководящую телеграмму:

„Викжель... в виду отсутствия... власти, авторитетной для всей страны, и руководствуясь необходимостью сохранения единого демократического фронта и самого существования Российской республики, а также для сохранения транспорта от полной разрухи, постановил: 1) Викжель относится отрицательно к захвату власти одной какой-нибудь политической партией, 2) власть должна быть революционно-социалистической и ответственной перед полномочным органом всей революционной демократии“.

Какой орган тут разумел Викжель—из телеграммы было неясно.

„3) Впредь до организации такой власти все распоряжения по ведомству путей сообщения, в том числе и по всей сети железных дорог, подлежат исполнению лишь в том случае, если они исходят от Викжеля“.

Пока Викжель вырабатывал это обращение, в министерство приехал молодой человек. Он прошел в комнату заседания и назвался народным комиссаром. Члены Викжеля прервали беседу и приняли молодого человека. Они разглядывали посетителя с недоумением, в то же время чувствуя некоторую робость. „Так вот он—захватчик и насильник, намеренный навязать свою волю транспорту“.

Молодой человек держался спокойно. Говорил тихо, без выкриков, без угроз. Он объяснил терпеливо и убедительно, что власть отныне принадлежит пролетариату. Нужно Викжелю работать с военно-революционным комитетом, если Викжель, действительно, хочет помочь революции. Члены Викжеля смотрели, насупившись. Их страх постепенно испарялся.

— Нам нужен ясный ответ,—закончил молодой человек.

Викжелевцы решили, что человек не опасен. Они нашли его даже незначительным. Он не походил ни на прежнее начальство, ни на громкоголосых демократических вождей. Члены Викжеля сидели, достойные и самоуверенные. Что понимает такой человек в транспорте? Нет, они помедлят с ответом. Им надо остаться одним. Они привыкли к „свободному обмену мнений“. Присутствие комиссара их связывает. Молодой человек простился и вышел. Члены Викжеля обменивались восклицаниями:

— Так вот он каков—Бубнов.

Малицкий пожал плечами.

— От работы с ним нельзя ждать доброго. Мы сами управимся с министерством.

Тотчас для этого было выделено бюро: Вомпе, Дементьев, Крушинский, Стамбо, оставшийся в Москве Гар. Викжель перешел к редакции воззвания, не задумываясь над отдельным ответом Бубнову. Впрочем, и Бубнов, отвлеченный другими делами, вскоре отстранился от железных дорог.

В дополнение к своей первой депеше Викжель выпустил добавоч-

ную инструкцию. Окончательно утвердившись в своей программе, он принялся ее всем разъяснять. Словно некое поэтическое одушевление овладело этими достаточно посредственными людьми. Они опьянялись словами и пытались ими затушить революцию.

„Идет братоубийственная война,—патетически констатировал Викжель.—В то время как внешний враг угрожает свободе народа, демократия решает свои внутренние споры кровью и железом... В видах сохранения свободы страны и спасения революции центр. исполн. комитет Всероссийского железнодорожного союза с самого начала настоящей междоусобицы признал для себя обязательным строгий нейтралитет и объявил, что единственным средством достижения мира внутри страны он признает однородное правительство, в создании которого должны принять участие все социалистические партии от большевиков до народных социалистов включительно..."

Такая адвокатская позиция, подобная обывательская справедливость не могли не приттись по вкусу промежуточным, не знающим, куда ступить, средним слоям железнодорожников. В этом смысле Викжель был прав, заявляя впоследствии, что он выражал настроения многих. Все обыватели страны, все враждебные пролетариату партии почувствовали родственные ноты в голосе викжельских „вождей". И как бы ощущая сочувствие этих кругов, Викжель продолжал с возрастающей решительностью:

„Викжель заявляет всем гражданам, рабочим, солдатам, крестьянам свое непреклонное решение и категорическое требование: немедленно остановить гражданскую войну и сплотиться для образования нового однородного революционного социалистического правительства. Железнодорожный союз заявляет, что он к проведению своего решения будет стремиться всеми имеющимися у него средствами, вплоть до прекращения всякого движения на дорогах".

3

Горячий тон этого последнего послания объяснялся тем, что события разгорались. Под Петроградом обнаружился Керенский. По проводам неслась его захлебывающаяся телеграмма: „Всюду и всем, всем, всем". Она начиналась с перечисления титулов, уже не принадлежащих этому упраздненному историей человеку:

„Объявляю, что я, министр-председатель временного правительства и верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами Российской республики, прибыл сегодня во главе войск фронта, преданного родине. Приказываю всем частям Петроградского военного округа, по недоразумению или заблуждению примкнувшим к шайке изменников родины и революции, вернуться, не медля ни часу, к исполнению своего долга".

В этот же день, 27 октября, Керенский объявил о своей первой „победе":

„Город Гатчина занят войсками, верными правительству, без кровопролития... предписываю все назначенные в путь эшелоны быстро продвигать вперед..."

К воплям Керенского присоединилось глухое рычание генерала Краснова, назначенного „командующим войсками, сосредоточенными под Петроградом“:

„Казачья клятва спасти Петроград от анархии... а Россию от несмываемого пятна позора... наброшенного... кучкою невежественных людей, руководимых делегатами Вильгельма... их чисто-немецкая выходка отшатнула от них всю Россию...“

Генерал не жалел ярких красок. Из всего этого было ясно одно. Война еще может продолжиться. Казаки могут появиться под Петроградом.

Но главное, что растревожило Викжель,—это вести, поступившие из Москвы. Их сообщило по прямому проводу бюро Викжеля, оставшееся там. Московское бюро так и застряло на вокзале рядом с помещением телеграфа: члены бюро спали по очереди на вокзальных диванах и столах. Иногда забегали передохнуть в специально поставленный для них на запасных путях вагон. Не только работоспособностью объяснялось охватившее их рвение. Дело обернулось довольно скоро так, что им просто нельзя было высунуться на площадь. Москва огласилась выстрелами, и пули перегородили все пути.

На Николаевской дороге началось это так: Ионов, Бочаров и Мажокин явились к комиссару дорожной охраны Дендурианцу. Комиссару объявили постановление сдать оружие революционному комитету. Членами революционного комитета и были пришедшие товарищи. Комиссар и охранники не стали сопротивляться. Сопротивляться им было нечем. Они отдали несколько старых берданок. К берданкам патронов не нашлось.

Большевики забрали берданки и вышли на платформу посоветоваться.

— Пустые берданки, куда нам они?

— Все же не палки, а похожи на ружья.

— Пойдем-ка теперь с этими берданками обратно. Попробуем изъять у милиционеров револьверы.

Берданки выглядели в руках красногвардейцев грозно. Возможно, комиссар предположил, что к берданкам подысканы патроны. Он согласился разоружить милиционеров, ему дали милостиво часовой срок. Через час явился он с четырьмя „наганами“.

— Больше нет милиционеров на вокзале.

— А теперь оставьте помещение. Комиссаром буду я—Мажокин.

Мажокин принялся исследовать свои владения. Тут же наткнулся он на ящик с наганами. Их разобрали все члены ревкома. Их получил весь красногвардейский отряд, состоявший из тридцати человек. Правда, патронов к ним не было тоже. Но все почувствовали себя веселей. Часть отряда заняла южный пост. Южный пост был объявлен штабом. Часть отправилась на Казанскую дорогу, где обнаружился целый вагон винтовок. Вскоре товарищ из Твери пригнал в теплушке несколько ящиков с патронами. Теперь отряд был обеспечен оружием. Штаб приказал не оставлять дорогу. Поесть отправились в царский павильон на Казанку. Буфетчику заявили попросту, чтобы обед был готов для всех. Буфетчик клялся, что нет продовольствия.

— А ну-ка, покажи кладовые.

Буфетчик не стал упорствовать. Обед вскоре был сервирован. Же-

лающих кормиться оказалось достаточно. Буфетчику нехватило посуды. Он с трепетом извлек серебро, украшенные вензелями ножи, вилки, ложки. Хранившееся для парадных случаев массивное столовое оборудование.

Один красногвардеец шутил:

— Вот большевики молодцы. Сейчас кормят богато. Что после победы будет?

Большинство бойцов осталось у путей. Но отдельные все же бросились в город.

Стоял осенний пасмурный день. Высокие облака быстро летели над крышами. Улицы поначалу были еще полны выжидающим движущимся народом. Изредка прокатывались выстрелы, но не сразу определялось их местонахождение. Передавались слухи, что образованы комитеты военно-революционный и общественного спасения. Трамваи не шли, и несвязанный ими город сразу словно распался на отдельные, далеко отстоящие друг от друга части. Обыватели знали, что делается поблизости. Как живется в других краях, было неясно и неопределенно.

Московские викжельцы беседовали на вокзале. Их навестили по очереди представители обоих комитетов. Каждый предлагал установить связь. Викжельцы подумали и решили так: согласно телеграмме из Петрограда, нельзя поддерживать власть одной партии. Значит, надо входить в комитет общественной безопасности. Ведь это вполне „демократическое“ учреждение. Там объединялись представители исполнительного комитета крестьянских депутатов, всероссийского почтово-телеграфного союза, городского и земского самоуправления и подобные им почтенные деятели. Тут подъехал начальник военных сообщений Московского округа инженер Майстрюков. Он рассказал, что Красная гвардия вооружается. Красногвардейцы засели в Кремле. Намерены захватить арсенал. Гар заявил, что колебаться вредно. Он спешно направился к полковнику Рябцеву, приказавшему от имени комитета безопасности красногвардейцам сдать оружие, и заверил без проволочек полковника, что железнодорожники на его стороне.

— Нельзя допустить красногвардейцев в арсенал,—горячо доказывал Гар.—Начнется стрельба, гражданская война.

Рябцев сделал вид, что согласен с Гаром.

— Вопрос о власти пусть решает Петроград Я здесь гражданской войны не допущу.

Тем временем арсенал был занят Красной гвардией. Рябцев окружил его снаружи юнкерами. Большевики захватили почтамт. Рябцев стянул войска к Московскому совету и Александровскому училищу. Одновременно Рябцев предъявил ультиматум—распустить военно-революционный комитет, очистить почтамт, или он начнет обстреливать Кремль. Тем самым, „несмотря на меры,—так говорили члены Московского бюро Викжеля,—предпринятые комитетом общественной безопасности, гражданская война началась“.

Было 26 октября.

В Кремль ворвались юнкера. На них напали из засады красные. Произошел первый бой.

На двух переходящих одна в другую площадях, на Театральной и Вознесенской, хмуро шевелилась огромная толпа. Здесь были рабочие,

оставившие заводы, солдаты, ушедшие из казарм. Толклась учащаяся молодежь, притянутые любопытством обыватели. Многие из них выбрались, как на прогулку, желая принести домой последние сведения. Они весело двигались по необычно запруженным улицам, переговариваясь со встречными и случайными спутниками. Их донесло до центра, и здесь все выглядело серьезнее. Хотя толком никто не знал, кто в Кремле, где юнкера, где Красная гвардия, но разговаривали здесь почему-то с осторожностью. Многим начинало казаться, что забрались они слишком далеко. Что-то происходило рядом. И не понять, кто враг, кто друг. Люди осторожно оглядывались, определяя единомышленников по одежде, по случайно оброненной фразе, по выражению лица. Толпа стояла и глухо бурлила на месте, как медленно закипавшая вода. По серому небу летели быстрые облака. Вдруг где-то с краю началось движение, передававшееся, перекатывавшееся по рядам. Кто-то кричал, пытаясь пробиться назад. Люди бросились на ступени Большого театра, отжимались вглубь узкой Петровки. Образовалась давка на пологом подъеме Тверской. Юнкера Рябцева напирали со стороны Кремля. И вот—один залп, другой. Рябцев перешел в наступление. Пули хлестнули по толпе и взбаламутили ее целиком. Теперь бежали, опрокидывая друг друга.

Площади торопливо освобождались с тем, чтобы на несколько ближайших дней остаться пустыми от пешеходов и транспорта и предоставить свои обнесенные камнем пространства для непрестанной, настойчивой перестрелки.

Но выстрелы проникли и на Тверскую. Откликнулась Арбатская площадь. Люди внедрялись в дома. Захлопывались подъезды, задвигались ворота. Фронт гражданской войны пересек по всем радиусам Москву.

Дни с 26-го по 28-е Гар занимался тщетными разъездами. Он понимал отлично одно—красногвардейцев надо разгромить. Но он был невоенным человеком и пытался обезвредить их штатскими методами. Его занесло в военно-революционный комитет, где он проповедывал прекращение кровопролития. Сочувствующих там он не нашел.

— Вы б, товарищ, лучше не путались.

Для равновесия он снова попал к Рябцеву. С Рябцевым беседовал он кротко и по-дружески. Рябцев пожал плечами:

— Сами видите. Оружие добровольно не сдают.

Наконец, Гар застрял в комитете спасения, в здании городской думы. Там чувствовал он себя на своем месте. На улицу уже было не высунуться.

28-го ему позвонили с вокзала:

— Наши-то в Петрограде надумали. Прислали постановление—чтоб железнодорожники выходили из состава воюющих организаций.

— Да что они с ума сошли!—закричал в трубку Гар.—Они ставят нас в дурацкое положение. Что я скажу комитету спасения?—Он отошел от телефона возмущенный.

Комитет спасения в этот момент заседал. Гар попросил слово вне очереди и передал инструкцию Викжеля.

— Я, к сожалению, должен уйти! Против воли, но ничего не поделаешь. Решение вышестоящих органов.

Гар был красен и зол.

Но и в Питере не все было гладко. Нейтралитет трещал по всем швам.

Против нейтралитета ополчились многие. Один из первых—недавний начальник Николаевской дороги инженер И. Я. Манос. Он узнал, что в министерство прибыли из Москвы викжельцы, и немедленно впал в негодование:

— Что за незаконный захват? Пусть Викжель не напускает туману. В своей телеграмме он нас уверяет, что отмежевывается „от бунтовщического движения большевиков". Но каково его поведение? Он пытается забрать в руки „ведомство". Ни в коем случае не подчиняться Викжелю. Мы признаем только „законных руководителей". Если сам министр арестован, власть „по ведомству перешла к его товарищам и далее в порядке старшинства".

Манос созвал совещание из начальников служб и их помощников. Совещание дружно решило, что Викжель им не вождь.

28-го в министерский приют викжельцев прибыл бывший министр труда Скобелев. Сейчас состоял он членом комитета общественного спасения родины и революции. Скобелев приехал воздействовать на Викжель.

Скобелев говорил округленно и мягко. Он отлично умел держаться. Сейчас в нем не было той непреклонной решимости, какая переполняла его недавно в зале Всероссийского железнодорожного съезда. Сейчас он выглядел грустным и озабоченным, как человек, переживший большую потерю. Во всяком случае, он хотел казаться таким, грустным и ласковым, готовым на откровенные разговоры. Его обрамленное небольшой бородкой в высшей степени „интеллигентное" лицо по очереди обращалось к слушателям с выражением дружелюбного упрека.

— Да, мы не можем не понять друг друга,—так и струилось из скобелевских глаз.

— Ну, подумайте сами, причем тут нейтралитет,—ворковал он, как бы поглаживая слушателей.—Можно ли говорить о нейтралитете, имея дело с большевиками? С кучкой людей, захвативших власть путем обмана и лжи. Они ведут революцию к гибели,—тут Скобелев посмотрел особенно пристальным вдумчивым взглядом, — и рабочее движение к уничтожению. Неужели же не понимает Викжель, что нейтралитет—преступление перед родиной. Конечно, и у нас были ошибки. Я имею в виду временное правительство. Я ошибался, поддерживая коалиционное министерство. Но я сейчас тоже за объединение социалистических партий. Только без большевиков. Социалистами их считать нельзя.

Скобелев говорит обаятельно. Члены Викжеля сидят, как под гипнозом.

— А Керенский?—словно просыпается Вомпе.— Как вы относитесь к Керенскому?

Скобелев понижает голос, как бы поверяя государственную тайну.

— С Керенским дело обстоит сложно.

Скобелев пожимает плечами.

— Он, вероятно, будет выключен из всех правительственных комбинаций. Но, знаете, необходимо скомпрометировать в массах самую идею переворота, произведенного с помощью штыков. Необходимо,

чтобы власть была преемственна. Поэтому Керенского надо пустить в Петроград. Здесь он должен специальным указом передать власть другим министрам. Но главное—надо спешить.

Тут Скобелев проявляет беспокойство.

— Есть слухи, что Ленин со штабом на „Авроре“, и к нему примкнул броневой дивизион.

Скобелев уходит. Члены Викжеля сумрачны. Пожалуй, Скобелев прав.

— Но Керенский!—вновь огорчается Вомпе.—Пустить Керенского в Петроград—железнодорожники на это не пойдут. Мы вызовем в их среде раскол. Нет—наша позиция правильна.

4

На Николаевской дороге викжелевскую линию должно проводить бюро, состоящее из пяти человек. Бюро выделилось в начале событий из последнего выбранного перед самым переворотом комитета служащих дороги. Оно было названо чрезвычайным. Инструкций оно не получило никаких. Действовать полагалось ему, согласно „революционной совести“. В бюро вошли кадет Живописцев, правые эсеры Мешков и Микеладзе, левый эсер Осипов и беспартийный Леманский. К работе бюро имел отношение член комитета большевик Сарман, хотя главное внимание его было отвлечено Александровским заводом.

С первых же часов своего существования бюро попало в водоворот. Малицкому просто было рассуждать о нейтралитете, заперших в твердынях министерского здания. Но здесь, на переполненном вокзале, у пугей, сотрясающихся от поездов, неизвестно откуда поступающих, неизвестно кого привозящих, в комнате, куда врываются люди, споря, угрожая и требуя, в потоке телеграмм, в звоне телефонов - здесь было от чего растеряться.

Члены бюро проявили свою „революционность“ прежде всего тем, что бросились к Маносу. Начальник дороги принял их важно.

— Чем могу быть полезен, господа?

Мешков сразу же пустился откровенничать.

Он любил душевный разговор, с наигранным размахом и простоватостью.

— Вот, многоуважаемый Иван Яковлевич, положение создалось такое. Снабдили нас неограниченными полномочиями, но ведь и вы существуете, и администрация. Не должно быть двойственности в распоряжениях. Это создает на линии рознь.

— Да, конечно,—ответствовал Манос.

— Момент тревожный, ответственный.

Манос согласился и с этим.

— Нашу деятельность надо объединить.

Манос кивнул головой.

Поощренный Мешков возликовал. Он многого боялся в жизни. Но особенно боялся двух вещей—большевиков и ухода администрации. Вдруг начальство возьмет и уйдет. Как справиться тогда с дорогой? Все месяцы комитетской своей работы Мешков положил на отыскание

„общего языка". Не с пролетариатом, а с властями. И вот настал долгожданный момент.

— Но может случиться,—чуть огорчился Мешков,—что только вы согласны с нами работать. Вы, Иван Яковлевич,— администратор, идущий с нами по одному пути. А остальные, а начальник служб,—ведь за них поручиться нельзя.

— Действительно,—пробурчал в бороду Манос,—за всех поручиться трудненько.

— Но вы, Иван Яковлевич, повлияйте.

— Да что же, отчего не повлиять.

Бюро ушло со спокойным сердцем и тотчас обрадовало линию телеграммой:

— Произошло полное единение. Мы с администрацией и администрация с нами.

Но Мешкову пришлось огорчиться. Вскоре явились в бюро телеграфисты. Они принесли текст другой депеши, подписанной начальником дороги. Текст недвусмысленно объяснял всем интересующимся железнодорожникам, что бюро тянет руки к власти, и распоряжений бюро исполнять нельзя.

Мешков испытал огорчение и дальше. Он сунулся к рабочим 1-го и 9-го участков службы тяги. Но при первых же словах о нейтралитете Мешкова попросту арестовали. Калюкин снял его с трибуны и пообещал отправить в Кронштадт. Викжелю удалось вызволить Мешкова. Но судьба была жестока. В течение октябрьских дней Мешков арестовывался четыре раза.

Впрочем, страдал не только Мешков, но и все „чрезвычайное бюро". Пока бюро ждало и согласовывало, революционный пролетариат не ждал.

О Николаевской дороге не мог не вспомнить Смольный. Еще 25 и 26 октября Я. М. Свердлов, направляя отдельных большевиков на различные важные участки города, назначил товарища Л. Г. Лебита комиссаром Николаевского вокзала.

— Надо взять вокзал в свои руки. Постарайтесь захватить дорогу.

Лебит побывал у т. Лациса и получил комиссарский мандат. Затем встретился с Антоновым-Овсеенко, стараясь выяснить, что следует предпринять.

— Отправляйтесь на вокзал и ждите приказаний.

Лебит пришел на вокзал.

Членов бюро прибытие Лебита не обрадовало. Им достаточно и так беспокойств. Гость из Смольного—прямое давление на железнодорожников. Вмешательство в их внутренние распорядки. Лебит уселся в комнате бюро. Он разглядывал людей, с которыми предстояло ему иметь дело. Те делали вид, что очень заняты и что предварительные переговоры уже кончились. Ведь Лебиту было ясно заявлено, что бюро против „кровопролития". С таким заключением Лебит может уходить. Но Лебит оказался упрямым.

— А какую же комнату вы мне отведете?

Члены бюро переглянулись.

— Простите, зачем вам комната?

— Может, придется кое-кого принимать. Я же комиссар вокзала.

И, действительно, Лебита уже разыскивали. Из военно-революционного комитета его нашел товарищ с приказом: отправить группу большевиков в войска Керенского для агитации и распространения литературы.

Лебит вышел в соседнюю комнату и там ознакомился с приказом. Читая приказ, он осматривал комнату и решил, что она ему подходит. Он заглянул в помещение комитета:

— Вот в этой комнате я буду находиться.

Так началась совместная деятельность Лебита с возмущенными членами бюро. На следующий день по настоянию Лебита бюро созвало нечто вроде пленума. Разговоры тянулись до вечера. Лебит не столковался с бюро. Но к нему пришло несколько большевиков-железнодорожников. В их числе мостовой мастер Таран.

— Я больше ждать не намерен. Чинят препятствия, значит надо их арестовать.

Это предложение Лебита было принято единодушно. Лебит решил отправиться в военно-революционный комитет, взять там вооруженную подмогу и, обезвредив членов бюро, занять телеграф и приставить матросов к начальникам служб.

В это время под Гатчиной шел уже бой.

На бюро стали напирать отовсюду. Начальник движения, под предлогом отправки войск на западный фронт, послал Керенскому два эшелона. Этот маневр бюро прохлопало, но проявило бдительность в другом случае. Звонят путиловцы, просят дать паровоз. В паровозе путиловцам отказали. Из Финляндии двинулись революционные войска, намеренные прорваться в Москву. Бюро дружно распорядилось — развести мост, войска задержать.

Большевик Таран, механик моста, ответил коротко и отчетливо:

— Пока я жив, мост разведен не будет.

И известил большевика Сармана.

Сарман снесся с Невским районом. С Александровского завода прибыло десять красногвардейцев. Сарман направил их на охрану моста. Таран продежурил с ними бессменно пять суток.

Финляндцы начали перебираться через мост, но дальше продвижение шло туго. На дороге противоречивая возня. Множество служащих побросало работу. Застряв неподалеку от Питера, финляндцы выслали представителей на дрезинах. Кое-кто пошел просто пешком, чтобы в центре разобрать, в чем заминка.

И вот они появились на вокзале, настойчивые, нетерпеливые и уставшие от препирательств с мелким и средним железнодорожным начальством. Они бродят по забитому помещению, ловят встречающихся служащих.

— Что вы держите нас? Вы хотите, чтобы мы против вас действовали?

Служащие шарахались в сторону.

— Это комитет не везет.

— Покажи нам ваш комитет.

Солдаты входят в комнату к Осипову. Осипов пробует сослаться на Викжель. Солдаты знать не знают Викжеля. Они вытягивают из кобур револьверы.

— Пускай составы, а то расстреляем.

Осипов кричит в отчаянии:

— Расстреливайте, но эшелоны от этого не пойдут.

Солдаты выводят Осипова из комнаты и объявляют ему об аресте.

Одновременно подоспел Лебит с матросами и задержал всех членов бюро. Тут же в помещении комитета они были оставлены под стражей.

Лебит занялся формированием эшелонов против Керенского.

Лебиту некогда было следить за арестованными. Он метался и по вокзалу, и по управлению. Ему пришлось возиться и с телеграфистами, поначалу отказывавшимися исполнять его требования. Он обегал начальников служб, требуя погрузки и отправки революционных эшелонов. Он убеждал неподатливых машинистов, заставляя их обслуживать паровозы. Среди других рабочих к нему присоединился Калюкин, сразу ставший его деятельным помощником. Калюкин внимательно следил за путями и во-время сообщил Лебиту о следующем:

— Члены бюро на свободе и хотят обогнать эшелоны, чтобы разобрать перед ними путь.

Лебит, Калюкин и группа рабочих помчались к указанному месту. Действительно, они застали паровоз, вполне готовый к отправке. На паровозе знакомые фигуры — Мешков, Леманский и Микеладзе. Лебит и Калюкин не стали с ними объясняться. Их сняли и задержали опять. Так Мешков, уже привыкший к подобным переживаниям, снова вынужден был „подчиниться насилию".

Оказалось, что освободил членов бюро вступившийся за них сердобольный Рязанов. На этот раз бюро окончательно было упразднено. От его состава откололся Осипов.

Осипов, бывший тогда еще левым эсером, серьезно задумался над происходящими событиями. Нейтралитет явно оказывался бессмыслицей. Тов. Лебит говорил справедливо. Соратники Осипова по бюро активно служат контрреволюции. Быть связанным с ними—позор. Действительно, буржуазия сейчас сражается с пролетариатом. „Чего мне пропадать за буржуазию?". Осипов решительно стал на сторону Лебита.

В ночь на 29 октября Осипова окликает телефонный звонок. Звонят с Фонтанки от Викжеля и спешно требуют приехать. В комитете, кроме Осипова, был Сарман. Оба садятся в автомобиль.

Город темен и мокр. Кое-где перекатываются выстрелы. Воздух так густ и непроницаем, что странно, кто в кого может целиться. Но стреляют, не заботясь о целях. Сторонники Керенского палят по автомобилям. Выстрел рождает ответные выстрелы, раздающиеся больше для острастки. Чтобы враг знал — оружие наготове, порох не отсырел и еще способен взрываться.

Звякнуло автомобильное стекло и, распоротое пулей, осыпало осколки на пол кабинки.

У Викжеля шло очередное заседание.

— Доложите о положении на дороге,—обратился к Осипову Малицкий.—Викжелю известно, что дорога вышла из состояния нейтралитета.

Осипов ожесточился. Он обрушился прежде всего на администрацию. Это она начала первая. Теперь попробуй, восстанови нейтралитет. Эшелоны действительно прорываются.

— Голыми руками нейтралитет не проведешь. К тому же служащие в управлении бастуют. Сегодня вовсе не вышли на работу. В таких условиях я не сторонник нейтралитета.

— Впрочем, сейчас воинских перевозок не производится,— солгал Осипов, чтобы отвязаться от Викжеля.

5

29-го в Белом зале министерства Викжель собрал совещание о власти. Был промозглый осенний вечер, словно растворивший в себе притихший город. Стены домов казались рыхлыми от влаги, впитавшейся в их бурый, бесцветный камень. Обыватели попрятались в квартирах. По улицам изредка прокатывались грузовики. Иногда темной, крепко сцепленной группой по мостовой проходил красногвардейский отряд. Ставшая привычной, разрозненная перестрелка как бы заявляла, что борьба еще идет.

Полутемными длинными коридорами блуждали по министерству путей сообщения приглашенные. В коридорах было зябко и неуютно, люди с трудом отыскивали путь. Но зато Белый зал освещен множеством повсюду разбросанных ламп. Люди входили и узнавали друг друга. Все они знакомы между собой. „Деятели", „представители", „руководители",—чуть не все оттенки российской контрреволюции. В этом зале, как в витрине музея, они выставлены все напоказ. „Социалисты" разных мастей и окрасок, „носители демократических идеалов".

В семь часов вечера Малицкий встал за столом президиума. Множество лиц в течение семнадцатого года чувствовали себя на короткое время причастными к славе и власти. Власть освещала их на мгновение, словно прожектор, и потом луч света оставлял их навсегда. Так было в течение нескольких мартовских часов с Ломоносовым, воображавшим, что вершит он государственные дела. Освещенные этим непостоянным прожектором, выступали члены временного правительства. Сейчас Малицкий стоял, озаренный воображаемым этим сиянием. Кто предсказал бы ему несколько недель назад, что он всерьез будет организовывать правительство. И ему думалось—в образующемся правительстве и для него приготовлено место.

Малицкий говорит поначалу спокойно, только лицо его чуть подергивается от напряжения.

— Викжель считает своим долгом...—произносит он священную формулу.

Слово Викжель, подхваченное всеми газетами, и для самого Малицкого приобрело особо весомую реальность.

— ...считает долгом примирить ставших на непримиримые позиции представителей социалистических партий...—Малицкий чувствует себя высшим судьей, осуществляющим объективную справедливость.

— ...и положить конец гражданской войне. Викжель предъявляет борющимся партиям свои требования, направленные к созданию однородной социалистической власти от большевиков до народных социалистов включительно. Викжель всей силой своего авторитета поддержит ту группу, которая согласится действовать на основе этой программы.

Малицкий стоит, как новый Моисей, принесший народу новые заповеди. Он садится и осматривает зал. В зале—неопределенное движение.

Что оно значит, Малицкий не сразу понимает. Он еще переживает свое выступление. Но вот словно расходятся облака, заволакивающие всю территорию сцены. Действующие лица становятся видимыми.

Первым выступает гражданин Знаменский, член „мощной" партии народных социалистов. Центральный комитет этой щепетильной партии не нашел возможным делегировать официально своего представителя на совещание, где присутствуют большевики. Поэтому Знаменский торопится объяснить, что он здесь от лица комитета спасения родины и революции. Сделав столь существенное сообщение, снимающее все тени с собственного политического одеяния, Знаменский на этом смолкает. Тогда Вайнштейн от комитета спасения вносит поправку к речи Малицкого. Комитет, конечно, за социалистическое министерство, но без участия большевиков. Член союза служащих государственных учреждений, разумеется, поддерживает Вайнштейна.

Переговоры можно вести различно. Можно говорить, опираясь на победу, твердо веря в свою правоту, в то, что власть за тобою по праву. Можно говорить и знать—за тобой миллионы людей. Все лучшее, что есть в народе, выделило тебя своим представителем. Ты—голос победившего класса, ты выходишь вместе с ним на дорогу. Ты во-время бросился в бой и доведешь его до конца. И тогда можно сказать: приходите все, кто хочет вместе сражаться. Кто хочет вместе работать. Дела хватит для всех. „Мы никого не исключали. Если меньшевики и эсеры ушли, то это преступление с их стороны". (Ленин. Соч., т. XXII, стр. 50—51, изд. 3-е.)

Поймите, что народ победил. Что тут... „торговаться о власти? Мы не хотим торгов с переторжками". (Ленин, там же, стр. 51.) Любого честного союзника мы примем в свои ряды.

Так считало руководство ЦК во главе с Лениным и Сталиным. Для такого прямолинейного разговора оно послало в Белый зал делегацию.

Но Каменев полагал иначе. Вместе с Зиновьевым перед самым восстанием предавший подготовлявшийся переворот, как предавал он большевистскую партию в любой ответственный момент, не веривший, что переворот возможен, не понимающий, что он уже состоялся, он сидел сейчас, прижавшись к спинке кресла, мрачный, озабоченный и недовольный. Он держался за ручки кресла пухлыми большими руками. Или поправлял быстро пенсне или касался пальцами широко облепившей лицо бородки. Ему было явно не по себе, как всегда с ним случалось в решительные минуты. Он боялся, он не хотел всего этого—стрельбы на улицах, открытой борьбы. Пусть за нами большинство рабочих, это хорошо, это можно использовать. Можно получить достаточное количество мест в образующемся социалистическом правительстве. Но нельзя же остаться одним, хотя бы и вместе с рабочими и крестьянами. Одна партия, что она может? Ленин всегда слишком идет напролом. Он не отличается умеренностью, и в этом его беда. Именно „торги с переторжками" были по душе изворотливому Каменеву. Торги, в результате которых можно самому оказаться у власти. Он чувствовал себя в этом зале куда больше на месте, чем в Смольном рядом с Ле-

нным. И он подал осторожную реплику, что без большевиков в правительстве все же не обойтись.

Если б Малицкий мог проникнуть в мысли Каменева, он был бы приятно удивлен. Да, Каменев стоит на платформе Викжеля. Она вполне пришлась ему по мерке. И Каменев тоже против „братоубийственной войны". Каменев тоже против пролетариата не в меньшей степени, чем и сам Малицкий. Для Каменева вовсе не требуется, чтобы правительство возглавлял Ленин. Каменев согласится и на Чернова, лишь бы самому получить министерский портфель. Но для присутствующих Каменев был большевиком, и вся мягкость его слов пропала даром.

И Рыков не мог четко противостоять Викжелю. Рыков, оспаривавший апрельские тезисы Ленина, не согласный с образованием твердой революционной власти. Готовый власть разделить даже с Черновым. Рыков, готовившийся сложить с себя ответственность за „губительную" политику Совета народных комиссаров. И подписавший через несколько дней заявление, подрывающее ленинские установки.

— Авантюра,—кричит Гендельман.—Немыслимо создание министерства с большевиками.

Каменеву приходится терпеть, хотя он меньше всего повинен в „авантюре". Он заявлял уже об этом печатно и вскоре заявит опять. ЦК ставит его в ложное положение. Нельзя ладить с таким несговорчивым ЦК. В этом смысле с Каменевым согласен и Рыков.

А тут подливает масла в огонь представитель городского самоуправления. Он прямо так и заявляет, что выступает от лица обывателя. От имени „страждущего обывателя". Обыватель страдает ни за что. „Он проклинает и тех и других. Ему нужна спокойная жизнь В министерство не могут быть включены те, кто пролил братскую кровь".

— Мы протестовали против Корнилова, мы протестуем против Ленина.

Интернационалист Блюм оценивает положение мрачно.

— Разгромят большевиков, разгромят и нас. Тут не приходится питать иллюзий. За эсерами и меньшевиками наберется немного сил. С большевиками надо считаться, хотя бы в целях самосохранения. „Но большевики должны быть призваны к умеренности. К величайшей умеренности",—подчеркивает Блюм.

Каменев совершенно согласен. Он молчит, вздыхает и курит. Он призвал бы к умеренности большевиков, будь на то его воля.

Все лица вытягиваются вперед, когда говорить начинает Мартов. Он, как водится, готовился к своей речи. Он много и горестно думал. Он даже записал речь предварительно. Взлохмаченный, неопрятный, мрачный, он бережно относится ко всем своим высказываниям. Он вкладывает в них всю свою отвлеченную, талмудическую, якобы марксистскую мысль. Мысль иссохшую, как вырванное из почвы растение. Ум Мартова работает безошибочно, но работает вполне вхолостую. Так работает хорошо настроенная машина, в которую не подается сырье. И потому сам Мартов уныл. Он словно сам обременен этим всегдашним бесплодным трудом. Вот поволок он камни в одну сторону, вот тащит он их назад. Так трудились узники в тюрьмах, начисто отделенные от окружающей жизни. И начинается это безрадостное кружение, шаг вперед, возвращение назад.

— Если большевики будут побеждены... то победитель явится третьей силой, которая сметет нас всех. Но товарищи большевики должны понять, что если они сейчас устоят, то это только отсрочка. Власть, созданная методом вооруженного солдатского восстания, власть одной партии не может быть признана всей страной.

Мартов вспоминает древние времена. Во всем виновен тот старый раскол. Если бы большевики тогда не раскололи партию! Мартов всегда предупреждал. И вот куда привел этот раскол—к гражданской войне и анархии.

Нельзя ли хоть сейчас ликвидировать раскол?

Мартов словно решает отвлеченную геометрическую теорему. Впрочем, без надежды ее решить. Он говорит длинно и невесело.

— Единственный исход—смелое соглашение обоих лагерей демократии. И потом—учредительное собрание.

Мартов кончил. И выводов нет.

И кажется, будто он произнес какую-то запоздалую похоронную речь.

Соратник Мартова Дан—человек другого темперамента. Его переполняет возмущение. Красные пятна выступают на лице.

— Я с негодованием слушаю всю эту полемику,—выкрикивает он, сильно жестикулируя.—Причем тут долгие рассуждения? С чем мы столкнулись? С военным заговором, действенной силой которого была дезорганизованная солдатчина. За что будут держаться победители, у которых нет никакого аппарата власти? Они могут держаться только террором. Кто из нас может сказать, что террор не обратится против него?

Дану кричат с мест:

— Правильно!

Дан все время словно подпрыгивает на месте, нанося удары воображаемому противнику:

— И первое условие соглашения—ликвидация заговора, роспуск военно-революционного комитета. Признание съезда советов несостоявшимся. На какой программе возможно соглашение? На программе комитетов спасения. Большевики не должны входить в правительство,—размахивает кулаками Дан.

Впрочем, меньшевик и здесь верен себе. Свою ненависть он маскирует оговорками:

— Это не признак торжества над большевиками, а тяжелый крест, который берут на себя другие партии во имя спасения революции. Всем нам желательно было бы иметь большевиков внутри правительства, а не вне его. Это значительно облегчило бы борьбу с ними. Но разделить с большевиками власть—значит оттолкнуть от правительства массы.

— Мир без побежденных и победителей,—благородничает третий вождь меньшевизма Абрамович.—Надо создать третье правительство, перед которым капитулировали бы обе стороны.—Откуда взять эту „третью" силу, остается секретом Абрамовича.

Собрание переутомилось и изнервничалось. Всем скопом ничего не решить. Как водится, не обойтись без комиссии, пусть она представит соображения о составе „законной власти". В комиссию избраны все

те же представители „крупнейших партий и организаций". Ее заседание назначается на два часа ночи. Но открывается оно только под утро. За это время Викжель успевает снестись с еще одной „действующей силой"—„главковерхом и премьером" Керенским.

6

Верный принципам своей контрреволюционной „справедливости", Викжель решил, что ультиматум его должен быть известен всем. Для доведения его до сведения Керенского из Питера выезжают Плансон, Крушинский и Сенюшкин. Викжель грозился железнодорожной забастовкой подкрепить требование о прекращении войны.

Но и сам Викжель не слишком верил, что забастовку удалось бы осуществить. Правда, в тот же день, 29 октября, Викжель двинул по линиям телеграмму. В ней было много слезных слов об ужасах гражданской войны. В заключение торжественно объявлялось:

— Остановка движения наступит в 12 часов ночи сегодня с 29 на 30 октября, если к этому времени военные действия не будут прекращены.

Всем железнодорожным организациям предписывалось выделить стачечные комитеты. Тут же, походя, сообщалось:

— Всех тех, кто будет продолжать спор внутри страны силою оружия, считать врагами демократии и предателями родины.

Однако, испугавшись своего решения, Викжель тотчас внес очередную путаницу. Дополнительная депеша понеслась вслед:

— План и время фактического начала забастовки будут объявлены особо.

Московское бюро откликнулось тотчас и поставило вопрос ребром:

— Верите ли вы в то, что разбушевавшееся море остановится под угрозой забастовки?

— Да, верим,—по прямому проводу заявил Петроград.—Но подождите, прочтите наше разъяснение. Вовсе не следует думать, что забастовка начнется сразу и везде.

— Оригинальный метод борьбы с анархией,—сердится москвич Шеханов.—Дело кончится просто побоищем железнодорожников.

— Что и говорить,—соглашается стоящий у аппарата в Петрограде Стамбо.—Это мера, диктуемая только отчаянием.

— Страх и отчаяние плохие советчики,—приходит ответ из Москвы.—Во всяком случае, право объявления забастовки в Московском узле целиком должно остаться за нами.

В результате мчатся очередные телеграммы:

— Начало забастовки отсрочить.

Между тем, Плансон, Крушинский и Сенюшкин едут в автомобиле к Царскому Селу. Машина выносится за Московскую заставу и погружается в глухой бесприютный мрак. Дождь постукивает о кузов автомобиля. Пассажиры ежатся, курят, задумываются. По шоссе приходится ехать медленно. Навстречу выползают тяжело ступающие грузовики. Машина упирается в горы снарядных ящиков. На дороге обнаруживаются группы вооруженных людей. Один отряд окружил автомобиль.

— Эй, слезайте!
— Что такое?
— Застава.
— Какая застава?
— Вылезай, пошли в штаб.

Трое делегатов выкарабкиваются из кузова на вязкое, пропитанное влагой шоссе. Катится ветер, не сдерживаемый зданиями, широко заполнивший черные пространства. Черные палки ружейных стволов торчат за плечами людей. Делегаты вспомнили о Белом зале. Как там было освещено и почтенно. Здесь они словно оказались в подвале того светлого и теплого мира. Это и есть революция в действительности, это ее суровые недра. Делегаты, оступаясь, бредут наугад. Холодный дождь садится на лица.

Впрочем, делегаты отделались только страхом. В домике, где помещался штаб, их опросили неизвестные военные. Вооруженные люди стояли вокруг стола, освещенного керосиновой лампой. Делегаты клялись, что их главная цель—убедить Керенского сложить оружие.

— А пусть их...—сказал человек в шинели, оглянувшись на прислушивающихся товарищей.—Пусть едут. Что нам с ними возиться.

Делегаты взобрались в автомобиль, словно на остров. Маленький, ненадежный островок среди расплывчатой темной пучины. Дальше путь стал безлюдней. Какие-то бесформенные массы, похожие на осевшие на землю облака, выкатились им навстречу с бока дороги. Это деревья Царскосельского парка. Машина медленно вползла в заглохшие улицы.

Делегаты подъехали к Александровскому дворцу, смутно белевшему многооконным фасадом. В дверях толклись какие-то офицеры. Керенского надо? Керенского здесь нет. Керенский в Гатчине.

Пришлось двинуться в Гатчину.

У ворот гатчинского дворца машина наткнулась на охрану. Делегатов провели в канцелярию коменданта. Там объяснили они цель прибытия. Офицеры прохаживались по сводчатой комнате, лениво переговариваясь о незначительных вещах. Некоторые дремали в креслах. Один бессмысленно высвистывал какой-то однообразный мотив. Чувствовалось, что люди не знают, что им делать, чем занять себя в эту затянувшуюся ночь. Так вот она, крепость министра-председателя! Что хранит в себе эта омертвелая Гатчина? Есть ли у Керенского реальные силы?

Делегатов повели по одной из лестниц наверх.

Дворец казался огромным и безлюдным. Тихо дремали его неотопленные унылые залы. Делегаты вошли в небольшой кабинет. За широким простой благородной формы столом сидел сгорбленный человек. Он выпрямился, будто только что проснулся. Его лицо было мешковатым и обрюзглым. Он постарел, казалось, за последние дни. Измятый френч его топорщился на груди. Он смотрел мутными непонимающими глазами. При виде вошедших он встряхнулся и попытался принять гордую осанку. Он разыгрывал сейчас новую роль—великого человека, непонятого народом; отягощенного неблагодарностью героя, который все же готов принести себя в жертву. Он кивнул головой на кресла и приготовился слушать.

Делегаты докладывали вежливо. Особенно старался франтоватый Крушинский. Керенский слушал, полузакрыв глаза. Или, может, делал вид, что слушает. Вдруг он рванулся вперед и резко прервал говорившего:

— Вы—изменники! Ваш союз!..—Керенский каркал хрипло и бессвязно.—Железнодорожники должны всеми силами... Одной сетью!.. На помощь временному правительству! Вы...

И так же неожиданно смолк.

Плансон начал осторожно объяснять, что с железнодорожниками сладить трудно: коалиционное правительство их не прельщает. Тут уж ничего не поделаешь. Но стоит ли сейчас спорить о власти? Нужно кончить гражданскую войну. Население терроризировано.

— Неужели происходит кровопролитие?

Плансон посмотрел на Керенского удивленно. Керенский сунул руку за борт френча.

— Я должен прежде всего подумать. Я посоветуюсь с моими министрами.

Ему доставила удовольствие последняя фраза. В ней был привкус исторических воспоминаний. Мои министры,—так мог говорить Наполеон. Мои маршалы,—чуть не сказал Керенский.

— Посоветоваться и с теми, которые на свободе. И с теми, которые под арестом. Совещание можно устроить либо в Гатчине, либо, еще лучше, в ставке.

— Имейте в виду,—подчеркивал Плансон.—Викжель не настаивает на вашей капитуляции. Нам нужно создать новое правительство, а не заставить кого-нибудь капитулировать.

Керенский кивнул. Прием кончился. Делегаты уезжали ни с чем.

Только через два дня, уже покинутый всеми, Керенский вспомнил почему-то о Викжеле и отправил следующую телеграмму:

Ваше предложение принято. Вчера выслан мной представитель комиссара В. Станкевич. Жду ответа.

А через несколько часов после телеграммы Малицкому доставили вторую. Телеграмма была совершенно бессмысленна, словно посланная в бреду или во сне:

— Председателю Викжеля и соединенного совещания Малицкому. Террор порицаю. Точка. К нему не прибегал и прибегать не считаю возможным. Керенский...

7

Дождавшись Плансона, особая комиссия ранним утром принялась заседать. Члены комиссии не успели выспаться. Каждый пытался в течение ночных часов обменяться мнениями со своей организацией. Небритые, неумывшиеся, потускневшие, они расселись опять на местах.

Дан не поумнел за эти часы. Наоборот—он был в полном тумане. От имени комитета спасения (впрочем, не успевшего собраться и вынести какое-нибудь решение) он огласил ряд новых условий. Все они относились к большевикам. Одно из них было лучше другого. Он требовал, во-первых, передачи войск в распоряжение городской думы

для несения охраны, во-вторых, разоружения рабочих и отказа от сопротивления войскам Керенского, в-третьих, выпуска воззвания о прекращении самосудов, затем освобождения членов временного правительства, и все в таком роде. Сам комитет спасения, по словам Дана, обязывался не принимать мер к вооружению, образовать министерство без цензовых элементов и без большевиков, предложить Керенскому передать этому правительству власть, немедленно приступить к переговорам о мире и принять меры к проведению земельных реформ.

Дальше пошло повторение пройденного. Плансон, перепуганные обыватели из городского самоуправления.

- Большевики насильничают на улицах. Когда же все это кончится?

Один только сохранивший наибольшую жизнеспособность Дан, чем дальше, тем все больше распоясывался. Он выбалтывал все заветные мысли меньшевиков, словно потеряв последний контроль над собой:

— Рабочие должны отказаться от боя с войсками... так как сопротивление буржуазным войскам немыслимо для пролетариата. Наше государство буржуазное.

Но и Дана уже не слушают. Видно, что комиссия выдохлась. Малицкий голосует формулировку: для выработки условий мира совещание признало необходимым заключить перемирие на три дня. Большинство рук поднимается за. Однако, перемирие и мир от этого не приблизились ни на шаг.

В эти же дни, следуя директивам из Петрограда, Московское бюро, с трудом и неохотой отделившее себя от комитета общественной безопасности, тоже предприняло примирительную деятельность. Положение в Москве обстояло острее. Весь город содрогался от выстрелов. Стреляли из-за каждого угла, оперев винтовки о выступы стен. В скверах и на бульварах люди ложились на землю. Выпустив несколько пуль, приподнимались и, согнувшись, перебегали. Вжимались в подъезды и углубления ворот и оттуда били по случайно высунувшемуся противнику. Число убитых измерялось сотнями. Изредка прорывавшиеся санитарные автомобили развозили трупы по больницам и моргам.

29-го московские викжельцы также предъявили ультиматум. На ультиматум откликнулись обе стороны. Обе стороны нуждались в военных подкреплениях. Если б дороги вдруг действительно забастовали, борьба грозила бы стать длительной и еще более кровопролитной.

29 и 30 октября состоялись в бюро Викжеля встречи воюющих. Со скрипом выработан был текст соглашения о перемирии на 24 часа. Дальние Викжель наметил широкие планы об органе власти для Москвы. В связи с вынесенными резолюциями день 30 октября для викжельцев и в Петрограде и в Москве мог представиться днем плодотворным. По прямому проводу представители обоих раскинутых по двум столицам крыльев Викжеля в этот день могли похвастаться друг перед другом. Нельзя, данный прямой провод в жизни Викжеля сыграл немалую роль. То, что им владели викжельцы, придало ему особенный вес. Провод был единственным средством точно знать, что происходит в столицах. Каждая организация поневоле обращалась к Викжелю, желая получить верные сведения.

— Я—Вомпе,—говорил Петроград,—в настоящее время продолжается то совещание представителей всех политических партий и организаций, которое пришлось вчера Викжелю собрать. Соглашение между сторонами и отдельными партиями как будто намечается, хотя правые стороны совещания и очень туго идут на компромиссы.

— Я—Бальбатов,—откликнулась Москва.—У нас сейчас в Викжеле заседает комиссия для выработки условий создания правомочного революционного органа.

И подошедший к аппарату Малицкий, как человек, готовящийся к раздаче министерских портфелей, запрашивает польщенных москвичей:

— Скажите, не обсуждался ли в Москве вопрос о конструкции власти и о составе правительства? Не намечались ли вами персонально кандидаты в министры?

В этом торжественном „государственном" разговоре было верно одно. Совещания 30 октября проходили, действительно, „очень туго". Их состоялось два. Первое, продолжавшееся до 2 часов дня. Второе, после перерыва, вечером.

На первом Дан вновь яростно доказывал: поражение пролетариата неизбежно. Дан лицемерил и извивался:

— Именно, чтоб предохранить пролетариат от разгрома, надо рабочих разоружить.

Первое совещание закончилось голосованием: за перемирие без условий — 9, за перемирие с условиями (какие условия, неизвестно)—5, воздержавшихся—4.

Вечер начался новым взрывом. Прежде всего выступил от комитета спасения Филипповский:

— Мы можем участвовать в заседании только в том случае, если будет отменен приказ военно-революционного комитета об аресте комитета спасения и предании его революционному суду.

Приказ, действительно, был издан в ответ на аналогичное же выступление комитета спасения.

— Неизгладимый позор,—тянул Мартов. И произнес, как бы заранее предвидя свою будущую эмигрантскую участь:

— Если политический террор будет применяться дальше, то мы возьмем на себя обязанность клеймить и разоблачать перед странами Европы всех вдохновителей его.

Так прозвучало первое обращение к западной буржуазии, первая угроза интервенцией.

Теперь Дан переходит от кликушества к хитрости. Вчера он был решительно против разделения власти с большевиками. Сейчас он тоже против... но основания нашлись новые:

— Меньшевики не стали бы возражать. Участие большевиков в правительстве даже желательно. Но с большевиками несогласны работать ни народные социалисты, ни советы крестьянских депутатов. А без этих организаций никакое правительство невозможно. Во всяком случае, в правительство без них и мы, меньшевики, не войдем.

И немедленно этот торопливый дипломат успел вильнуть еще раз:

— Если бы образовалось, впрочем, левое правительство, то, хотя мы в него не войдем, мы его всемерно поддержим. Лишь бы оно не проводило террора и не подавляло инакомыслящих.

Можно б начертить весьма извилистую кривую, отмечающую все увертки Дана. Все лживое фокусничество меньшевизма воплотилось в этом стремительном манипуляторе. Спекулируя на народных социалистах, в этот момент подвернувшихся ему под руку, он вносит дальнейшие разъяснения в свое понятие „левого" правительства:

— Я думаю, что нельзя исключить из правительства и цензовые элементы. Я не уверен, что после исключения цензовых элементов не уйдут народные социалисты и кооператоры.

Эсер Рапинчиков тоже пускается на хитрость. Он хочет купить отдельных большевиков:

— Официальное участие большевиков сделало бы любую комбинацию неприемлемой. Хотя против отдельных большевиков ничего возразить нельзя. Пусть входят не как представители партии, а как самостоятельные общественные деятели. В этой форме может быть дано удовлетворение большевикам.

В эту оранжерею, где махрово расцветают все виды политического лицемерия и предательства, вводят подкрашенные представители верхушечной организации 5-й армии.

— Мы за платформу Винжеля,— заявляют они к удовольствию Малицкого.

Но и этот парадный выход не спасет. Ясно, договориться не удалось. Без дальнейшей комиссии не обойтись. Такая комиссия выделена вновь.

— Нет ли еще вопросов об организации власти? — спрашивает председатель Малицкий.

Собрание откликается:

— Нет.

8

В этот же день, 30 октября, опустело министерство путей сообщения. Служащие оставили работу. Служащим не пришлось долго соглашаться и соображать. Они единодушно отвергли для себя платформу

— Пусть не воображает Винжель, что он взял в свои руки управление. Его постановлений мы исполнять не хотим. В такой момент все колебания — вздор. Надо присоединяться к комитету спасения. Комитет спасения или забастовка. Винжель торгуется с большевиками

Служащие дружно уйдут.

А 31-го в ночь Москва вновь забила тревогу:

— Экстренно пригласите к аппарату члена Винжеля. По весьма спешному делу, как можно скорее. Спешно бьет и зовите его. Положение внезапно изменилось и грозит катастрофа. Зовите к аппарату старшего или наблюдающего, или кого хотите, но во что бы то ни стало члена Винжеля к аппарату должны пригласить.

Раскручивающаяся узкая лента бумаги покрывалась взбудораженными словами:

— Товарищи, не спите... Перемирие нарушено.

Военно-революционный комитет не подчинился винжелевским ультиматумам. Московское бюро Винжеля—

„Считает единственным выходом передать себя, как технический аппарат, в полное распоряжение комитета общественного спасения и решительно заявляет, что отныне в вопросах борьбы оно ждет распоряжений этого комитета".

В Петрограде у аппарата недоумение:

— Какие активные действия вы предполагаете предпринять в случае выступления вместе с комитетом общественного спасения?

Сама мысль о присоединении к комитету не встречает достаточного сопротивления. Щепетильность только проявляется в вопросе, какими войсками усмирить большевиков.

— Какими войсками будет пользоваться комитет? Не призовет ли он казаков?

— Как можно это сказать заранее? А казаки? Как пришло вам в голову? Может ли быть об этом речь, раз Викжель идет вместе с комитетом? Да и состав комитета гарантирует. А главное—ждем, ждем, ждем. Мы сидим в бюро безвыездно четвертые сутки. Вы там и не представляете, что здесь происходит.

Петроград не дает точного ответа. Он занят высокой государственной политикой.

— Обсудите еще раз, насколько возможно в настоящий момент... становиться на одну из сторон и активно ввязываться в борьбу... Не попробовать ли снова обратиться к военно-революционному комитету?

— Довольно говорить,—отрезают москвичи,—для нас вопрос о поддержке комитета спасения—это вопрос чести всей организации, и всякое промедление в его разрешении абсолютно недопустимо. Последний срок, когда мы должны получить от вас ответ,—три часа сегодня. У нас этот вопрос решен положительно и, не скроем, ваше переречение его ставит нас перед дилеммой: или неподчинение вашему постановлению, или сложение с себя полномочий бюро.

Действительно, в Петрограде жилось спокойнее. Пули не летали над головами викжельцев. Они посиживают в опустевшем министерстве, все еще чувствуя себя крупной политической силой.

31 октября Рэмс заносит в дневник:

„Сегодня в два часа дня явилась делегация от Петергофского гарнизона—полковник Бобрищев с юнкерами. Они сообщили, что стоят на согласительной платформе Викжеля, если нужно, предлагают свои услуги. Викжель решил воспользоваться ими для переговоров с войсками Керенского. Полковник согласился и обещал дать ответ часов в 7—8 вечера, но не приехал. Весь день поступают сведения об аресте железнодорожников, причем аресты часто производятся красногвардейцами из железнодорожников же. В 12 часов ночи пришли представители социалистического студенчества и предложили свои услуги Викжелю. Решено использовать их, как агитаторов в пользу гражданского мира. Газеты пестрят словом „Викжель". Ругань и справа и слева. Очевидно, что позиция правильная. Соглашение прервалось, и сегодня согласительное заседание не состоялось. Есть сведения, что войска Керенского разбиты.

1 ноября. Сегодня явились представители армейских комитетов. Они заявили от имени армии, что тыл должен быть упорядочен, так как в армии начинается голод, а подвоза продуктов нет... они предлагают

немедленно создать правительство общесоциалистическое или даже объявить кого-либо от имени партий премьер-министром, дабы прекратить гражданскую войну... платформа Викжеля для них приемлема... Весь день идут переговоры с центральными комитетами партий, отовсюду известия, что центральные комитеты „заседают". Вопрос о перемирии стоит в неопределенном положении, так как большевики после своей победы над Керенским уклоняются от прямого ответа. В общем, нужно сказать, что Викжель, помимо своей воли, стал каким-то всеобъемлющим политическим центром. К этому его вынудила вся окружающая его обстановка, все происходящие вокруг него события".

И в эти самодовольные, ослепленные записи врываются с московского фронта задыхающиеся от волнения голоса:

— Скажите точно и определенно, когда кончатся ваши словопрения? Хотя Викжель и стоит в центре и объединяет все партии и организации, но положение России он не спасет, это стало очевидным для всех... С нами никого нет, так как обе стороны считают, что мы их предали.

Из Петрограда пытаются успокаивать, но Москва слушать не хочет:

— Вы лучше ответьте, когда вы кончите разговоры.

Это надрывается Гар, не прощающий петроградскому крылу свой уход из комитета спасения.

— Как вы не поймете, что, углубившись в создание неосуществимой власти, вы этим как бы санкционируете уничтожение как людей, так и Москвы... Зачем вы нам сказали, что вопрос будет решен сегодня ночью? Незачем говорить, не зная точно. Мы бы давно решили сами, что нам делать. Ваши оттяжки и уверения... продолжаются четвертые сутки, и четвертые сутки мы находимся в беспрерывной орудийной стрельбе... Что у вас происходит, я вас не понимаю... Итак, нам с вами и говорить нечего, господа генералы от масс.

Окончательно выйдя из себя, Гар с отдельным паровозом и вагоном сам понесся в Петроград.

Отъезд его не прервал переговоров. Характер их и дальше тот же:

— Железнодорожники в массе также требуют более определенных директив,—продолжают настаивать из Москвы.—Ваши телеграммы о нейтралитете становятся все менее и менее убедительными.

Малицкий советует мешать продвижению красногвардейцев „всеми способами, не исключая разборки рельсов, угона паровозов и подвижного состава".

Москва образумливает его:

— Не забудьте, что часть вокзалов находится в руках большевиков.

И, действительно, москвичи были правы. Рядом с ними находится красногвардейский железнодорожный штаб. „Всякие действия с нашей стороны могут быть парализованы, и нас арестуют".

Вечером на второе ноября в этот штаб поступило известие:

По Николаевской дороге в Москву пробивается броневой поезд. Кто хозяева поезда—неизвестно. Бочаров, Мякотин и Прохоров решили выяснить положение. К этому времени бой в Москве уже подходил к концу. Юнкера повсюду отступали. Главные магистрали в руках

Красной гвардии. Если б белые получили подкрепление, борьба могла бы опять затянуться. Красногвардейцы позвонили в Тверь. Тверь ответила: поезд прошел. Остановка продолжалась шестнадцать минут. Поезд ведет машинист Бродов.

— Каким войскам принадлежит поезд?

— А этого мы не знаем.

Клин подтвердил прибытие поезда. Да, подошел. Остановился. Совещаются.

— Надо ехать,— решили красногвардейцы.— По телефону ничего не добьешься.

Быстро раздобыли паровоз, не спрашивая разрешения у Викжеля. Бочаров с товарищами вскарабкались на площадку. Паровоз, осторожно подрагивая, покатил по перекрещивающимся, многочисленным, установленным повсюду топорщащимися стрелками московским путям. Москва была непривычно темна, такой открывалась она с убегающего паровоза. Только в отдельных местах стояло зарево от горевших домов. Москва была переполнена выстрелами, постепенно стихавшими по мере удаления паровоза. И вот красногвардейцы погрузились в тишину, от которой отвыкли за последние дни. Проносились маленькие деревянные платформы подмосковных станций. С фонарями выбегали железнодорожники, косясь на занятый вооруженными людьми паровоз. Железнодорожники не спрашивали, куда он стремится. Не обнаруживали желания осуществить нейтралитет. Пусть отталкивает паровоз поскорее, пусть задерживает его, кто хочет. Мы здесь живем в наших пониженных домиках. У нас семьи, огородики, обстановка. Мы крепко держимся за наши участки. Проезжайте же, не беспокойте нас.

Машинист усилил ход. Скорость 75 верст в час. Паровоз летел, окруженный пластами и пластами сопротивлявшегося встречного воздуха.

На Подсолнечной Бочаров выскочил и подбежал к телеграфу. Поезд уже покинул Клин.

— Задержать его на первой же станции,— распорядился по телеграфу Бочаров.

Броневой поезд был остановлен закрытым семафором у станции Флерово. Паровоз покатился навстречу ему и остановился, не доехав, поблизости. Бочаров сошел с паровоза и, не торопясь, зашагал рядом с насыпью. Он добрался до короткого состава, обшитого железным и русским панцирем. Из отодвинувшейся дверной щели выглядывали лица матросов.

— Какого дьявола нас держат здесь?

— Семафор закрыт,— подал реплику из темноты Бочаров.

— Плевать на твои семафоры. Что, до Москвы далеко?

— Рукой подать,— сказал Бочаров.— Да чей это поезд, уважаемые братишки?

— Чей поезд? Не видишь, Керенского.

Бочаров двинулся дальше. Матросы захохотали вслед.

— Был Керенского, а теперь стал наш.

Бочаров снова подскочил к матросам.

— Да ты толком говори, браток.

— Я толком. Керенский нам самолично поезд подарил. А ты что за фрукт? Почему этим вопросом интересуешься?

— Да ведь я семафор велел закрыть. Думал—белые. На поезде не написано. Сейчас распоряжусь, чтоб открыли.

Матросы предложили пересесть к ним в поезд. Но Бочаров доехал на паровозе до Клина, оттуда сообщил в свой московский штаб:

— Поезд наш. Никаких мер против не принимать.

2 ноября во второй половине дня было, наконец, в Москве заключено соглашение между военно-революционным комитетом и комитетом общественной безопасности. При подписании договора между враждующими сторонами присутствовали и представители Викжеля. Они чувствовали себя удовлетворенными. Они внесли свою лепту в „дело мира".

„Гражданская война в Москве окончилась 2 ноября,—не без гордости оповещает питерцев Московское бюро,—при посредстве нейтральных организаций, в том числе и Викжеля".

Впрочем, дело было гораздо проще. Белых разгромили всюду. Керенский бесславно смылся из Гатчины. Юнкера в Москве окончательно выдохлись. Соглашение было признанием разгрома. Комитету общественной безопасности не оставалось ничего другого, как, ссылаясь на „интересы населения Москвы", „ликвидировать вооруженную борьбу".

Но викжелевцам казалось, что вопрос о характере и составе власти еще не решен. Они не понимали, что их роль закончена, и продолжали еще свое унылое загробное существование.

Однако, не только викжелевцы были слепы. Еще продолжали считать себя существующими все „социалистические вожди", и продолжал с ними считаться, как с живыми, обжившийся в Викжеле Л. Б. Каменев. Он всерьез вел переговоры с Викжелем. Он всерьез хотел соглашения с „социалистами". Он отстаивал необходимость соглашения на заседании ЦК партии 1 ноября.

„...политика Каменева должна быть прекращена в тот же момент".

Так сказал на этом заседании Ленин. Ленин предложил резолюцию о Викжеле. В резолюции безоговорочно значилось: „Викжель в совет не входит, и его туда впускать нельзя; советы—органы добровольные, а Викжель не имеет опоры в массах". Что такое эти пресловутые „переговоры"? Центральный смысл предшествующего Ленин „...переговоры должны были быть, как дипломатическое прикрытие военных действий".

„Вопрос стоит основной, и пора покончить с колебаниями. Ясно, что Викжель стоит на стороне Калединых и Корниловых. Колебаться нельзя... Викжелю было предложено доставить войска в Москву, он отказал, мы должны апеллировать к массам, и они его сбросят". (В. И. Ленин. Соч., изд. 3-е, т. XXII, стр. 35.)

„Мы не исключали никого от Второго Всероссийского съезда Советов",—такова была ленинская мысль, нашедшая отражение в резолюции. „...ложны речи, будто большевики ни с кем не хотят разделить власти". (Там же, стр. 36.) Но „...не изменяя лозунгу власти Советов..., нельзя перейти к мелочному торгашеству за присоединение к Советам организаций не советского типа..." (Там же, стр. 36).

Именно лозунгу власти советов и изменили Каменев и Зиновьев. К ним присоединился еще ряд колеблющихся, в том числе и А. И. Ры

ков. Произошло одно из обычных предательств, выразившееся в опубликовании очередного заявления. ЦК обвинялся в „гибельной политике“. „Руководящая группа ЦК... твердо решила... отстаивать чисто большевистское правительство“.

Большевистское правительство для Зиновьева, Каменева и остальных было категорически неприемлемо.

„Мы не можем нести ответственность“. „Мы складываем... с себя звание членов ЦК“. Одновременно Рыков вышел из Совнаркома. Понадобился категорический ультиматум Ленина, чтобы призвать фракционеров к порядку...

Но 3 ноября разговоры о соглашении еще продолжаются. Происходит последнее многолюдное совещание в Викжеле. В десять с половиной часов вечера его открывает все тот же Малицкий.

Как много произошло с момента приезда викжелевцев в Петроград. „Десять дней, которые потрясли мир“,—это они отсчитались почти сполна.

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами,
Рельсы
по мосту вызмеив,
Гонку
свою
продолжали трамы
Уже —
при социализме.

Уже при социализме тяжелыми пластами сползала под мосты невская черная вода. При социализме перебегали из квартиры в квартиру обыватели, делясь последними слухами и новостями. При социализме возвращались на окраины разбредшиеся в эти дни по городу красногвардейские отряды. Шел Дункен, побывавший в Зимнем дворце, в его огромных, обитых золотыми украшениями залах. Двигались, окликали друг друга многие тысячи его питерских, известных ему и вовсе неизвестных товарищей, все те, кто своими руками заложил в эту неделю фундамент новой неизмеримой действительности. При социализме сейчас встал и Малицкий, обводя бегающими тревожными глазами скопище политических деятелей прошлого. И те готовились выступать и спорить, не отдавая себе ни малейшего отчета в том, что климат истории уже изменился. В их головах бродили короткие, озлобленные и боязливые мысли:

— Да, выступление авантюристов... Случайный эпизод. Все непрочно... Мы еще возьмем свое...

Люди, собравшиеся в этой зале, были обречены, были мертвы. Но не все.

На собрании среди волнующегося множества сидит один человек. Он сидит, откинувшись в кресле, положив ногу на ногу. Он внимательно и нетерпеливо рассматривает окружающих. Он словно оценивает каждого, безошибочно определяя, из какого сделан каждый материала. Его лицо совершенно спокойно, и прежде всего этим спокойствием оно отличается от встревоженных, беспорядочных, несобранных лиц остальных. Он спокоен и сдержан настолько, что может показаться—зашел

он сюда случайно, со стороны. И, значит, свободен он от бурных интересов, переполняющих членов собрания. Или просто,—он все заранее решил и не придает этим разговорам цены. Он знает, что они бесполезны. Он совершенно в этом уверен. И только глаза его настойчиво смотрят. Все представление этого совещания разыгрывается перед точным, во все подробности проникающим, окончательным судом его глаз.

Ни одно слово не проходит мимо него. Каждое слово следует учитывать. Каждое движение врага. Человек враждебен собранию. С врагами не может быть соглашений. Их обезоруживают и заставляют подчиниться. Человек обособлен от собрания, как камень обособлен от мутной воды. Человек не разжимает рта.

Революция - горяча и стремительна. Но это лишь одно из ее проявлений. Прежде всего она умна и спокойна. Дальнозорка и уверена в себе. Человек одет в полувоенную куртку. У человека простое лицо. Простое и твердое, резко очерченное. Спокойное лицо революции. Большинство даже не замечает его. Замечают тех, кто говорит. Он молчит. И позволяет им торговаться о власти. Он знает, что у них власти нет. И он не позволит им прикоснуться к власти. Власть уже завоевана рабочими. И останется в их руках навсегда. За это человек готов поручиться.

Заседание открывает Малицкий. Прежде всего он читает резолюцию общего собрания 35-тысячного Путиловского завода. От однородного министерства из представителей социалистических партий, буде такое сложится, требуются следующие условия: признание программы советского правительства, как она выражена в декретах о земле, мире, в обоих проектах рабочего контроля, необходимость беспощадно бороться и с контрреволюцией, с Керенским, Корниловым, Калединым и всеми прочими, признание Второго Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов с участием крестьян единственным источником власти, ответственность правительства перед ЦИК, полное отклонение представительства в ЦИК организаций, не входящих в состав совета. Дальше следует ряд соображений, касающихся структуры самого ЦИК.

Малицкий дочитывает последние пункты и садится, ничего не прибавив от себя.

Затем поднимается Плансон, председатель комиссии, измышлявшей „орган" власти. Комиссия не потеряла времени даром. „Орган" удалось спроектировать. Органу даже присвоено название „Временный народный совет". Собравшиеся поднимают головы. Такое название им нравится. „Временный народный совет". Все временно на этом свете. А совет, да еще народный — весьма демократическое словосочетание. Многие видят себя в составе совета. Ленин не поднимает лица. Тут есть над чем посмеяться. Или слегка покачать головой. Так вот за что дрались рабочие! Вышвырнули Керенского, приступом взяли Москву, чтобы вы составляли здесь ваш разбухший сумасбродный орган? Четыреста двадцать пять человек. Члены ЦИК, Московской и Петроградской думы, члены Викжеля, совета профсоюзов, почтово-телеграфный союз. Четыреста двадцать пять болтунов и предателей.

А тут еще протестуют интеллигенты. Оказывается, есть такой Совет депутатов трудовой интеллигенции, „присоединившейся к декларации демократического блока и отражающей волю и интересы трудовой ин-

геллигенции, существующей в 52 городах". Поистине, могущественная организация. Она считает совершенно недопустимым, чтобы трудовая интеллигенция демократии, организованная в количестве свыше пятисот тысяч человек... была лишена представительства в организации Временного народного совета". Все тянутся к власти. Всем отчаянно хочется управлять. Для этого множество рабочих легло под пулями на перекрестках Москвы? И, значит, теперь давайте соглашаться,—приглашает всех любезно Малицкий.

Однако, какие тут соглашения. Абрамович словно разорвался на мелкие кусочки.

— Соглашения можно достигнуть, если политический террор будет уничтожен... Море братской крови и жертв... Газеты не выходят... Осадное положение... Необходима свобода печати, слова, собраний, союзов, стачек... Неприкосновенность личности и жилища. Тогда социал-демократы будут договариваться с большевиками...

И снова смотрит большими печальными глазами из-под тяжелых век становящийся с каждым днем все более запущенным и лохматым Мартов. Он пытается припугнуть Викжель, чтоб хоть с опозданием вывести его из состояния нейтралитета:

— Переворот не вызывает сочувствия у большинства населения... Железнодорожные комитеты арестовываются... Петроградский союз требует свержения Викжеля.

Мартов шлет это в лицо Малицкому:

— Мы требуем прекращения этого позора.

Абрамович оборачивается к большевикам лицом. Размахивает руками и брызжет слюной:

— Согласны ли большевики издать приказ об отмене террора и снятии осадного положения в Петрограде?

Сталин взглядывает на Абрамовича. Он словно отодвигает Абрамовича в сторону взглядом, выражением лица, голосом:

— А может ли кто-нибудь поручиться за то, что войска, стоящие под Гатчиной, не будут наступать на Петроград?[1]

Это значит, что все соглашения — вздор. Идет война, и вы готовы все уничтожить. На фразами решается участь революции. Пока у нас еще есть остатки оружия, и мы будем вооружены до зубов. Нам предстоит еще долгая война. На всех просторах нашей страны. Мы применим к вам все, что вы заслуживаете. И террор, и осадное положение. Мы вас окончательно разгромим.

За это может поручиться человек, сказавший только что коронную громкую фразу

9

„Все рушится,— записывает Бонч. — Совещание, ни до чего не договорившись, разочлось не позже двух часов ночи". И 5 ноября он завершает свой дневник следующими разочарованными размышлениями:

[1] Цитировано по протоколам объединенного заседания ЦИК Викжеля с представителями политических партий и Путиловского завода.

„Ясно, что ближайшие дни соглашения не дадут. Миссия Викжеля в Петрограде окончена. Необходимо ехать в Москву и приниматься за неотложные работы по улучшению транспорта... Оставивши для сношения с политическими организациями и министерствами пять человек, Викжель поручил им вести, если представятся возможности, работу по соглашению партий, а сам вечером выехал в Москву".

Что же успел сделать Викжель? В первый момент после „политических дней" Вомпе себя утешает: „Я уверен, что мы, бросивши всюду мысль о возможности соглашения, начавши это соглашение, предотвратили в Петрограде ту бойню, которая имела место в Москве".

Но через несколько лет, пересмотрев свое прошлое и собираясь вступить в коммунистическую партию, сам он вынужден признаться в ином: „Позиция Викжеля сыграла контрреволюционную роль во вред пролетарским интересам, запутала ясность положения и поставила пролетариату лишние рогатки на пути к достижению им победы".

ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА

Владимир Канторович

Как случилось, что в счастливое время, насыщенное событиями победоносной борьбы и способствующее быстрому росту личности, литература так неумело раскрывает характеры людские, проявляющиеся ведь и в любви?

Мой молодой товарищ, заводской комсомолец, герой запутанной и мучительной любовной истории, жаловался мне однажды на неупорядоченность всей области интимных отношений.

> Если на производстве или в комсомольской работе неполадки и я ошибаюсь, меня тотчас же поправляют, да я и сам знаю, что поступил неправильно. А в любовных делах — неясность, на митинге об этом не расскажешь, даже товарищу — и то поостережешься довериться. Ждешь совета от писателя. Но у современных авторов на этот случай ничего не найдешь. А граф Толстой писал все-таки про дворян и про иное время, когда и трудности-то были совсем другие. Вот и тычешься, как слепой щенок, в стенку и мучаешься и ошибаешься, и неясность эта калечит людей.

Конечно, молодой мой товарищ мыслит очень наивно и примитивно. Он ждет от писателя какой-то исчерпывающей инструкции, определяющей человеческое поведение во всех индивидуальных и сложных жизненных случаях. Он рассчитывает даже, что такая инструкция будет когда-либо создана и кончатся в жизни мучительные неясности. Он еще очень молод, мой товарищ! Но справедливая мысль заложена в его претензиях к художественной литературе, к писателям — инженерам душ, по меткому сталинскому определению.

Недавно на Сахалине мне пришлось прожить несколько дней в общежитии рабочих-холостяков угольного рудника. Хозяевами комнаты были пять юношей в возрасте 20–26 лет. Нельзя причислить их к отсталым элементам рабочего класса. Напротив, один из них только что закончил двухгодичные курсы горпромуча, другой учился в вечерней средней школе, третий недавно приобрел квалификацию горного техника. Ниже 450 руб. в месяц заработок ни одного из них не снижался. В комнате было чисто, двое или трое из моих соседей регулярно читали беллетристику, был среди них даже поэт.

Однако, в области интимных, любовных отношений господствовала грубость и грязь. Горный десятник и поэт „гуляли“ с местными девушками (Октябрьский рудник представляет собой обжитой поселок со нико-

лой-десятилеткой, девушек в поселке не меньше, чем юношей), но категорически заявляли, что, когда приспеет время жениться, они поедут домой, в родные деревни. Если кто-либо из ребят торопился на свидание, его подымали на-смех -шутили грубо, ядовито. О своих победах юноши трубили по всему поселку.

Однажды мы разговорились. На тумбочке у поэта лежала развернутая книга —„Анна Каренина". Только что он рассказал хвастливо и пренебрежительно о своих любовных успехах. „Смотри, не попадись, посоветовали товарищи,—разденет или женит еще на себе". „Ну, нет, жениться поеду на родину". „У тебя там осталась невеста?" „Наши невесты подрастают". „Вот погуляю еще годика четыре и съезжу домой". „Послушай, разве здешнюю гульбу и будущий брак на неизвестной односельчанке можно назвать любовью? Ведь ты же читаешь книги, недавно узнал, как любила и страдала Анна Каренина, где в твоей жизни такое же сильное чувство?"

С поэтом вместе задумались и остальные ребята. Десятник выразил, кажется, общее мнение всей пятерки: „Да разве в жизни так бывает, как в книгах?"

Надо подчеркнуть, что мои гостеприимные рудничные хозяева—прекрасные, передовые во многих отношениях ребята: стахановцы на производстве, сознательные рабочие, жаждущие знаний. Они, конечно, меньше всех виноваты в том, что не разделались еще с наследием деревенского, мужицкого бескультурья.

Надо отчетливо представить себе, как выросла в нашей стране роль художественной литературы в формировании сознания. Сколько читателей из народа насчитывала до революции художественная литература? Немногие тысячи человек. Сегодня художественная литература имеет многомиллионную аудиторию. „Правда" опубликовала итоги переписи рабочих на металлургических предприятиях Юга. По данным этой переписи, подавляющая часть рабочих металлистов в возрасте до 23 лет имеет среднее образование, т. е. обладает тем цензом, который в старой России считался критерием образованного человека, интеллигента, естественного почитателя изящной словесности. В свете этой переписи понятен книжный голод, переживаемый страной, несмотря на огромные тиражи книг.

Несомненно, роль литературы особенно велика в формировании сознания молодежи. Это влияние может быть и положительным и отрицательным. „Инженеры душ" не могут избежать ответственности за ложные этические догмы, получающие распространение в среде части молодежи, за известное огрубение любовных нравов. Инженер отвечает за плохой монтаж оборудования, архитектор за чрезмерное оседание построенного им здания. Литература, часто упрощавшая людские взаимоотношения, в какой-то мере ответственна за то, что многие прекрасные юноши противополагают общественную, производственную работу семье и любви, как несовместимые друг с другом.

О том, что эти взгляды получили сравнительно широкое распространение, свидетельствует книга „За любовь и счастье в нашей семье", изданная „Комсомольской правдой" к X съезду комсомола. Смысл этой книги в полемике со сторонниками леваЦких взглядов, „упраздняющих" семью. Известная, притом вовсе не худшая, часть молодежи запуталась

в сложных вопросах семейной и любовной жизни, не получая, в частности, и от художественной литературы помощи.

Волнующее письмо товарища С., жены комсомольца-активиста, напечатала „Комсомольская правда“:

Дорогие товарищи!

Я бы хотела поставить вопрос о комсомольской семье. Я даже ставлю этот вопрос так: нужна ли комсомольцу семья. Может быть, она совсем не нужна, может быть, она является лишним грузом, тянущим комсомольца назад или в сторону от его прямых целей и задач?

Я расскажу о себе. Я—жена одного из комсомольских цехоргов завода „Электросталь“. Я не комсомолка (в этом-то, может быть, и заключается вся моя беда). Мне 20 лет. С мужем живу второй год. Был ребенок, но месяц тому назад умер.

Живем мы неладно. Мужа не вижу целыми днями. Встречаюсь с ним только по ночам, и то иногда он вскакивает среди ночи с постели и идет в цех, а то и на всю ночь уходит. Когда станешь ему говорить, что ведь это же не жизнь—жить вместе и видеть друг друга только ночью, что неужели он не может организовать, распределить свое рабочее время так, чтобы хоть немного уделить внимания семье,—он отвечает, что это сделать невозможно, т. к. он должен обслуживать комсомольцев всех смен.

И вот я и спрашиваю: может ли комсомолец, да еще относящийся к активу, жениться? Ведь такой жизнью, какой живем мы, можно только людей калечить, но ни в коем случае не воспитывать в них бодрый дух строителей социализма.

Месяц назад у нас умер ребенок. Ребенок очень долго болел и все время около больного ребенка находилась я одна. Муж только отмахивался фразами: „Ты мать, ты и должна нянчиться“. Ну, и приходилось больного ребенка бросать, запирать одного и итти в магазины и аптеку.

Неужели после всего этого—безалаберной жизни, полуторамесячной болезни ребенка и его смерти—у меня останется человеческое отношение к мужу? Конечно, нет! Результатом, по всей вероятности, явится развод. А что в этом хорошего?

Хуже всего, что это все отражается на отношении к самой жизни. Вечное одиночество (у меня нет даже знакомых, с кем бы я могла поговорить,—мы живем здесь недавно, да и заводить знакомства у меня не было времени: работа, ребенок) и скотское отношение со стороны мужа положительно доводят до сумасшествия. Часто, в своем одиночестве, доходишь даже до мысли о самоубийстве, а это сумасшествие, ненормальные мысли. Жить вместе нет смысла, разойтись—нет возможности: вопрос упирается в квартиру.

Единичен ли случай со мной? По-моему, таких случаев очень много.

А вопрос о семье ведь вопрос не пустяковый. Мы ведь не отрицаем семью. Впрочем, такую семью, как наша, нужно отрицать.

Какой же должна быть комсомольская семья?

С приветом *С.*

Завод „Электросталь" (Москва).

На письмо жены комсомольца С. откликнулись девушки и матери, юноши и пожилые люди. В книге „За любовь и счастье в нашей семье" собраны многочисленные ответы комсомольцев. Часть этих писем „Комсомольская правда" окрестила „письмами занятых людей". Петр Брусков заявляет, например, что „он не верит в благополучие комсомольской семьи, по крайней мере, в течение десяти предстоящих лет".

У меня тоже нелады дома,—пишет Брусков, становясь открыто на сторону мужа С.—Я—комсорг—сутками пропадаю на заводе. Кроме того, работаю над изобретением. День у меня так заполнен, что дыхнуть некогда.

Я говорю Лидушке:

— Для меня комсомол и завод дороже личного благополучия, вернее, *домашнего* благополучия, потому что комсомол и завод—это тоже мое личное.

Лидушка плачет:

— Почему у нас не как у людей. Сосед техник чуть не каждый день ходит с женой в кино и вместе учат немецкий язык.

— Тогда тебе нужно было выйти замуж за такого человека,—отвечаю я.

На заводе меня занесли на доску почета и премировали технической энциклопедией за рационализаторское предложение, которое дало 10 000 руб. экономии. А Лидушка говорит: „на моем несчастьи строишь свои успехи".

Поздно ночью возвращаюсь, сон валит с ног, засыпаю, как убитый, Лидка говорит:

— Так нельзя, ведь встречаемся только в постели. Я—говорит—уйду.

Я не зверь, мне жалко Лидушку. Но... я все передумал и пересчитал (время). И я не вижу выхода.

Эти отрывки из писем, опубликованных „Комсомольской правдой", еще потому любопытны, что они вводят нас в лабораторию писателя Эренбурга. Несомненно, дискуссия по поводу письма жены комсомольца С. подсказала автору „Не переводя дыхания" некоторые ситуации, проблематику романа. Хорошо, что писатель заимствует свою тему из подлинных человеческих документов. Но беда в том, что он не углубляет, не разрабатывает ее всеми средствами, которые составляют силу и особенность художественной литературы.

Известно, что многие литераторы не сумели в этом вопросе глянуть в будущее. Они поспешили воспеть и канонизировать все, что увидели при

поверхностном осмотре. Можно назвать десятки крупных произведений, где так механистически трактовалась старинная проблема „любви и долга". В очерке и новелле эта коллизия давно превратилась в отвратительный штамп, просуществовавший вплоть до 1936 года. Один из наших журналов следующим образом, пародийно, изложил „отработанный" сюжет этих стандартных очерков:

КРАСНЫЙ АСКЕТ

Директор строительства. Неслыханные темпы работы. Тринадцать дней не ночевал дома. Спал урывками в кабине экскаватора „Марион". Жена предъявляет ультиматум. Директор является, наконец, домой. Супружеская кровать. Присаживается на секунду, чтобы рассказать о героизме бригады железобетонщиков, и засыпает мертвым сном в сапогах и полушубке. Разбудить его в силах только звонок диспетчера об аварии в котловане.

Время—справедливейший судья. Не ясно ли теперь каждому, что роман Валентина Катаева о Магнитогорске, в котором неоднократно обыграны эти любовные ситуации, был всего лишь ловко написанным фельетоном?

Вернемся, однако, к симптоматическому и поучительному собранию человеческих документов, которые представляет собой книга „За любовь и счастье в нашей семье". На ряду с „письмами занятых людей" в ней помещены письма счастливых—ответы Брусковым и множество документов, характеризующих семейную жизнь великих революционеров. Но, конечно, эта книга не претендует на разработку основных проблем коммунистической семьи, это скорее расчистка плацдарма для предстоящих боев.

Петр Брусков, очевидно, славный талантливый парень и боевой комсомолец. Утверждая, что несколько поколений комсомольцев должны отказаться от семейной жизни, он подвел ложный теоретический базис под печальный свой опыт. Беда Брускова в том, что подлинная любовь еще ни разу не владела им—к Лидушке он испытывает лишь простую человеческую жалость. Об этой стороне жизни Брускова нет ни слова в книге „За любовь и счастье в нашей семье". Она разрабатывает вопросы семейного быта, не углубляя темы чувств любви.

Брусков, надо думать, прочел немало повестей и романов. Может быть, в поле его зрения попали лишь те произведения, в которых проповедывался жертвенный, полуаскетический, полунаплевательский взгляд на любовь и семью. И, скорее всего, Петру Брускову так и не пришлось встретить ни одного современного романа, в котором он узнал бы самого себя, со своими сомнениями, мучениями, со схожей биографией. Между тем, таких, как Петр Брусков,—множество. Это прекрасные, стоящие люди. Некоторые из них, наверно, разрешили проблемы личной жизни иначе, правильнее, чем Петр Брусков. Брусков с этими своими сверстниками незнаком, он познакомился с ними через „Комсомольскую правду" и, еще позднее, с помощью романа Эренбурга. Таким образом, в случае с Петром Брусковым литература до последнего времени не выполнила основной своей функции „размножения опыта", о которой так умно говорил К. А. Тимирязев.

Но вот другой, противоположный жизненный случай, которому я сам был свидетель: и в этот раз искусство обнаружило свою несостоятельность при столкновении с жизнью, запросами и потребностями наших людей.

На одном башкирском строительстве, расположенном в 15 клм от Уфы, я познакомился и близко сдружился с двадцатилетним техником-башкиром. Сейфулин—условимся так называть его—переживал в те дни величайший душевный кризис. Как ни странно, не горестная, но радостная новость породила его. Сейфулину—активному комсомольцу и изобретателю—вручили путевку в Академию моторизации РККА. Легко представить себе его восторг. Вероятно, он тотчас же подумал о своей Даше, после гудка он помчится к ней в город на велосипеде, чтобы поскорее рассказать об удаче. Но здесь начались его сомнения, и радость сменилась мучительной тревогой. Как быть с девушкой? Их соединяла с Дашей крепкая, длительная любовная дружба. Они сблизились еще в техникуме—девушка отставала от Сейфулина на два курса. Полуребяческая влюбленность давно переросла в большую человеческую романтическую любовь. Сейфулин не мог подумать без страха: что будет теперь с девушкой? Она не кончила техникума, через год ее пошлют в далекий район Башкирии. Ей негде будет остановиться в Москве, не то, что поселиться в столице; что он может предложить Даше? Пять лет ждать его, он будет приезжать на каникулы?

Сейфулин смотрел на жизнь достаточно трезво, чтобы понимать: это верный путь потерять девушку. Он не хотел, не мог разрушить их любовь, но и не мог, конечно, подумать об отказе от Академии.

Этот юноша испытывал чувства не менее острые и сложные, чем те, которыми обуреваемы были, при иных обстоятельствах, молодые люди различных эпох—герои произведений классической литературы. Проблема, предложенная жизнью на разрешение Сейфулина, была не из простых, хотя ее и решают, каждый по-своему, тысячи юношей и девушек нашей страны. Конечно, можно притвориться рассудительным и подсказать Сейфулину трезвую мысль: Даша не единственная девушка на свете, в Москве найдутся другие. Но живой, реальный Сейфулин любил свою Дашу. Конечно, он не мог подписать собственной рукой приговор их любви. Он мучительно искал выхода из затруднения и пока что, не желая тревожить Дашу, оттягивал свою поездку в Уфу.

В таком состоянии душевного смятения Сейфулин пошел со мной в кино. Показывали „Частную жизнь Петра Виноградова". Занятый своими мыслями, Сейфулин плохо следил за фильмом. Очередной взрыв хохота в зале привлек его внимание. Он взглянул на экран. Здоровенный детина, разлегшись в лодке, читал вслух какую-то книгу. Зал дружно хохотал. Герой, талантливый и не очень уже плохой парень, вел себя легкомысленно в сердечных делах. Две девушки любили его, но он бросался от одной к другой. Одиночество обрушилось на него: обе девушки его покинули. Но в жизни героя наступила благоприятная перемена. Он—талантливый изобретатель, он—почетный человек страны. Вот рядом с ним опять стоит одна из его двух девушек. Истосковавшийся герой рассчитывает на примирение, на взаимную, прочную любовь. Но молодая женщина не согласна: она успела выйти замуж за другого. С тем большим жаром герой ищет свою вторую возлюблен-

ную. Но и та предлагает ему лишь дружбу: она тоже замужем. И оба мужья — конкуренты — стоят тут же. Это давнишние друзья изобретателя.

Зал встречает эти неудачи героя громовым хохотом. Но Сейфулин настроен в этот вечер лирически. Он сочувствует неудачливому герою. Пусть это справедливая расплата за непостоянство. Но легко ли потерять любимую! Однако, герой фильма рассуждает и переживает иначе: он страдает на протяжении секунды. Потом внезапно приходит в радужное состояние, хлопает своих соперников по плечу и декламирует „под занавес" о молодости, о счастьи, о том, что девушек на свете немало: на его долю хватит.

Я понимаю чувства Сейфулина. Он ошеломлен и оскорблен фильмом. Хорошо, герой легкомысленен и пуст, но не бывает в жизни, чтобы парень так легко перенес крушение своих любовных надежд. Просто, авторы фильма не пожелали наделить своих героев, рядовых рабочих ребят, подлинными человеческими чувствами. Сейфулин говорит мне об этом возмущенно и прибавляет от всей души по адресу творцов фильма: „Пошляки"... Что я могу ответить Сейфулину? Я ведь знаю, что в „Горячих денечках" и „У самого синего моря" дается точь-в-точь такое же разрешение ситуации. Любимая девушка уходит к сопернику, а герой произносит бодряческий монолог.

И. Рахтанов поместил в „Красной нови" рассказец о любви (о любви ли?). Они встретились у общественной уборной строительства, и он галантно уступил ей очередь. Через минуту она шла обратно и лицо ее было румянее, глаза темнее обыкновенного. „Спасибо",—крикнула она, стремительно скрываясь за поворотом. За поворотом он догнал ее. Они разговорились". (Это цитата!!) — Так началась их любовь. Как поразительно пристрастие к отхожим местам, раз только дело заходит о любви!—в сценарии „Частная жизнь Петра Виноградова" одна из любовных сцен происходит также в уборной.

На этом эпизоде И. Рахтанов истощил всю свою изобретательность и заполнил весь остальной текст избитыми штампами. Герой, чтобы „спасти производство", прыгает в ледяную бадью, американский инженер восторгается его самоотверженностью, стандартно-подленький ИТР оказывается счастливым соперником в любви. Героя мобилизуют на работу в другой город, и он не успевает проститься с возлюбленной.

В рассказе Рахтанова фигурирует знакомая проблема: „долг" (директива комсомольского комитета) и „любовь". Из нового города герой все никак не может отправить письмо своей девушке. Спустя некоторое время, он возвращается на родное строительство, и на вокзале встречает бывшую свою возлюбленную. Под руку с ИТР она входит в вагон: счастливая пара отправляется на юг, в свадебное путешествие. К этому времени герой уже потенциально созрел, чтобы произнести бодряческий монолог.

Не трудно заметить, что Рахтанов описал случай, очень сходный с жизненным затруднением Сейфулина. Но я боюсь даже подумать, чем бы закончилась встреча с читателем, если бы Рахтанову вздумалось в ту пору прочесть уфимским комсомольцам свой рассказ. Рахтанов, вероятно, восхищен был своей выдумкой—никому еще не прихо-

дило в голову переносить завязку романа в очередь к уборной. Но как раз этот циничный кунштюк переводит рассказ из плана легкой снисходительной иронии в план издевательской пародии на молодых людей нашей страны, которым автор отказывает в чувствах.

Можно ли мириться с тем обеднением жизни, с тем упрощением любовных переживаний, которое наблюдается в кино, в литературе, в особенности в малых ее формах?

Нет сомнения, жизнь наших людей в большей степени насыщена любовными эпизодами, чем в эпоху цепкого, нерушимого буржуазного брака, и чувства эти свежее, искреннее. „Личная"—в старинном смысле этого слова—жизнь обогащается, тесно переплетаясь с общественной, в ней участвуют и мужчина и женщина. Каждому из нас, значит и любому писателю, достаточно оглянуться вокруг себя, чтобы увидеть, с каким неутомимым и неистощимым разнообразием плетутся нити, интимно связывающие людей, какие сложные душевные движения порождаются любовью, сколько новых тревожных проблем возникают вместе с ней и требуют своего разрешения.

Реакционные публицисты изображают социализм в своих памфлетах как невыносимо скучную эпоху без проблем, страстей, горя и радостей, с нивелированными вкусами и порабощенными индивидуальностями. Они могут теперь убедиться, что люди советской страны (и не одни только молодые люди!) живут напряженной, разносторонней, богатой душевной жизнью. И не трудно было бы показать, что вся эта новая проблематика личной жизни выше, человечнее той, которая свойственна даже рафинированным интеллигентским слоям буржуазного общества, хотя бы потому, что подорвана система купли-продажи женщины, вытекающая из классового строения буржуазного общества, опрокинут мертвящий кодекс лицемерной буржуазной морали и общественным идеалом стал крепкий, любовный семейный союз, цементируемый живым чувством обоих равноценных его участников. Как часты ни были бы отклонения от этого идеала в реальной действительности, он стал уже для подавляющего большинства людей нашей страны и для всей молодежи мерилом семейного счастья. Именно поэтому многие прежние конфликты, волновавшие мужчину и женщину (в их взаимоотношениях), теперь им безразличны, другие конфликты переживаются по-новому и, наконец, возникают новые коллизии, типичные только для нашего общества.

Но обо всем этом очень мало, очень сухо и не всегда убедительно рассказывает наша литература.

Утомившись однообразным и плоским изображением любви бумажных, литературных героев, я с интересом оглядываюсь вокруг себя, вспоминаю свои наблюдения, догадки о личной жизни тех, кто меня окружает. Я не принадлежу к людям, располагающим к конфиденциям, я—рядовой наблюдатель, и, конечно, столь же разнообразные наблюдения сделает для себя каждый читатель.

Сколько проблем, сколько неожиданностей, какая неповторимая, напряженная жизнь угадывается повсюду!

Вот женщина, которую все считают человеконенавистницей. Она—крупный специалист, полезный член общества. Но в личном плане это отвратительное существо, казалось бы отравляющее жизнь вокруг. Ее скрипучий, язвительный голос, кажется, не затихает в квартире ни на

минуту. Вздорный, въедливый характер побуждает отыскивать все новые поводы для конфликтов с окружающими, наносить обиды и требовать подчинения себе. Ее внешность способствовала этому представлению—гренадерский рост, огромное, уже теряющее форму тело пятидесятилетней женщины. Казалось, никогда, даже в молодости, она не испытывала лирических эмоций. Скучную, одинокую жизнь прожила эта женщина, пока на склоне лет у нее не завязался роман с немолодым женатым человеком. Неожиданные ноты вдруг зазвучали в ее голосе, душевные, мягкие слова находила она для своего возлюбленного. Какие пласты слежавшегося льда растопила эта запоздалая любовь, какие чудеса произвела она над окостенелыми душевными тканями этой суровой и непривлекательной в личном плане женщины! Разве это не благодарная тема для психологической новеллы? Однажды я спускался по лестнице ее дома: у подъезда остановилась машина, из нее выпрыгнул возлюбленный моей героини и вихрем влетел в парадное. Его уже ждали. Я услышал восклицание: „Солнышко мое", звук стремительного поцелуя. Для кого-то эта женщина еще сохранила способность быть солнышком, для кого-то она сумела мобилизовать в своей душе те лучшие человеческие качества, в существование которых уже не верилось. Я подумал: смогла ли бы до революции отдаться своему чувству женщина ее положения, ее лет, ее прошлого, смогла ли бы она поступить так же смело, не боясь ни осуждения, ни насмешек общественного мнения, уверенная в своем праве на счастье—пусть запоздалое. Героине моей, повидимому, чужды патологические переживания, и потому можно предположить, что в прежние времена история эта не только имела бы иной конец, но самое чувство не могло бы зародиться в такой женщине или, во всяком случае, было бы сразу подавлено.

Я давно приглядываюсь к жизни одной четы. В свое время это был молодой, лирический и равноправный союз, но очень скоро он стал перерастать в брак по старому образцу: с мужем—абсолютным главой дома, и женой, чьи помыслы все больше ограничивались кругом бытовых явлений. Брак стал давать трещины—поводы, впрочем, были пустяковые, впоследствии они казались даже надуманными. Внезапно произошла катастрофа. Муж совершил преступление. Суд определил меру наказания—семь лет концлагеря. Как это бывает в этом кругу, проблемы виновности мужа просто не существовали для этой женщины. Ее любовь возродилась—несколько лет непрестанных мыслей о муже, забот о нем, о семье. Она приобрела квалификацию, гордилась своей работой и полюбила ее. Детский сад помог ей воспитать детей. Она не замыкалась в себя, пожалуй, она никогда раньше не была так общительна. Вспыхнувшая вновь любовь к мужу, подогреваемая жертвенным порывом, заставляла ее резко порывать с теми из своих друзей-мужчин, которые обнаруживали признаки влюбленности.

Через пять лет в семью вернулся муж—с него еще в лагере была снята судимость. Общественное положение его быстро восстановилось. Казалось бы, супруги дождались полосы „безоблачного" счастья. Но пятилетняя разлука не прошла даром, оба супруга развивались это время в каких-то различных направлениях. На новом этапе брака соединились новые, не очень близкие друг другу люди. Жена привыкла к абсолютной своей свободе, к одиночеству, к работе, к бытовой

своей самостоятельности, которой не знала в первом периоде их совместной жизни. У мужа появился круг новых интересов, которым она была чужда. Самый накал ее жертвенной любви превратился в таких обстоятельствах в препятствие к развитию их отношений. Жизнь подсушила мужа, во всяком случае сделала его более сдержанным. В жене развились противоположные черты, заложенные в ее характере. Я не знаю всех трудностей, с которыми встретились эти два человека, после того как осуществилась мечта пяти лет.

Но их, очевидно, не мало, и как раз теперь брачный союз переживает кризис. Трудно здесь предсказывать: возможно, муж и жена найдут в процессе этих переживаний (какой подлинный, честный брак не знает подобных потрясений?) новую основу любовного своего содружества. Душевный разлад, который они оба мужественно преодолевают, есть в конце концов расплата за пороки их семейного и общественного прошлого. Наша социальная система позволила молодой женщине в одиночку, без чьей-либо унизительной, филантропической помощи, прокормить и воспитать детей. Работа, новая профессия не подавили ее личности, напротив, обогатили ее, повысив требования к близкому человеку, к самой себе, к своим чувствам.

Я знаю двух ученых, двух друзей, проработавших бок-о-бок значительную часть своей сознательной жизни. Они выпускали свои труды под двумя фамилиями, это были братья Гонкуры в науке. Старшему из них было уже за сорок. Двенадцать лет прожил он в хорошем, устойчивом браке. У него был ребенок, „открытый дом", постоянный круг друзей. Считалось несомненным, что оба супруга тяготеют к комфорту, налаженному материальному быту. Тем больше изумила всех катастрофа в этой семье. Жена старшего ученого, уже почти сорокалетняя женщина, разорвала брачный союз с мужем и ушла к его другу и помощнику. Такие поступки не нуждаются в оценке, в осуждении или одобрении. К тому же только сами участники события и могут быть судьями в этом вопросе. Но одну характерную черту надо отметить в этом событии, далеко не единичном в наше время. В буржуазном браке подобная ситуация знает лишь один выход—адюльтер, независимо от силы чувств любовников. Общественное мнение, даже в среде буржуазной интеллигенции, не только осуждает, но, что еще сильнее действует на женщину, осмеивает всякое иное разрешение конфликта. Участники аналогичной коллизии в советской профессорской семье признали этот путь неприемлемым для себя. Немолодая женщина понимала, какие опасности порождает ее поступок. И все же она предпочла разорвать брак.

Двое друзей и с некоторого времени соперников встретились вновь в своей лаборатории. Они писали совместно учебник—надо было как раз обсудить очередную главу. Их объединяла подлинная дружба, скрепленная общей творческой работой, составлявшей главный интерес их жизни. Их разъединяла ревность, мучения, через которые прошли оба друга, сознание непереносимой неловкости новых их взаимоотношений, ставших к тому же достоянием друзей и знакомых. Романисты прошлого века восклицали в таких случаях: в их душе был ад! Предоставим современным романистам раскрытие внутреннего мира этих людей, находившихся в столь тяжелом и сложном конфликте друг

с другом. Ограничимся констатацией факта. Книга вышла за обеими их подписями, их считают попрежнему друзьями. Несомненно, чувства этих людей по отношению друг к другу трудно было бы определить какой-либо простой формулой. Несомненно также, что эту—человечную—развязку обусловила, помимо индивидуальных особенностей друзей, та атмосфера свободы, безусловного доверия и уважения друг к другу, в которой жили все три участника этой жизненной (оптимистической) трагедии.

Я вспоминаю также комсомолку Анну из гор. Горького, прекрасного человека, пережившего тяжелую душевную драму. Внезапно, посреди оживленного разговора, она мрачнела, умолкала или забивалась в угол и жалобно всхлипывала, спрятав лицо от окружающих. Ее сестра окружала ее нежными заботами, относилась к ней, как к больной. Со слов сестры, из обмолвок самой Анны я составил себе представление о том, что пришлось пережить девушке. Впоследствии она написала мне откровенное, тревожное письмо.

Внешняя сторона драмы „тривиальна". Анна целых три года „гуляла" с парнем, студентом одного из горьковских втузов. Парень вышел в „люди", окончил втуз и, бросив Анну, уехал в другой город, где, по слухам, тотчас же женился. Тривиальность этой истории—в ее повторяемости. Но как бы часто легкомысленные юноши ни разрушали иллюзии своих подруг, девушкам не становится легче переживать эти измены. У Анны были к тому же особые причины для горестных раздумий. Она крепко полюбила своего парня, хорошо дружила с ним и даже теперь, после разрыва, не сомневалась в том, что была раньше любима. Знакомые Анне девушки „гуляли" со своими парнями и становились их любовницами. Анну возмущала всегда легкость этих связей. Если ребята бросали потом забеременевших девушек, ей казалась даже—как ни жалко было подруг—отчасти заслуженной их участь. Свою жизнь она хотела построить иначе: как нерушимый, нескрываемый от людей союз с любимым человеком. Она жила в одной комнате с матерью и сестрой, ее возлюбленный—в общежитии. Брак был, по ее понятиям, неосуществим, и она откладывала его до того, пока любимый станет инженером. Но все эти три года он был рядом с ней, он целовал и обнимал ее; темперамент ее пробудился, постепенно снимались запреты один за другим, но все-таки Анна не стала его любовницей. Это тоже „тривиальная" история. Сколько девушек превращаются в „полудев" не по холодному расчету и из желания преподнести своему будущему мужу сомнительную девственность, а по неопытности, из ложных моральных представлений и прежде всего, чтобы оберечь себя от последствий любовной связи. Все эти причины продиктовали поведение Анны. Стыдливость играла здесь не малую роль. В своем письме она обронила горькую фразу: „не укладываться же под кустом или дрожать от страха, что вернется какой-либо из соседей Ивана по общежитию". Но, повидимому, не одни перечисленные причины влияли на Анну. В той среде, к мнению которой она прислушивалась, звучали и мещанские предостережения в духе арии из Фауста: „Мой совет до обручения не целуй его". Так или иначе, эта любовная пара довела себя до истерии, до болезни. Иван испытывал уже по временам приступы ненависти и даже отвращения к Анне,

которую он не мог не ценить, как незаурядного человека, с которой его недавно связывала нежность и страсть. На его пути оказалась другая женщина, и связь его с Анной так и не завершилась браком. Теперь, в тысячный раз переживая разрыв, измену Ивана, крушение своих надежд и веры в этого человека, Анна все время возвращается к горьким мыслям о собственной своей ошибке. Годы любви были отравлены борьбой с Иваном и самой собой. Во имя чего? Для Ивана она не была случайной женщиной и легкомысленным она не считает его даже сейчас. Не сложилась бы ее жизнь иначе, не будь она в любви так рассудочна? Анна готова теперь осудить себя.

Я знаю человека, в жизни которого случилась необыкновенная, мучительная, радостная любовь, потрясшая все его существо. Жена потом от него ушла, и несколько лет спустя он уже мог думать о ней и встречаться с нею, не теряя душевного равновесия. Герой мой—однолюб и вряд ли возможно зарождение в нем нового чувства, сравнимого по силе с первым. Но память о прошлом отравляет его жизнь. Его не покидает сознание, что все происходящее с ним теперь, его увлечения, его новый длительный союз с женщиной, которая его любит,—нечто временное, случайное. Не трудно представить себе, как эти нескрываемые мысли оскорбляют его подругу, мучают и сушат его самого.

Этот тоскующий по большой любви суховатый человек поспорил однажды со своим другом, человеком мягким, душевным, влюбчивым (в молодости он даже стихи писал); назовем его условно „поэтом", а первого из моих приятелей „романтиком". Тяжелый физический недуг поразил „поэта". Правда, он вырос в крупного ученого, но личная его жизнь не была полнокровной. В немолодые годы он вступил в деловой, вовсе нелирический брак. Спор возник по поводу уничижительного замечания, брошенного „романтиком" по адресу знакомых-супругов, прозябающих в скучном, бесстрастном браке. По масштабам пережитой своей любви, тот требовал от каждого мужчины, от каждой женщины ярких страстей и бескомпромиссных решений. „Поэт" ответил ему раздраженной и обидчивой репликой. Было очевидно—суждение „романтика" его сильно задело. Смысл реплики „поэта" был, примерно, таков: нельзя ко всем людям предъявлять одинаковые требования; те из них, у кого любовь не занимает большого места в жизни, не совершат преступления против кодекса социалистической морали, построив свои брачные отношения на рассудочной основе, не исключающей, конечно, дружбы мужа и жены. Я не участвовал в бурном споре, последовавшем за этой репликой. Мне было ясно, что оба спорщика, несмотря на видимую противоречивость их суждений и компромиссность жизненных поступков, разделяют убеждение эпохи социализма, что только большая романтическая любовь может удовлетворить человека нашей страны, чьи эмоции по силе и сложности должны находиться на высоком уровне гражданского его сознания.

Все эти воспоминания—я их не отбирал—возникли у меня в памяти, как факты нашей действительности, естественно противопоставляемые безмятежной и бесстрастной любви, описываемой в нашей скудной в этом плане литературе. Этот перечень мог бы быть продолжен чуть ли не до бесконечности, и каждый читатель мог бы его пополнить

своими значительными и разнообразными наблюдениями. Само собой разумеется, здесь рассказаны лишь *схемы* конфликтов, и даже если бы их набралась целая „тысяча", они никак не могли бы претендовать на художественную ценность. Не трудно заметить, что во всяком из рассказанных выше жизненных эпизодов есть „проблема", конфликт; что новый кодекс социалистической морали, складывающийся постепенно под влиянием коренных изменений в экономической и социалистической структуре общества, в той и иной степени повлиял на поведение, на самочувствие героев всех эпизодов. Не может быть сомнений в том, что художник, который пожелал бы воспользоваться одним из этих сюжетов, как равно и тысячью других подсказываемых жизнью, сумел бы не только правдиво рассказать о переживаниях героев, но неизбежно *углубился бы в изучение социальных нравов.*

До самого недавнего времени у нас господствовало пренебрежительное или подозрительное отношение к рассказу или роману, преимущественным объектом которого были бы любовные переживания и взаимоотношения людей на этой почве. И сейчас я не советовал бы предлагать на рассмотрение многих наших редакторов рассказ о радостях и страданиях двух любящих сердец (я невольно придал фразе иронический оттенок, приспособляясь к вкусу судей; если уж и согласятся пропустить в печать рассказец о любви, то непременно иронический, снисходительный—дескать, молодежи свойственны увлечения, ну, пусть побалуются, раз это не вредит производству!). И уж, во всяком случае, не следует предлагать такому редактору повести о тревожной и грустной любви. Редактор будет взбешен и „пессимистической" трактовкой сюжета и „размусоливанием" любовных переживаний, что, конечно, является откровенным бегством от социальной тематики. И не пытайтесь в споре с редактором упоминать об Эмме Бовари. У него на языке готовая трескучая реплика:

„Социальное-де звучание романа Флобера определяется безвыходным положением талантливой натуры в буржуазном обществе, тогда как перед нашей женщиной открыт путь на производство, и эта ее свобода снимает самое проблему".

Скучно и бесцельно вступать с авторами подобных афоризмов в спор по существу. Ограничусь поэтому ссылкой на произведения художника, который был величайшим социальным писателем своей эпохи, своей страны, несмотря на то, что писал, главным образом, о любовных приключениях и будничных адюльтерах; речь идет о Мопассане.

Художник-реалист, показывающий людей в каком-либо жизненном, типичном, любовном конфликте, не может обойти социальной темы. Нельзя изолировать поведение и психологию людей, даже в интимной любовной области, от социальной среды, от моральных представлений эпохи, от роли, которую супруги или любовники играют в производственном процессе страны, в конечном счете—от классовой борьбы.

Конечно, все зависит от выбора персонажей, от знания жизни. Владимир Лидин избрал героиней романа *современную* советскую женщину, которая скрывает от семьи, от друзей, от товарищей позорный факт: у нее есть сын („незаконнорожденный"), которого она любит, но вынуждена прятать от знакомых. Здесь нельзя даже говорить о типичности такой ситуации, надо оспаривать возможность даже единичного

случая подобного рода на 19-й год революции. Естественно поэтому, что вся психология, вмененная этой немыслимой женщине, как и все социальные проблемы, подымаемые романом „Сын",—блеф.

Известно, что основоположники марксизма не предрешали в деталях конкретных форм жизни в эпоху социализма. Они ограничивались характеристиками *основ* социалистического общества и указанием направления, в котором будет развиваться личность и семья в эту эпоху. Энгельс остался верен себе и при трактовке вопроса любви женщины и мужчины.

> Таким образом то, что мы можем сегодня предположить о формах половых отношений после устранения капиталистического производства,—писал он в „Происхождении семьи, частной собственности и государства",[1]—отличается преимущественно отрицательным характером, ограничивается, в большинстве случаев, тем, что́ отпадает. Но что появится нового? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или другие социальные преимущества, и поколение женщин, которым никогда не придется отдаваться мужчине из-за каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, или отказываться отдаться любимому мужчине из боязни экономических последствий. Когда появятся такие люди, им будет совершенно безразлично, чего ныне ожидают от них, они сами создадут себе свою собственную практику и соответствующее ей общественное мнение о поступках каждого в отдельности. На этом точка.

Там, где Энгельс поставил точку, должен быть, в сущности, начат обширный раздел советской публицистики, художественной литературы, в особенности теперь, на грани бесклассового общества, в эпоху Сталинской Конституции. Для нас поведение и этика мужчин, которые никогда не покупали женщин, и женщин, которые никогда не отдавались за деньги,—не утопия, а конкретная действительность. На наших глазах эти люди „создают себе свою собственную практику и соответствующее общественное мнение". Эта „практика" создается в условиях, когда еще не повсюду и не до конца устранены экономические препятствия для вполне равноправного и нравственного брака, которым может быть признан только брак по любви и то только такой, когда любовь продолжает пребывать в браке. Эта „практика" создается в условиях, когда сильны пережитки прошлого в сознании людей. Именно в этих условиях художественная литература должна бы с большой страстностью отображать изменение норм общественной морали в отношении вопросов семьи и любви, активно участвовать в создании общественного мнения.

Можно бы назвать несколько причин, вызвавших здесь отставание литературы. Не малую роль, во всяком случае, сыграла ложно понятая оперативность литературы, неумение и нежелание писателей заглянуть в будущее и в свете его оценить настоящее. Писатели как бы ограничивали свою роль популяризацией текущих задач каждого периода.

---

[1] Партиздат. М. 1933 г., стр. 106.

Они стали газетчиками—в хорошем смысле слова. Но как раз в силу особенностей писательского ремесла и медленности издательских процессов они неизбежно опаздывали со своей популяризаторской продукцией. Вит. Василевский весьма остроумно заметил, что роман Валентина Катаева „Время вперед", с его поэтизацией производственного рекордсменства, опирающегося не на техническую выдумку и пренебрегающего качеством продукции, появился из печати уже в то время, когда нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе специальным приказом запретил повышать число замесов бетона в строительстве.

С литераторами произошло то же самое, что бывает с научными работниками и исследователями, которые чрезмерно налегают на преподавательскую деятельность. Они так приучаются говорить популярные, общеизвестные, бесспорные истины, что разучаются думать самостоятельно; это сказывается уже и на их научных трудах, постепенно теряющих черты оригинальности. В среде ученых исследователей существует поэтому очень настороженное отношение к преподавательской работе и к чтению параллельных курсов разным группам студентов. В известном смысле работа писателя сходна с работой ученого исследователя: она требует оригинального мышления и чувства перспективы. От писателей можно было бы ждать, что они встретят период вступления в бесклассовое общество многочисленными произведениями, которые отразили бы полно и разносторонне психологию, поступки и вызвавшие их стимулы людей нашего времени, живущих насыщенной, яркой жизнью, общественной и личной. Этого, однако, не случилось.

Конечно, в нашей литературе есть несколько значительных попыток рассказать о чувствах, о любви, о семье (речь идет только о прозе; из поэзии, к счастью, любовную лирику изгнать не удалось). Коллизия Григория Мелехова—Аксиньи—Натальи, как это уже сейчас очевидно, войдет в сокровищницу мировой литературы. Здесь важно отметить не только высокое мастерство, поэтическую и реалистическую обрисовку образов обеих женщин, но и то, что Шолохов не пошел по пути упрощения и изобразил сложные натуры и пути. Это качество вообще делает его крупнейшим советским писателем и так высоко подымает его произведения над средним уровнем нашей литературы.

Успех Шолохова здесь—выдающийся. Но нельзя забыть, что Шолохов работал на старом материале и в этом смысле не был новатором, действие романа развивается в дореволюционной среде, взбудораженной войной и первыми революционными боями.

Помимо „Тихого Дона", я не могу назвать ни одной безусловной литературной удачи при разработке тем и мотивов личной жизни. Но надо отметить замыслы нескольких литературных произведений, хотя авторам и не удалось полностью их реализовать.

Нельзя пройти мимо „Наших знакомых" Германа. Правда, автору не удалась положительная часть романа, а Альтус, которого полюбила Антонина, представляется манекеном положительного героя. Но ценность романа в ином—в честном и проникновенном раскрытии внутреннего мира советской девушки, которая прошла через одиночество, через жизнь с нелюбимым мужем и все же не потеряла чувства достоинства, не примирилась с обстоятельствами и продолжала поиски своего места в жизни, поиски счастья.

С трудом вспоминаются еще какие-то значительные страницы произведений, по-своему, не упрощенно, рассказывающие о любви, о семье, о конфликтах и переживаниях в этой связи. Это—линия Дорофеева—Магдалины в „Магистрали“ Карцева, Протоклитова—Лизы в „Дороге на океан“ Л. Леонова, Геньки из „Не переводя дыхания“, это мысли писателя Арбекова о двух своих браках (Пильняк) и еще едва ли два-три произведения. Но даже и эти воспоминания не лишены горечи: и Генька, наиболее вдумчиво обрисованный Эренбургом герой,—схематичен, и писатель Арбеков отталкивает публичностью своих автобиографических высказываний. Но даже, если пренебречь этими оговорками, если пополнить список другими, может быть, неосновательно забытыми произведениями, станет очевидным, что личная жизнь наших людей очень тускло, очень односторонне отображена в литературе.

Тем более, что после Шолохова и Германа вспоминаешь неизбежно все великое множество слащавых любовных новелл и иронических опусов, вспоминаешь очерки о „красных аскетах“, вставные эпизоды в производственных романах, бедные мыслью и чувством новеллы Зозули... И вспоминаешь также многие произведения высокого литературного качества, авторы которых (например, Паустовский), рисуя человеческие образы своих героев, ограничиваются расстановкой символических значков в тех местах повести, где уж никак нельзя обойти любовь, любовные переживания.

И тогда становится очевидным, что литература, устраняющая из поля своего зрения интимные, душевные переживания своих героев, не может, хотя бы уже в силу этого одного, не обеднять и не упрощать действительность.

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

РОМАН НАТАЛЬИ ГИРЕЙ

Раиса Мессер

1

Когда к Алексею Максимовичу Горькому со всех концов советской земли текли пытливые расспросы начинающих писателей: как писать, как сделать книгу интересной, как увлечь читателя своей темой, внимательный и чуткий к каждому творческому ростку великий народный писатель прежде всего отвечал указанием на силу мысли. Книга должна обогащать наше знание жизни и людей. Если, прочитав литературное произведение, читатель поумнел хоть на копейку—значит оно написано с умом и талантом,—так отозвался Горький на первую книгу одного молодого писателя.

Большая мысль, большие обобщения жизненного и культурного опыта народов, государств, отдельного человека—так складывалась советская литература в лучших своих созданиях.

„Проза требует мыслей и мыслей“,—писал Пушкин, и эти слова прямо обращены против мелководья темы и идеи в литературе, против многословно-лирического размусоливания пустяковых фактов и поверхностных наблюдений.

Эти слова уничтожают поток дешевых восторгов, разлитых в неисчислимых лирических стишках иных молодых поэтов: о новой мебели в рабочей квартире, о милиционере на улице, об электрическом чайнике в колхозной семье. Внешнее перечисление предметов и громыхающие восклицательные концовки: вот, мол, какова наша жизнь!—отличают такие поэтические начинания, слишком обильно и спешно публикуемые некоторыми нашими литературными журналами.

Печать такой мелкой раздробленности восприятия жизни, легкомысленной уверенности, что называние вещей может заменить большую мысль, большой человеческий характер, эти вещи создавшие,—нередко лежит и на многих первых прозаических опытах нашей литературной молодежи.

Может быть, так происходит потому, что величайшие завоевания советского строя, выраженные в Сталинской Конституции, эта молодежь получила в готовом виде, ей не приходилось добывать их своею кровью?

Однако, едва только обращаешься к фактам, к реальным биографиям молодых героев нашей страны: красноармейцев-пограничников, стахановцев заводов и полей, летчиков, зимовщиков, строителей новых городов, создателей новых морей, молодых ученых и изобретателей,—

сразу видишь, сколько серьезности и упорства в этих людях, сколько отваги и уменья побеждать: природу, науку, врага.

Жизнь наша много богаче глубокими идеями и крупными характерами, чем это кажется иным нашим молодым писателям,—неглупым и небесталанным, но слишком поспешно и искусственно выращенным в различных литературных инкубаторах: литкружках и литвузах. Опыт фабрикации „дипломированных инженеров человеческих душ" нередко приводит к тому, что герои их произведений выглядят напыщенно, ложно, крикливо и поверхностно. Они изъясняются эффектно-стилизованными афоризмами, делают красивые жесты. Они уже давно решили все вопросы, им все ясно настолько, что в этих самоуверенных молодых людях вряд ли кто из нашей молодежи узнает своих товарищей.

Надуманность, незнание жизни, легковесное изображение героики нашей молодежи характерны для таких книг, как „Мои товарищи" В. Курочкина.

Вот почему появление книги молодого автора, в которой жизнь не рассыпается на внешние наблюдения, а собрана и обдумана, заслуживает самого серьезного внимания.

Роман Натальи Гирей „Шестьдесят восьмая параллель" (журнал „Литературный современник", № 4 и 5, 1937 год)—первое произведение молодого прозаика.

В этой книге не трудно обнаружить много незавершенности сюжета, незаконченности оценок героев, политически не всегда и не во всем показанных правильно: это основной и крупный дефект повести молодого автора.

„Шестьдесят восьмая параллель"—роман о заполярном городе, о Кировске, о завоевании им богатств природы, техники, культуры и—главное—о человеческом материале, о людях, перекраивающих вместе с природой и самих себя.

Герои книги—раскулаченные богатеи и их дети: с Украины, с Алтая, и бывший новгородский мироед, и кулак из немецкой колонии. Лицо врага, его практика и сознание в самых пестрых формах, со всеми напластованиями быта, волчьей морали и исторических традиций, предстает в этой книге.

Не секрет, что образам врагов социализма наша литература уделяла очень мало внимания даже в самых лучших своих произведениях. Эти образы, как правило, беглы и суммарны.

Много лет советская литература, стремясь выразить героику гражданской войны, создавая образы людей социализма, оставляла в тени фигуры врагов советского строя. По большей части они выглядели, как шаблонные оперные злодеи: будь то белогвардейский офицер, или вредитель на производстве.

Не случайно, что именно в пору заострения политической бдительности, чувства гражданственности и государственности в людях советской страны появились книги, зрело и подробно рисующие облик врага.

Пришла уже пора создания в советской литературе таких образов темных сил старого мира, остервеневших в последних попытках помешать нашему строю, которые стали бы нарицательными понятиями. Лучшие писатели старого общества, одушевленные любовью к демократии и человечеству, создали незабываемые портреты Яго, леди Мак-

бет, Тартюфа, Плюшкина, Иудушки Головлева, ставшие на целые века синонимами злодейства, вероломства, подлости, стяжательства и лицемерия. Неужели же литературе социалистического общества, против которого копят злобу все мировые темные силы, не дано будет создать такие образы врагов революции, в которых были бы собраны ненависть и презрение советской страны ко всем, кто пытается помешать ее расцвету?

Мобилизация патриотизма советского читателя и его классовой бдительности—почетная задача советской литературы.

Разве эта цель не стоит рядом с главным назначением советской литературы—выразить дела и чувства советского человека, его настоящее и будущее?

Самого серьезного внимания заслуживает тот факт, что первые книги недавно появившихся молодых писателей посвящены именно такой цели.

Не менее серьезно и первое выступление Натальи Гирей, ибо книга ее дает образы сегодняшних врагов народа, их методы, тактику и вожделения. Однако, в этом смысле автор повести не сделал всего того, что мы вправе требовать от советского писателя. Автор снисходителен к своему главному персонажу Шовкошитному, склонен местами к его идеализации во имя будущих глав его социальной биографии. А эта биография покуда глубоко враждебна нашей действительности. Отсюда—и некоторое „подчинение" автора своему персонажу. В этом подчинении и в некоторой идеализации героя и заключается вольная или невольная политическая ошибка автора. Случайно и невольно следуя рапповской теории „живого человека", автор приходит к порочному методу неуместного любования субъективно-психологическими чертами своего главного персонажа. Это, понятно, никак не способствует укреплению политической направленности повести.

„Шестьдесят восьмая параллель", первое выступление Н. Гирей,—книга еще во многом незрелая. От нее до монументальных образов злодейства и предательства, созданных в прошлом и ожидаемых в будущем,—неизмеримая дистанция. Тем не менее, всячески важно угадать в таких книгах одну из важных перспектив советской литературы, подумать, куда они растут, если будут расти мысль и талант их авторов.

И такие сопоставления молодых советских книг со старыми книгами мировой литературы необходимы в принципе, как бы явным ни было очевидное различие их масштабов.

Ибо сравнивается, конечно, не удельный вес таких книг, изобилующих, конечно, всяческими недостатками, а направление идей, тем, образов нашей литературы и литературы прошлых эпох.

Такие сопоставления делаются и будут делаться советской критикой, как бы ни вопили по этому поводу раздраженные зоилы на гостеприимных страницах журнала „Литературный критик", не гнушающиеся никакими подтасовками и передержками, когда им нужно отстоять узкий, деляческий, изолированный от общего процесса литературного развития подход к книгам молодых советских писателей.[1]

---

[1] См. „Лит. критик", № 3, О. Тарасов. „Плоды умиления". Взяв без всяких ссылок из моей статьи о Катаеве вопрос о литературном умилении („Лит. совр.", № 12), беспардонно оболгав ее, сей „критик критики" тут же приписывает это умиление мне же по адресу моей статьи „Большой счет" (Лит. совр.", № 11).

2

Олесь Шовкошитный, сын крупного украинского кулака—„панич с фольварка", мстит советской власти за раскулаченного отца, за потерянное беззаботное житье в Киеве на отцовские деньги, за несостоявшуюся карьеру инженера. Тайком пробирается он в родное село, убивает колхозного коня—бывшее свое добро—и покушается на убийство председателя сельрады.

Такова биография героя романа.

С остервенением сгибаясь над лопатой, ковыряясь в хибинской земле, Шовкошитный обдумывает свое прошлое и будущее. У Шовкошитного—своя философия, свои исторические герои, своя программа. Открывается жизненная и психологическая почва, на которой вырастал такой образ. Чтобы умело бороться с врагом, нужно его хорошо знать, его намерения, его корни. Книга Гирей отличается таким стремлением проникнуть в сердце и мозг врага, чтобы лучше его разбить.

Кулацкое самосознание Шовкошитного прикрыто многоярусной псевдонациональной романтикой, на которой много лет политически спекулировала украинская буржуазная интеллигенция. Разница лишь та, что, в отличие от своих лицемерных учителей, Олесь по молодости и неопытности искренно верит всем внушенным ему побрякушкам. Он всячески гонит от себя мысль, что в сущности бьется за свой сытый фольварк, за грубую материальную собственность. Ему необходимы „идеалы". Он тщательно собирает себе реликвии. Его предок полковник Шовкошитный участвовал в заговоре Мазепы, стал шведским графом при Карле XII, но, затосковав по родине, тайком вернулся в Киев и погиб. Поляк, со стороны матери, Олесь приспосабливает к своей идеологии семейные рассказы о 1863 годе, о дедушке Генрихе, восставшем против русского владычества. Брезгливо, со стыдом вспоминает Олесь нелепо унизительную шутовскую обстановку смерти своего отца—раскулаченного богатея.

> Тадеуша Костюшко, шляхтича-повстанца, русские жарили живьем в медном быке. Его пепел как святыня два века реял над Варшавой... Кастусь Калиновский, хлебороб-незаможник, захваченный русскими жандармами врасплох, сам бросился с крыши на русские пики, дав своей смертью время товарищам скрыться. А пан Шовкошитный цеплялся за косяк!! Шутовской смертью отца Шовкошитные унижены до уровня лавочника Сидоренко, Пивчукова и прочих сельских куркулей.

В статье этой (о последнем романе В. Каверина) ставится вопрос о любви и уверенности писателя в своем герое, а попутно буквально в одной строке упомянуты самые различные примеры книг, где такое отношение автора к герою присутствует. Эти примеры: „Как закалялась сталь" и „Наши знакомые". Нашему „критику критики" это показалось достаточным, чтобы, ни слова не сказав о предмете статьи (роман Каверина), подтасовать перемешанное с бранью обвинение в том, что книге Германа якобы приписан героический пафос Островского. Далее следует ругань по адресу „ленинградской критической публики", осмеливающейся сопоставлять книги советских писателей с книгами прошлых эпох. Незавидная техника, с какой состряпана эта „критика критиков", никак не украшает журнал „Литературный критик".

Так, перевирая смысл исторических фактов революционной борьбы Украины и Польши в прошлом, Шовкошитный фабрикует свой „идеал борца за родину".

Олесь — мечтатель и поэт. Он без конца декламирует „о милой вольности и славе". Он любит Шевченко и Багрицкого, ежечасно о них вспоминает, „как-то нечаянно" пропуская тему крестьянской доли у Шевченко и строки Багрицкого о Котовском и Иосифе Когане. „Они казались Олесю ненастоящими, привеском к гайдамацкому эпосу".

„Мне девятнадцать лет, а Шевченко прославился и в ссылке" — таковы постоянные аналогии Олеся.

Шовкошитный ощущает себя белой костью среди хибинских поселенцев. Он презирает этих „тупых смирившихся людей". На сравнение с горностаем он напыщенно возражает: „царский зверь в клетке не живет". Кстати сказать, самое это сравнение подчеркивает постоянное любование автора внешним обликом врага, что политически никак неуместно. Шовкошитный вожак, атаман неудачливых хуторских наследников. Он придумал себе опереточную внешность — алые сафьяновые сапожки на высоких подборах.

Этот герой тоскует по „родине" — петлюровской Украине:

> ему казалось, что он роет огромную глубокую могилу для себя, для неизвестно где зарытого отца, для всей своей отнятой жизни.

Но тут же выясняется, что Олесь, собственно говоря, обрадовался смерти отца, ибо она избавляла его от постыдной роли деревенского неудачника-недоучки. Гораздо эффектнее было вернуться домой мстителем за „растоптанную хуторскую Украину, за попранную честь", чем быть непринятым в советский вуз и сесть на шею отца.

Шовкошитный нежно прощается с любимым конем — другом детства — и убивает его. Он грустно вспоминает о семейной традиции: каждый наследник, становясь хозяином, сажал свой тополь. Выдавали дочь замуж, она со слезами сажала дерево, чтобы тополь напоминал братьям ушедшую сестру.

> — Гляди, мое серденько, — заметил как-то отец, — каждый раз еще, як диды в поход собирались, по дереву сажали. Порубают казака, а тополь шумит, растет. А на фольварке новый Шовкошитный панует, свою пани вокруг аналоя обводит.

С реальным знанием материала дана в книге Гирей эта кулацкая лирика. Она очень внимательно и подробно изображена автором, тут же изнутри разоблачаясь картиной отвратительного злобного покушения на колхозных людей и их имущество. Эта картина своим реальным смыслом начисто смывает любую тень сочувствия к душевным страданиям героя и к его поэтизации куркульства, собственности.

Самые разнообразные чувства этого героя встают в романе. У него свое восприятие природы: „дерево, а как за жизнь цепляется", горько думает он, оглядывая заполярный пейзаж. Его поражает сила, кроющаяся за внешней невзрачностью природы. Он тоскует об украинской пышной и яркой осени. Но и тут авторский иронический голос ставит

чувства героя на их подлинное место. Романтика ссылки среди дикой природы зачеркивалась смешной войной с клопами, а поэзия самостийной Украины вдруг оборачивалась в памяти Олеся

> куркульской хатой, тыном с непропорционально-тяжелой калиткой, массивным четырехугольным замком, ощеренными собачьими мордами, а на крыльце каждого дома восседают невероятно раздутые Сидоренки и Макаренки.

Поверхностные иллюзии Шовкошитного отлично понимает его друг Данила Гордиенко. Это—матерый фашист новейшей выделки. Этот человек презирает стихии и „прочие побрякушки". Он „человек действия". Прежде всего ему необходимы квалификация, образование. Старый куркуль отец Олеся в наивно-нравоучительной форме внушает сыну мысль о необходимости образования кулаку, как защитительной привилегии и источнике богатства, по-своему толкуя поговорку „ученье свет, а неученье тьма".

Сам Олесь неудачно пытается поднять свой авторитет среди поселенцев с помощью обструкции руководителю математического кружка: „слушатели ничего не поняли в споре, но парням понравилось, что „свой" сбил коммуниста".

Гордиенко—птица покрупнее. Для него образование—оружие в его обдуманной и подлой борьбе. Он цинично издевается дома над вузовской комиссией по чистке, обманутой им. Он прямо признается друзьям, что диплом инженера для него—дорога к власти. Меньше, чем на наркома Украины, он не соглашается. Но и это, оказывается, ничто:

> что за сладость во власти, когда исполняешь чужие замыслы, когда не можешь быть господином. Шалите, дорогие товарищи. Гордиенко—дворянин, потомок запорожцев, человек высшей расы, повелитель машин. Воображаете, голубчики, что покорили Гордиенко, обескуражили своими благодеяниями, что он ваш товарищ, будущий советский инженер?.. Гетьман Гордиенко! Скоропадский был идиот. Петлюра—бездарность. Махно—плебей. А Гордиенко—и умен и талантлив.

Таковы планы этого немецкого шпиона. Провалившись на Украине, он пробирается в Кировск, к сестре, вышедшей замуж за партийного руководителя стройки Ганичева. Вот он уже старательный инженер на электростанции, он строг к рабочим, презирает старую техническую интеллигенцию, втирается в доверье, играя роль „своего парня".

Он тонко и хитро вербует себе соратников: кому обещая поблажки в работе, кого заманивая перспективой власти и возвращения былого богатства, кого, как Олеся, прельщая эффектными философскими и историческими фразами и аналогиями. Только его культурный арсенал, в отличие от путаницы Олеся, прям и ясен. „Русый зверь и техника", Ницше и Шпенглер—его духовное оружие. Его литературный герой—Конрад Валленрод, лазутчик во вражеском стане. Вместо уютных, красиво иллюстрированных романов Сенкевича, увлекавших Олеся, он предлагает деловые статьи о политическом положении Германии. Декламация и лирика Олеся для Гордиенко—„ерунда".

Уж если читать стишки, то хоть извлекая из них дельные мысли: так читает он строки Гумилева о „полубоге-полузвере". Озлобленный медленным ходом своих планов, он решает взорвать электростанцию и бежать—граница недалеко. А там: „путч, удача, он—офицер, генерал, директор крупной фабрики, завода, руководитель концерна, промышленный диктатор своей родины, гетьман Гордиенко!"

Так дешевая националистическая болтовня Олеся становится активным контрреволюционным оружием продажного немецкого шпиона. Мир принадлежит белой расе, гению „европейцев", и Украина всегда была форпостом цивилизации; последним арийским камнем в море диких монгольских орд—так подводится „теоретическая база" под бандитскую практику фашизма. Об этом практическом смысле прямо говорит Гордиенке осторожно завербованный им украинский кулак немец Ганс Люттих: „правда ли, что с Германией будет скоро война и *наши* займут опять Украину и Крым?"

Гордиенко крайне осторожен. Он играет роль инженера-энтузиаста, никогда не изменяя себе. Даже наедине с соблазненной им девушкой он кривляется, ибо он боится ее внимательных, настороженных глаз, ее хорошей памяти. Он поддерживает старую дружбу с Олесем, подогревает в нем обожание к себе, чтобы в опасную минуту, когда Олесь дрогнул и отказался от участия в заговоре и взрыве электростанции, зверски расправиться с ним. Душевный перелом и напряжение воли помогают Олесю уцелеть и спасти трансформатор.

Весь душевный строй квалифицированного политического бандита, весь ход его мыслей и чувств раскрыт автором романа умно, талантливо, наблюдательно.

3

Правда, разоблачая героев своей книги, то иронически, то гневно, Н. Гирей не воспользовалась в полной мере всеми возможностями, ею же намеченными. Уж если раскрывать всю психологическую механику врага, всю его философскую и историческую маскировку, то необходим и полноценный идейный бой, окончательное поражение всего культурного арсенала средств врага.

Социалистическая революция не уступает капитализму ни одной культурно-исторической ценности. Все, поддающееся идейному критическому освоению, входит в нашу культуру как наследие, накопленное человечеством. Гегель, его диалектика принадлежит нам, а не буржуазной идеалистической философии. Тем сильнее должны мы отстаивать все, что принадлежит революции по прямому идейному и политическому праву. Так герои украинской и польской революционной демократии и ее поэты прямо и безоговорочно принадлежат социалистической культуре. Если путает и перевирает легковесный и малознающий Олесь, ссылаясь на Костюшко, Калиновского и Шевченко, то молодой советский писатель не может ограничиться простым идейным демонстрированием заблуждений такого героя. Шовкошитного следовало идейно и культурно обезоружить, ибо таковы исторические факты. Мы не можем подарить врагу Шевченко—гениального певца украинской трудовой народной доли.

Кой-какие разъяснения на этот счет в романе присутствуют. Когда в Олесе зарождаются сомнения в своей правоте, а затем и решительный перелом, он вспоминает смутно, что Шевченко писал не для „этих недолюдков, что сидят на шее у хлеборобов". Замечательно начатый разговор с Ганичевым о поэзии внезапно открывает Олесю, что его любимый Багрицкий—боевой соратник Ганичева в гражданской войне, а Иосиф Коган—реальное лицо. Но на этом дело обрывается, если не считать мыслей о Шевченко, бегло высказанных Олесем, когда он, пережив свою драму, отбыв наказание, внутренне перекроив себя, приехал учиться в Ленинград. Это—так сказать—апофеоз. А вот в самом ходе романа решительный идейный бой врагам не дан. Их культурное достояние, не им принадлежащее, украденное и перевранное ими, должно было быть возвращено по исторической и политической принадлежности. Исторические и культурные заблуждения врагов революции продемонстрированы в этой книге и весьма бегло опровергнуты. Сцена разговора с Ганичевым о поэзии могла оказаться одной из самых высоких точек романа. Она явно недописана. Помимо своего основного смысла, она могла бы поднять образ партийного руководителя стройки—делового скромного человека, который, оказывается, любит и понимает поэзию и знает жизненную цену стихотворных строк.

Истратив весь запас своих творческих сил на обрисовку образов врагов, сделав это страстно и даровито, Н. Гирей оставила в тени образы героев, составляющих политический и эмоциональный противовес Шовкошитному и Гордиенке.

Ганичев бледен и рассудочен. Он лишь довольно посвистывает, возвращаясь с обхода стройки. О его самоотверженности в работе известно лишь из отзывов поселенцев. Его внутренняя сила подразумевается, так и не высказавшись в романе полностью. Он ощущает смутное недоверие к Гордиенке—брату своей жены, он решительно уничтожает врага, столкнувшись с прямой его диверсией. Он получает при этом серьезный партийный урок. Но лишь в эпилоге читатель узнает о пережитом душевном потрясении, о том, чем этот человек дышит. Его записи в тетрадке, его любимый круг чтения, его жизненные планы лишь бегло упомянуты, после того как действие романа уже закончено.

„Город, вмонтированный в будущее",—так в отвлеченной сухой форме думает Ганичев о своем деле, о создаваемом новом городе. Рисунок его личности несравненно более плоский в сравнении с красками, истраченными в книге на характеристику врагов.

Слабо и малоубедительно в этой связи дан процесс перелома, совершившегося в Олесе. Постепенно скопившиеся сомнения в своем прошлом внезапно взрываются в нем под впечатлением встречи с девушкой из иностранной рабочей делегации, принявшей его за ударника и комсомольца. Известие, в дальнейшем, о ее гибели от фашистской пули у себя на родине довершает в нем внутренний переворот. Конечно, в целой цепи нарастающих воздействий такой факт мог бы сыграть свою немалую роль. Но в романе он несет непосильный для него груз и выглядит внешним. Слишком скоропалительно складывает свое оружие Шовкошитный под влиянием этой встречи. Поэтому и дальнейшая его судьба—полная перестройка и вступление на путь

честного труда—вызывает раздумье: так ли это могло произойти и каков дальнейший путь этого шаткого человека?

Гораздо яснее и реалистичнее в романе рисунок трудового воспитания второстепенных персонажей из поселенцев.

Таковы кулацкий сын Зинка, которому доверяют инициативу, поднимают человеческое достоинство, пробуждают интерес к труду своих рук, к ее результату. Таков очень выразительный образ алтайского молодого кулака Веньки Салых. Его бесстрастный и жуткий рассказ о том, как он с папаней и братом убивали коммунистов в период коллективизации, его пытливость, упорная жажда к ученью, процесс уничтожения страсти собственности, пробуждение соревнования, любви к коллективному труду,—все эти эпизоды написаны правдивым и естественным голосом без всякой натяжки. Особенно сильна сцена спасения недостроенного здания в буран молодежной бригадой из раскулаченных. Огромное напряжение сил, взрыв смутно еще звучащих чувств товарищества и любви к созданию своего труда двигают этими людьми. Они еще не разобрались до конца в самих себе. После опасного и тяжелого ползания в бурю по лесам, одержав победу, усталые, Венька и Марина—дочь подкулачника—пытливо допрашивают друг друга: „ты почему полез?"—Я бригадир—я должон,—быстро ответил Венька,—знамя упустить было жалко,—прибавил он, подумав. Он и сам не понимал хорошенько, что толкнуло его карабкаться по шатающимся, гнущимся от ветра и людской тяжести доскам. Он начал ощущать какой-то долг, важность которого и сам не понимал.

> — А я нарочно,—шепнула Маринка,—на зло тем, куркулью нашему, как я почуяла, що они рады, смеются, что по-ихнему... заколыхнуло у меня в сердце. Нет, умру, да не по-ихнему. По-своему умру. Гляжу,—Маринка провела ладонью по скуластой Венькиной щеке,—и ты решился.

Все эти образы и эпизоды, составляющие фон романа, много сильнее по своему звучанью и жизненности, чем искусственная мотивировка перестройки Олеся—героя произведения. Особенно удалась Маринка. Она попала на поселение вместе с матерью, любовницей старого Шовкошитного. Мать—Тина Петроченко, забитое рабской психологией существо, обирает своих родных малолетних детей — „проклятиков", чтобы ублажать Олеся. Чужой ей „панич"—для нее символ близости к былому и чужому богатству. А ее дочь Марина ненавидит Олеся и весь его род, погубивший ее семью.

> Она тайком тосковала по родине, радовалась, слыша родные песни, и злилась, зачем в них куркульские слова. Почему никогда не споют про Щорса, про бедную чередничку?

Насколько выше и национальнее эти наивные чувства бедпячки в сравнении со всей словесной бутафорией Шовкошитного на тему о „родной Украине"! Насколько морально чище и человечнее дружба Веньки и Марины в сравнении с вероломной, продажной, хотя и полной торжественных клятв „дружбой" Гордиенки с Олесем. Обманутая Гордиенкой Марина отвергает любовь Веньки. Пусть ей тяжело, но она хочет любить красивого „земляка". И сколько бесхитростного и глу-

бокого чувства заключено в предложении Веньки усыновить ребенка одинокой и беспомощной женщины после бесславной и подлой гибели Гордиенки.

„Шестьдесят восьмая параллель“ написана молодым автором. В ней немало недоработанных мотивов, незаконченных образов и ситуаций, требующих большой работы при предстоящем отдельном издании книги.

Но при всем этом перед читателем—произведение, полное мысли и политической страстности. Эта книга написана еще незрелым, но несомненным писателем, чувствующим силу воздействия мысли через образ, слово, через литературно выраженное человеческое настроение. В этой книге нередки меткие характеристики, вводящие боковые, казалось бы, наблюдения в главное русло романа. Старые матерые кулаки сидят в обеденный перерыв на бревнах и буграх. Они описаны так:

> бородатые, насупленные, в кургузых ватных спецовках, вчерашние заправилы мироеды далеких деревень походили на крупных откормленных гусей с подрубленными крыльями и выщипанными хвостами.

Венька до странности похож на замок своего сундучка—оба маленькие, круглые, черные и крепкие.

Во время бурана „люди отступали перед пургой—только на первом участке строители пытались поднять леса, точно знамя, еще выше...“

В книге очень искренно звучит любовь к описываемому краю, его большевистскому созиданию. Это передано в атмосфере, в пейзаже, в образе Кирова лирическим отступлением, входящим в роман.

Чувствуется, что автор не выдумал все описания, а зорко и любовно разглядел людей, природу, вещи. О наступлении полярной ночи тонко и лирично сказано так:

> молодая, первая после трехмесячного дня темнота приятно освежала лицо. Плоская серебристая луна и чуть заметные точечки звезд еще больше подчеркивали хрупкость и непрочность едва сгустившейся синевы. С гор тянуло сухой, напоминающей позднюю осень на юге, прохладой.

Атмосфера тревоги и борьбы на качающихся от бури лесах усилена одной пейзажной строкой, усиливающей звучание эпизода... „Венька упал ничком на скользкие, шатающиеся доски и по-змеиному пополз на животе. Временами сквозь колющие снежные иглы ветер с Гольфштрема доносил океанское тепло“.

Всюду, где молодой автор хочет выразить свои подлинные наблюдения, голос его звучит сильно и самостоятельно. Но лишь только начинает он выдумывать и „украшать“—сразу же обнаруживается искусственность, литературщина. Таковы многие эпиграфы к отдельным главам романа. Почему-то Гирей понадобилось к главе „Майские бураны“ предпослать бледные и вымученные строки Юрия Инге: „Стремить до звезд стропила и повторять любимых имена“. А холодные и теоретичные строки П. Антокольского просто оборваны автором романа на средине так, что в эпиграфе никакого стиха не получается. Такие „фортеля“—школьная игра в литературу, далеко отстоящая от общего уровня всего романа Гирей.

Этот литературный дебют требует самого внимательного к себе отношения. Наталии Гирей предстоит еще много упорной работы над

собой. Было бы крайне вредно превращать ее первую книгу в некий образец какого бы то ни было направления, школы, стиля, как это нередко у нас делается при „открытии“ нового писателя.

Написана современная советская политически острая талантливая книга, интересная своим идейным охватом для всей советской литературы. Она заостряет у читателя чувство бдительности к врагам социализма.

Признание этих достоинств для начала вполне достаточно, чтобы оказаться толчком автору к дальнейшей вдумчивой работе.

„ВОЗВРАЩЕНИЕ“ ФЕДОРА ОЛЕСОВА

А. Эк

„Взрослая“ наша литература не отличается вниманием к подрастающему поколению своих будущих читателей. Среди художественных образов, созданных за последние два десятилетия, нет, пожалуй, ни одного, который мог бы быть поставлен рядом с огромной детской галлереей Диккенса или рядом с лаконично намеченными, но выразительными детскими образами Чехова. Горький—единственный из наших писателей создал несколько незабываемых детских характеров („Детство“, „Страсти-мордасти“, „Пепе“). В книгах, которые мы привыкли включать в золотой фонд нашей литературы, советских детей нет.

Только через узкую лазейку одной темы проникли советские ребята на широкую литературную арену. Тема эта—беспризорность. Ей были посвящены несколько книг, несколько сценариев. На время они нашли своего читателя—тема была очень остра и актуальна, затем о них справедливо забыли. Почти все эти вещи были настолько поверхностны и слащавы, что о них можно было бы и не вспоминать, если бы не появление нового романа на эту же тему.

„Возвращение“—первый напечатанный роман молодого писателя. Но при всей своей неискушенности и незрелости автор сумел раскрыть свою тему гораздо глубже и правдивее, чем его более опытные предшественники. Роман является результатом практического изучения жизни беспризорных, тернистые и извилистые пути которой были пройдены Олесовым. Вот почему писатель сумел показать типические стороны жизни беспризорника, сумел раскрыть не только социальные и экономические корни этого явления, но и некоторые его типичные субъективные причины и проявления. А главное—он сумел нарисовать типичные характеры, которых не было ни в „Республике Шкид“, ни в „Странниках“ Вяч. Шишкова.

Центральная фигура романа—рядовой советский мальчик по имени Валетка. Оторванный в годы гражданской войны от семьи, потерявший убитого белыми отца, он, вернувшись к матери, не находит душевного внимания и ласки, потребность в которых у десятилетнего мальчика очень велика. Детски-наивные романтические представления о действительности, жажда новых впечатлений и деятельности толкают Валетку на побег из дома. Самолюбие и упрямство не позволяют ему вернуться домой после первых разочарований—раскаяния инициатора побега его товарища Петьки, голода и холода. Валетка остается на улице, и жизнь поворачивается к нему самыми темными своими сторонами.

Валетка поочереди попадает в руки „вольной“ шайки, ночующей в подвалах, в „школу“ карманных воров, в компанию старого цыгана, увлекательно рассказывающего о вольной таборной жизни, но на деле оказывающегося хитрым корыстолюбцем. Романтическая тяга к приключениям и поэтические представления о „шикарной“ жизни воров и налетчиков сменяются суровой прозой отталкивающей действительности, отвратительными картинами морального разложения, жестокости и беспощадной эксплоатации мальчика жадными и жестокими подонками старого мира.

Каждое столкновение с этими людьми приносит Валетке очередное разочарование.

Встретив маленькую девочку, потерявшую на улице мать, он воображает себя замечательным сыщиком, который в два счета ликвидирует эту трагедию. Но на практике наш герой оказывается совершенно беспомощным, он не умеет обращаться с маленькими детьми и только случайно после долгих и утомительных поисков попадает в знакомый ребенку район. Оказывается, что девочка сама находит свой дом, а еще проще было бы сразу отвести ее в милицию. Эта сцена написана с большой теплотой и юмором.

Лавочник, поймавший голодного Валетку, заставляет его объесться пирожными до тошноты, до рвоты. Добрая женщина, согласившаяся приютить бездомного парнишку, пытается развратить его. Шаг за шагом Валетка принужден отказываться от своих наивно-романтических представлений о жизни. И больше того—шаг за шагом он разочаровывается в людях.

Дело не в том, что, вместо великодушных джентльменов-бандитов и блестящих авантюристов, Валетка сталкивается лишь с мелкими ворами. Дело не только в том, что все, с кем встречается Валетка, издеваются над ним и обманывают его. Причина разочарования серьезнее и глубже; она заключается в том, что Валетка везде обнаруживает душевную опустошенность и жадность к деньгам, неприкрытое стремление к наживе как к главной цели и жестокую эксплоатацию более слабых.

„Школа“ воров оказывается коммерческим предприятием, в котором ученики должны обогащать своего учителя и хозяина. Те, кто не оправдывает возложенных на них надежд, кто не приносит достаточной добычи, подвергаются утонченным пыткам. И если ученики этой „школы“ являются послушными марионетками в руках учителя, то сам он в свою очередь находится в кабальной зависимости у скупщика краденого—богатого нэпмана.

Вор—бесчеловечный собственник. К этому выводу, к сожалению, не всегда ясному для авторов очень многих книг о воровской жизни, приводит Валетку жизнь. Воровская жизнь коверкает, опустошает и губит людей—в этом Валетка убеждается на примере не только старших воров, но и своих товарищей по „школе“. Лучший из них, Митька-Москвич, говорит, что он устал, что он все видел, только все плохо.

Жестокая правда действительности может сломить слабую натуру. Панический страх перед „всемогущим“ хозяином „школы“ Арефием Минаретом и его женой, садисткой Калистой, держит в рабском повиновении почти всех учеников. Но Валетка находит в себе достаточные

силы для сопротивления. Он отвергает то, что внушает ему отвращение, он осмеливается протестовать, он помнит отца-красногвардейца, убитого „буржуями-пирожниками“. Мечта о карьере знаменитого вора уступает место тяге к полезной деятельности, но переход к ней сперва кажется ему недоступным.

Верить нельзя никому—говорит жизненный опыт Валетки. Но в своих скитаниях он встречает не только представителей уголовного мира, извращенных людей и оголтелых собственников. Валетка сталкивается с настоящими советскими людьми, по-товарищески внимательными и заботливыми. Пройдя через школу воровской жизни, разубедившись в призрачном очаровании „вольности“ и легкой наживы, Валетка обращается к этим людям. Если раньше он по-мальчишески отбрыкивался от картошки, которую должен был чистить в военно-морском училище, то теперь он мечтает о трудовой жизни равного среди равных.

Олесову удалось избежать традиционной схемы изображения беспризорничества. В романе нет трафаретной „перековки“, вместо нее показана попытка преступной среды переделать на свой лад советского мальчика. Но эта попытка обречена жизнью на неудачу. Мальчик не становится уголовным преступником, он мужает и отказывается от ребяческих иллюзий. И надо отдать справедливость автору, он сумел показать „возвращение“ своего героя без натяжек, естественно, убедительно.

Тема „улицы“ и беспризорности давно разработана в буржуазной литературе и имеет свои традиции. У Валетки имеется немало литературных предков, правда, неизвестных Олесову, но, тем не менее, довольно близких его герою. Вспоминается классический „Оливер Твист“. Стойкость духа и моральная чистоплотность Оливера Твиста никем не воспитаны, ничем не обусловлены, кроме „благородного“ происхождения. Благие стремления его находят лишь случайную поддержку в благотворительности добродетельных и богатых филантропов. Валетка, в противоположность герою Диккенса, не рождается с определенными чертами характера, они у него складываются под влиянием окружающей ребенка социальной среды. И само „возвращение“ его не обусловлено случайной благотворительностью, оно обеспечено всей советской социальной системой, для которой так характерна забота о детях и внимание к ним.

Основная заслуга Олесова, позволяющая говорить об удаче первой его книги,—реалистический показ жизни беспризорных, безжалостное разоблачение романтического покрова, часто набрасывавшегося искусством на эту суровую, жалкую и в сущности никак не „вольную“ жизнь. Показав быт беспризорных и воров глазами честного и активного ребенка, наблюдательного и трезвого вопреки своим романтическим иллюзиям, Олесов сумел преодолеть штамп экзотики, до сих пор подменявший глубокое проникновение художников в суть этих явлений. В „Возвращении“ Олесов полемизирует не только с наивностью своего героя и его сверстников, но и с лживой экзотикой многих книг. Каждый читатель выносит от этой книги величайшее отвращение к уголовной „романтике“, разоблаченной Олесовым с большой страстностью.

Роман написан довольно неровно, и образ Валетки поэтому не получился таким законченным и четким, каким хотелось бы его видеть.

Прежде всего надо отметить некоторую узость угла зрения писателя, ограниченность в выборе освещаемых сторон характера Валетки Читатель мало узнает об уровне культурного развития мальчика, об его политическом кругозоре, об его интересах. Неизвестно, что он любил читать, кроме книг о сыщиках, и что уже прочитал. Нужно указать также на неясности в композиционной структуре романа: течение времени в нем представляется гораздо более медленным, чем это требуется по быстроте трансформации Валетки и его возмужания. Хотя в романе указаны некоторые даты, но совершенно неожиданным является превращение десятилетнего мальчика, каким он выведен в начале книги, в умудренного опытом юношу, пережившего уже любовное приключение.

Недостаточно полно раскрыты психологические мотивы бегства Валетки из дома, причины отсутствия у него дома дружеской, ласковой атмосферы. В отношении его с матерью внесен слишком явственный оттенок слабо мотивированного психологического надрыва. Следы некоторого преувеличенного внимания к болезненным психическим явлениям легко заметить и в других частях романа.

Наконец, серьезным пробелом является отсутствие показа школы, ее влияния на формирование характера Валетки и т. д.

Однако, все эти недостатки, причиной которых явилась незрелость писателя, не заслоняют многих художественных достоинств романа. Олесов показал себя внимательным и тонким наблюдателем, он умело развернул свой сюжет, сумел найти выразительные детали, которые хорошо аккомпанируют психологическому лейтмотиву „Возвращения“. Так, очень хорошо найдена гитара, с которой связан ряд значительных для Валетки эпизодов, картошка, покупки, сделанные Валеткой для Ольги, и др.

Второстепенные персонажи романа обладают резко очерченными индивидуальностями. Олесов и здесь сумел избежать трафарета, сумел показать не стандартные контуры карманников и „шпаны“, а содержательные образы людей, отличающихся характерами, интересами. Одна из наиболее запоминающихся сцен романа—скупой рассказ Митьки-Москвича о своем страшном прошлом. Трагическая судьба этого сильного и своеобразного мальчика, опустошенного насилием окружающих, не противоречит судьбе Валетки, не искажает замысел автора, а лишь оттеняет его, подчеркивает правильность пути, выбранного Валеткой.

Очень красочна фигура бывшего генеральского денщика, профессора карманного воровства Арефия Минарета. Арефий муштрует своих учеников, он мечтает о настоящей воровской академии, о том, что он воспитает всемирно-знаменитого, неуловимого вора, который принесет ему богатство и славу. И в то же время Арефий мелочно жаден, труслив, он всецело находится в руках скупщика, лебезит и унижается перед ним.

Живописна, по-своему обаятельна для романтически настроенного мальчика фигура цыгана Батро Христова, который вызывает последнюю вспышку мечтательных стремлений Валетки. Старый цыган увлекательно говорит о таборном приволье, он прогоняет псевдоцыганский хор в ресторане, и поет сам волнующую настоящую цыганскую песню. Ста-

рик умело заинтересовывает Валетку своими мечтами о коне, за которым ему рисуется перспектива постоялого двора и зажиточного хозяйства с несколькими работниками. Когда и за этой красочной маской обнаруживается подлинное лицо эгоиста-собственника, пытающегося обмануть и эксплоатировать Валетку, мальчик переживает окончательный крах детских иллюзий.

Даже малолетние ученики Арефия Минарета, находящиеся в одинаковых условиях, равно нивеллирующих их индивидуальности, непохожи у Олесова друг на друга и воспринимаются как самостоятельные образы. Лучше других очерчен бледный и покорный судьбе Сова, который попадает в колонию, оживает и кладет решающий груз на чашу весов, тянущую Валетку к трудовой жизни.

Как и центральный образ романа, все второстепенные персонажи написаны с заинтересованностью в их судьбе. Личное отношение автора, теплое участие по отношению к одним и злоба по адресу других проникают весь роман.

Наконец, почти всегда беспретенциозен и выразителен язык романа. Олесов владеет диалогом и искусством индивидуализации речи, ему удаются лаконичные и реалистически-образные описания. Несмотря на специфический материал, язык не засорен блатным жаргоном. Писатель проявил в этом отношении большой такт.

Появление „Возвращения", рождение нового писателя—несомненная литературная удача. Олесов не исчерпал в этой книге запас своих наблюдений и впечатлений, от него можно ожидать многого и больше того, что он сумел дать в своем первом произведении. Но, ожидая новых его работ, хочется заранее предупредить молодого писателя, что он не должен замыкаться в узком кругу воровской темы. Правда, эта тематика еще актуальна в известной мере, она далеко не исчерпана в нашей литературе, а, наоборот, зачастую принижена и опошлена, но вряд ли стоит делать ее основным руслом своего творчества.

Груз жизненного опыта, образы изученного им мира довлеют над писателем, требуют выхода для себя. Дать им выход, творчески выразить их—следует. Но одновременно надо помнить о другой, большой и значительной жизни, надо изучать ее и работать над нею как над материалом для дальнейшего творчества.

Олесов посвятил „Возвращение" своему сыну, „который никогда не будет беспризорным". Вот об этих новых советских ребятах, которые не будут беспризорными в стране победившего социализма, о наших прекрасных мальчиках и девочках, о веселом племени, которому принадлежит будущее,—о нем нужно писать гораздо больше, чем о мрачных фигурах, уходящих в прошлое. Создание полноценных образов советского ребенка—вот одна из значительных и неотложных задач нашей литературы.

МАСТЕР РУССКОГО РОМАНА

А. Рыбасов

Среди русских писателей-реалистов XIX века, изображавших дореформенную жизнь, Гончаров выступает как крупный романист. Созданные им реалистические образы и превосходный художественный язык по достоинству ценятся нашей современностью. Гончаров, как и Тургенев, сделал много в выработке русского литературного языка. Романы Гончарова широко читаются в нашей стране. До сих пор они сохраняют свое познавательное значение. По ним безусловно мы также образовываем и свой эстетический вкус.

В настоящее время советская общественность отмечает 125-летие со дня рождения творца „Обломова". Это послужит стимулом дальнейшего изучения литературного наследства писателя и внесет коррективы в литературно-критические представления о нем, отличавшиеся всегда большим разнобоем.

В старом литературоведении для одних Гончаров был просто „загадочен" как художник. В одном из журналов начала 90-х годов писалось, что будто бы Гончаров „не поддается доныне критическому пониманию". Другие утверждали, что Гончаров—„идеолог натурального хозяйства и крепостного труда", „alter ego"—двойник Обломова („Гончаров-Обломов").

Одно время чрезвычайно одиозные взгляды на творчество Гончарова развивал Переверзев. Общеизвестно, что в своей знаменитой „трилогии", т. е. трех романах—„Обыкновенная история", „Обломов", „Обрыв", Гончаров дал изображение помещичьего быта, создал типичный облик русского помещика XIX века. Как можно сомневаться, что Обломов—помещик? (Кстати сказать, В. И. Ленин в своих статьях не раз говорит об Обломове именно как о помещике.) Переверзев же придумал нелепый софизм. Он отверг факт, что Обломов—помещик. По его мнению, все образы Гончарова, как и он сам,—„вариации одного и того же образа патриархального буржуа". Что касается Волохова, то он якобы также является „новой вариацией обломовского типа", а нигилизм—„локализацией психологической неприспособленности буржуа к новой общественной роли". От профессора ускользнула демократическая сущность так называемого нигилизма и антидемократическая установка художника по отношению к образу Волохова.

Говорилось еще в критике, что Гончаров „целиком патриархален" или что он „несомненный консерватор".

Не искоренены до сих пор в литературоведческих работах о Гонча-

рове пережитки вульгарного социологизма, научная объективность которого—мнимая. На поверку она оказывается худшим субъективизмом. В одном случае, ссылаясь на либеральные взгляды писателя, в Гончарове во что бы то ни стало хотели видеть художественного идеолога крупной культурной русской буржуазии. В другом—охарактеризовать Гончарова только как автора „охранительного" романа, подводя „Обрыв" без оговорок под марку „антинигилистического", „охранительного" романа, наряду с „Взбаламученным морем" Писемского, „Некуда" Лескова и т. д.

Чтобы хоть в какой-то степени правильно оценить художественное наследство Гончарова как классика русского романа, нужно учитывать тот факт, что историческое и художественное значение его образов и картин, его художественное дарование шире и глубже его общественных взглядов, хотя, конечно, не могло не испытывать на себе их влияния.

Гончарова, как и всякого большого художника, говоря словами Белинского, „уловить... в какое-нибудь коротенькое определение трудновато", что вовсе не означает, что здесь вообще нельзя достигнуть определенности в идейной характеристике писателя.

* * *

Не разделяя позиций дворянской реакции в литературе, Гончаров, вместе с тем, отрицательно относился к „новым реалистам", к писателям революционной демократии. Не кто иной, как сам Гончаров, сказал, что „хуже Волоховых быть ничего не могло". Однако, характеристика литературной позиции Гончарова вовсе не исчерпывается указанием на этот факт. В своем общественном и творческом развитии Гончаров проделал эволюцию. Социально-бытовые условия, окружавшие Гончарова, несомненно, оказали огромное влияние на характер и деятельность писателя. Гончаров был выходцем из дореформенной буржуазии (купечества). Но только в детстве он испытал на себе это материальное преимущество. Всю остальную жизнь он вынужден был служить чиновником и трудиться как писатель-профессионал.

Художественное образование Гончарова поражает своей обширностью. Гончаров прославился как один из крупнейших русских романистов, но он бывал тонким и глубоким критиком своих и чужих вещей, умел верно и трезво судить о живописи, музыке, театре. Творческие интересы и способности Гончаров выработал в себе в результате многолетней систематической упорной самообразовательной работы. Упорство, присущее его характеру, он переносил в литературную деятельность. „Служу искусству как запряженный вол",—говорил он о себе. Он откровенно и глубоко, на всю жизнь любил литературу и отдался ей. Если чем он и бывал счастлив в своей жизни, так этим своим призванием.

Весьма укоренившееся представление о Гончарове как о самоудовлетворенном чиновнике-бюрократе, обломовце,—совершенно неверно. В письмах знаменитого нашего романиста, как опубликованных, так и еще неизданных, можно найти многочисленные заявления о том, что ему ненавистна казенщина и бюрократизм, что он страдает как художник от условий своей жизни и деятельности, будучи материально подчинен необходимости служить.

В Петербурге Гончаров был писателем и чиновником, но, вырываясь за границу,—исключительно литератором. Все свои образы, типы, творческую фантазию Гончаров черпал из русской жизни и был глубоко русским писателем, но большую часть своей творческой работы мог выполнять только за границей.

„Там порядки лучше,—говорил он Н. И. Барсову,—спокойнее и свободнее живется“ („Ист. вестн.“ № 12, 1891 г.).

В годы молодости мировоззрение Гончарова характеризуется бодростью, ему чужды мотивы дворянского пессимизма. „Я свободный гражданин мира“,—восклицал он („На родине“).

В 50-х годах Гончаров стал уже ощущать социальную неудовлетворенность русской действительностью. В письме к Языковым от 1852 г. он одним из фактов, „которые мешают свободно дышать“, называет „недостаток разумной деятельности и сознание бесполезно гниющих сил и способностей“.

Отдавая предпочтение „легальным возможностям“, высказывая нечто, напóминающее „прусский“ идеал общественного развития, романист частично понимал причину русской отсталости:

> Но ведь (как я показал в Обломовке) обломовщина—как эта, так и всякая другая—не вся происходит по нашей собственной вине, а от многих, от нас самих „независящих“ причин! Она окружила нас, как воздух, и мешала (и до сих пор мешает отчасти) итти твердо по пути своего назначения, как бы сделал я в Англии, во Франции и Германии („Обыкновенная история“).

Обострение классовой борьбы в России подрывало у писателя надежду на общественную гармонию, породило у него мотивы растерянности.

> Вообще у нас много какого-то разлада, нет той совокупности, слитности силы элементов, дающей такую крепость, например, Пруссии,—писал Гончаров Е. Толстой в 70-х годах.

Идеал общественного развития Гончаров усматривал в преобразовании „путем реформ“, в сотрудничестве всех классов, в помощи дворянству со стороны всех классов, в гармонии общественных интересов.

Любовь к нравственным и эстетическим достижениям культуры дворянства заставляла художника относиться со снисходительностью и теплотой к гибнущим и страдающим представителям ее. Это очарование духовной культурой дворянства объясняется тем, что в России, как и в Пруссии, говоря словами Ленина, помещик никогда не выпускал из своих рук гегемонии и „воспитывал“ буржуазные слои общества по образу и подобию своему.

Гончаров, однако, понимал, что буржуазное развитие страны—это факт, что невозможно и опасно сохранять натуральный тип хозяйства, крепостничество.

Гончаров безусловно поднялся над дворянскими „гуманистами“ эпохи „торжества фразы“, дворянскими либералами 40-х годов. Он критиковал все виды дворянской романтики (в Адуеве, Обломове, Райском).

Тут Гончаров был заинтересован и мог говорить много правды. Именно эти моменты, эти стороны его творчества особенно богаты

объективностью и реализмом. Именно здесь он достиг самой высокой художественной типичности своих образов.

Через критику всех видов дворянской романтики Гончаров косвенно произносил свой приговор старой жизни, крепостничеству. Даже в „Обрыве" художник, несмотря на элементы идеализации помещичьей патриархальности, нравственных достоинств дворянства и крайне субъективистского изображения демократии в лице Волохова,—несмотря на все это, оставался верен себе как автор „Обломова", продолжая линию своего „критического реализма" в изображении Райского.

* * *

Характеристика литературной позиции Гончарова не исчерпывается вовсе указанием на его отрицательное отношение к революционной демократии в „Обрыве".

В литературе 40—50-х годов „Обыкновенная история" и „Обломов" сыграли свою положительную, прогрессивную роль. Белинский, прочитав (еще в рукописи) „Обыкновенную историю", с особой поспешностью отозвался на нее в печати, назвав роман „одним из замечательных произведений русской литературы", расценив его как „страшный удар романтизму, мечтательности, сантиментальности, провинциализму". Добролюбов одобрительно отозвался об „Обломове", подчеркнув, что роман, несмотря на все свои недостатки и ошибки автора, имеет „гораздо более общественного значения", нежели все так называемые обличительные повести. Говоря, что в истории Обломова „отразилась русская жизнь", что „в ней сказалось новое слово нашего общественного развития", что слово обломовщина—„служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни", Добролюбов вовсе не имел в виду сказать, что русский народ весь заражен обломовщиной, является „нацией Обломовых", как клеветал подлый враг этого великого революционного народа Бухарин.

Добролюбов увидел в типе Обломова—страшный удар по либерализму, по фразе, по инертности, по лицемерию и лжи либералов, по мнимой готовности либералов защищать интересы угнетенного народа, по двурушничеству.

Кого же имел в виду Добролюбов, называя слово обломовщина?

> Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности,—я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
>
> Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он—Обломов.
>
> Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов.
>
> Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что, наконец, сделано то, чего мы давно надеялись и желали,—я думаю, что это все пишут из Обломовки.
>
> Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с не-

> уменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода,—я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку...—

так писал Добролюбов в своей знаменитой статье „Что такое обломовщина".

Высказывания Белинского и Добролюбова—классиков русской революционной критики—очень важны для нашей современности. Они очень верны и свидетельствуют об их изумительной прозорливости.

* * *

„Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии",—писал Белинский в 1848 г. В этом факте он видел огромную победу реализма, как исключительного обращения искусства к действительности. „Это самый широкий, всеобъемлющий род поэзии",—говорил о романе критик и именно в этой связи рассмотрел первый роман Гончарова. Позже сам автор „Обыкновенной истории" неоднократно подчеркивал, что именно в роман уходит все, вмещается вся жизнь, что роман позволяет художнику давать не только объективные изображения действительности, но и давать простор лирическим настроениям автора.

Гончаров, прежде чем создать реалистический роман, т. е. роман, критически изображавший определенные стороны жизни, прошел весьма длительный путь развития, проделал своеобразную творческую эволюцию. У Гончарова были опыты в переводах, в поэзии. Он писал полуромантические и юмористические повести („Счастливая ошибка", „Лихая болесть" и т. д.), в которых уже намечались сюжетные и типовые черты будущих романов.

Романы Гончарова представляют собой тип социально-бытового „семейственного" романа, традиции которого сложились на Западе раньше, чем в России.

Из образцов западной реалистической литературы Гончаров имел возможность брать уроки объективного и живописно-детального, тщательного изображения быта, обстановки, в которой приходится действовать героям. Но прежде всего своими основными образами романы Гончарова входят в могучий поток русской литературы. Гончаров обязан Пушкину и Гоголю не только образами, но и художественным языком, который так высоко оценил Белинский („язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся").

* * *

Прогресс в искусстве Гончаров связывал с прогрессом в науке, промышленности, обществе, прямо заявляя, что „искусство отставать от них не может", что оно тоже, как и наука, призвано „довершать воспитание и совершенствовать человека", „учит чему-нибудь"... Говоря, что литература — это „просвещение вообще", писатель, вместе с тем, настойчиво отстаивал всегда образную природу искусства.

Гончаров выдвигал объективность, как основной принцип художественности, советовал другим изображать жизнь, а не тенденцию или

софизм. Но, вместе с тем, он признавал идейность таланта и отвергал как „ничего не выражающую фразу“ лозунг „искусство для искусства“. „Искусство для искусства“—бессмысленная фраза...“—говорит он в неизданном очерке об „Обрыве“. По мнению писателя, даже самая прекрасная техника, форма не прикроют скудости содержания. Он всегда заботился „о добывании содержания“. Как художник Гончаров был очень взыскателен к себе и другим, когда дело касалось литературы. Будучи убежденным противником всякого формализма, он даже в самую „отделку“ вкладывал „половину труда“, называл себя тружеником, говоря, что литература поглощает, требует художника всего. С большим укором он говорил, что „мы сами продолжаем относиться к своему языку небрежно: в этом состоит громадная наша ошибка...“ Художник не хвастал, когда, имея в виду лучшие свои картины и образы, говорил: „Отвожу много простора разумному и трезвому реализму“.

Придерживаясь „гласности“, признавая право на „обличение“, писатель требовал, чтобы литература изображала правду, избегала односторонности: „изображать одно хорошее, светлое, отрадное в человеческой природе—значит скрадывать правду, т. е. изображать неполно и поэтому неверно. А это будет монотонно, приторно, сладко. Света без тени изобразить нельзя...“ Поэтому искусство, по его мнению, должно представлять человеку „нельстивое зеркало его глупости, уродливостей, страстей, со всеми последствиями, словом—осветить все глубины жизни, объяснить ее скрытые основы и весь механизм“ (из крит. очерка. „Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“).

Будучи крупным мастером реалистического романа, Гончаров естественно отводил большое внимание теории реализма, говоря, что „реализм есть одна из капитальных основ искусства“ и состоит в том, что художник должен „вносить жизнь в искусство“. Однако, он считает необходимым сделать оговорку. Не такой уж, мол, он поклонник реализма, чтобы не допускать „отступлений“ от него. Он боится, что в угоду реализма пришлось бы слишком ограничивать или, того хуже, устранять фантазию. На основании этого художник полагает, что его реализм—это „не тот реализм“, который проповедует новейшая школа за границей „и отчасти у нас“. Здесь Гончаров имеет в виду не только западных натуралистов, но и русских демократических писателей, которые якобы стремятся ликвидировать разницу между искусством и наукой, отвергая такие „пособия“ художественности, как фантазия, юмор, типичность и т. д.

Особенные разногласия с „эстетиками из новых поколений“ у Гончарова были по вопросу о том, какую жизнь должен изображать художник. Как в теории, так и в практике Гончаров определенным образом ограничивал понятие жизни, могущей быть художественно изображенной в искусстве. Закон объективного творчества (sine ira) он основывал на требовании изображать только жизнь установившуюся и брал жизнь не как процесс, а как данность, в лучшем случае—как замедленный процесс. Жизнь, „кишащую заботами нынешнего дня“, романист не признавал достойной моделью искусства.

Гончаров убежденно заявлял, что в „великую эпоху реформ искусству не над чем остановиться“, старые художники „дописывают“ старую жизнь и прежних людей (новых еще нет), что „искусство,

серьезное и строгое, не может изображать *хаоса* разложения", что это дело „низшего рода" литературы—эпиграммы, карикатуры, сатиры. Истинное произведение искусства отражает только „устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе".

Искусство интересуется только тем, что вошло в „*капитал*" жизни. С „*новой нарождающейся жизнью оно не ладит*" (из писем к Достоевскому), изображать ее — это дело, мол, „публицистов" типа Щедрина.

Все это весьма точно соответствует художественной практике Гончарова и позволяет сказать, что реализм Гончарова — это реализм „совершившегося цикла". Все три романа его отражают в основном дореформенную жизнь. Старую жизнь он умел изображать; новая жизнь решительно не давалась романисту, который не раз признавался в том, что с „современными типами русского общества вовсе не знаком", изображал только то, что знал основательно и что мог воспроизвести из прошлого силою своей фантазии, предубежденно относясь к пристальному наблюдению современной действительности. Именно в силу этого Гончаров развивает чрезмерную апологию фантазии перед действительностью. Следует вспомнить, что Чернышевский, как раз наоборот, страстно проводил „апологию действительности перед фантазией", толкая тем самым писателя, художника на живую связь с современностью. Позиция Гончарова в одном случае обеспечила ему определенные успехи в изображении старой жизни, в создании типических образов, имевших уже традицию в литературе (Обломов), но решительно оказывалась ограниченной при изображении новых типов (Волохов). Это безусловно эстетическое выражение консервативности взгляда писателя, видевшего подлинно новое поколение и новую жизнь не в лице революционной демократии, а в делах и людях „реформ". Ошибка Гончарова состояла также в том, что осознание особенностей своего творчества он переносил на осознание природы и задач искусства вообще.

* * *

Гончаров чрезвычайно интересовался проблемой типичности в искусстве. В типе, в типичности Гончаров видел результат правдивого отражения действительности. „Если образы типичны,—читаем мы в „Лучше поздно, чем никогда",—они непременно отражают на себе — крупнее или мельче—и эпоху, в которую живут, оттого они и типичны, т. е. на них отразятся, как в зеркале, и явления общественной жизни, и нравы, и быт".

Какие же особые условия, по мнению Гончарова, нужны, чтобы образ стал типом? Прежде всего под типом он разумеет „нечто очень коренное и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений". Образ становится типом с той поры, когда он „повторился много раз или много раз был замечен, пригляделся и стал всем знакомым". Не следует поэтому,—советует писатель,—изображать те явления, о которых неизвестно, „во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время". По поводу одного персонажа в „Складчине" Достоевского Гончаров писал: „Если зарождается, то еще не тип".

Совершенно очевидно, что Гончаров и тут остается верен своей теории.

В вопросе о характере Гончаров вполне следует западным реалистам (Бальзаку, Диккенсу). Он настойчиво выдвигает значение среды и создает тип „Обломов" как прямое продолжение и продукт среды.

Гончаров стремился по-своему синтезировать творческие достижения Гоголя и Пушкина, прямо говоря, что от них, т. е. от Пушкина и Гоголя, в русской литературе еще пока „никуда не уйдешь". Однако, в 60—70-х годах, когда Гончаров сильно поправел в своих общественных взглядах, он ясно стал сознавать свое несогласие с „критическим" реализмом Гоголя. Нигилизм был поставлен в прямую связь с гоголевским направлением литературы, с тем, что литература еще не сошла с „пути отрицания", какое началось с Гоголя, а, наоборот, усилило и углубило эту тенденцию. Лично Гончаров заявлял, что он стремится к выработке „положительного" отношения к действительности.

Изучение неопубликованных материалов Гончарова дает возможность ставить вопрос о позитивистской сущности эстетических взглядов Гончарова. Ярким проявлением позитивистского отношения к действительности были очерки Гончарова („Фрегат Паллада"). Как успех позитивно-реалистического мышления следует оценить статью Гончарова о картине Крамского „Христос в пустыне". „Бессильно становится искусство,—пишет он,—когда оно вздумает из человеческих границ вступить в сферу чудесного, сверхъестественного".

Гончаров был очень внимателен к фактам развития буржуазии и очень последовательно в своей деятельности проводил линию защиты достоинства этого класса от высокомерия аристократических кругов (критическая статья об Островском).

В своих романах Гончаров показал окончательный итог „слабого" характера „лишнего человека", конец тургеневских „безвыходных положений" и взамен этого вывел тип культурного буржуа и капитализирующегося помещика. Романиста также увлекала поэзия частной (семейной) жизни, поэзия любви. Гончаров уделил очень большое внимание теории страсти, следуя западным реалистам.

* * *

Старая Россия, та полоса исторической жизни, которая была обрисована Гончаровым, давно отошла в прошлое. Но в его художественном наследстве есть то, что не отошло в прошлое. Наследство Гончарова, как и наследство других классиков, берет и над этим наследством работает наша современность. Гончаров создал образ Обломова, обломовщины, и то, какое значение этот образ имел в истории, свидетельствует о высоких типических достоинствах его.

К творчеству Гончарова неоднократно обращался Ленин, клеймя понятиями Обломов и обломовщина пережитки прошлого в поступках и психологии людей. Именно имея в виду эти пережитки—в сознании и деятельности людей,—Ленин говорил, что во многих еще „... *старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел*" (В. И. Ленин. Соч., т. XXVII, стр. 177). Сейчас для нас, как и для Ленина, обломовщина является

синонимом „...халатности, безделья, отсталости...“ (т. XXVII, стр. 36). Ленин подчеркивал политическое значение борьбы с обломовщиной, говоря, что обломовщина „губит дело.“ (т. XXVII, стр. 160), и требовал от настоящего демократа и коммуниста умения различать и отметать „гнилые барски-обломовские иллюзии“ (т. XVI, стр. 132), т. е. быть бдительным.

Творчество Гончарова до сих пор, в силу своих реалистических достоинств, не утеряло практического значения. Оно помогает нам узнавать прошлое, порождая в массах желание до конца искоренить пережитки старой жизни и создать общество без эксплоатации человека человеком.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

К 20-й годовщине Октябрьской социалистической революции Государственное издательство „Художественная литература" при СНК РСФСР объявляет конкурс на лучшее художественное произведение: повесть, рассказ, посвященные событиям Октября 1917 года.

Произведение, отвечающее требованиям конкурса, идейно и художественно должно стоять на высоком уровне.

Условия конкурса не ограничивают творческих замыслов авторов, которые пожелают принять участие в конкурсе, и ни в какой степени не предрешают выбора места действия, действующих лиц и размера описываемых событий.

Условия конкурса заключаются в том, чтобы были правдиво, ярко и красочно отражены события октябрьских дней 1917 года в стране: подготовка к перевороту, вооруженное восстание, завоевание власти, события на фронте, руководящая роль партии большевиков в революционной борьбе трудящихся масс города и деревни, роль тт. Ленина и Сталина как непосредственных руководителей подготовки и проведения вооруженного восстания и установления власти Советов.

Размер произведения не должен превышать 3 печатных листов.

Устанавливаются премии:

Две первых премии — по 6 тыс. рублей.
Три вторых „ „ 4 „ „
Пять третьих „ „ 2 „ „

Произведения, получившие премию, а также одобренные жюри, будут изданы Гослитиздатом с оплатой гонорара (кроме премии) в обычном порядке.

Последний срок представления рукописей — 1 июля 1937 года. Результаты конкурса будут объявлены не позже 1 сентября 1937 года.

Произведения представляются на конкурс без имен автора, под девизом.

К рукописи должен быть приложен запечатанный конверт с тем же девизом, — в конвертах авторами даются краткие сведения о себе и адрес.

Рукописи направлять заказными бандеролями в адрес Гослитиздата: Москва, центр. ул. 25 Октября, д. 10/2, Жюри конкурса произведений „Борьба за Октябрь".

Рукописи, не получившие одобрения, могут быть затребованы авторами до 1 октября 1937 года.

ГОСЛИТИЗДАТ при СНК РСФСР.

По всем вопросам о несвоевременном получении журнала „Литературный современник" следует обращаться по адресу: Л-д, ул. Союза Связи, 9. Лен. Отд. Союзпечати.

И. о. ответственного редактора *М. Э. Козаков.*
Редакционная коллегия: *Н. Л. Браун, М. А. Орлов, А. А. Прокофьев, Д. Е. Тамарченко, Ю. Н. Тынянов.*
Технический редактор *Л. Чернецова.*

Адрес редакции: Ленинград „134", Проспект 25 Октября, 28, 3-й этаж, комната 48, телефон 4-90-45. Непринятые рукописи редакция не возвращает.

Тираж 17300. Сдано в производство и подписано к печати 25/IV 1937 г. Бумага печ. 62×94¹/₁₆. Колич. печ. знак. в 1 печ. л. 61600. Печ. л. 17¹/₂, бум. л. 8¹/₄, авт. л. 21,9. Ленгорлит № 1576. Заказ 2458.

2-я типография Трансжелдориздата им. Лоханкова.—Ленинград. Ул. Правды, 15.

2 руб. 50 коп.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1937 ГОДА

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК“

Орган Ленинградского отделения Союза Советских писателей

В журнале будут печататься следующие произведения: Ю. Тынянов — „Пушкин“, Ю. Герман — „Сыновья“ (сценарий), В. Каверин — новая повесть, Мих. Козаков — „Девять точек“, кн. IV, С. Марвич — „Ижорцы“, ч. II, Л. Успенский — „Лошадиная морда“, Б. Эйхенбаум — „Из книги о Л. Толстом“, повести и рассказы.

В октябрьском номере журнала будут напечатаны советские исторические рассказы, материалом для которых послужат историко-революционные события, происшедшие со дня Октябрьской революции до разгрома Учредительного собрания.

Авторы: Ю. Берзин, Юрий Герман, Геннадий Гор, Мих. Зощенко, П. Евстафьев, В. Каверин, Мих. Козаков, С. Марвич, Н. Никитин, Л. Рахманов, Леонид Соболев, С. Спасский, В. Тоболяков, К. Федин, Н. Чуковский, В. Шкловский.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

На 6 месяцев — 15 руб.
На 3 месяца — 7 руб. 50 коп.
Цена отдельного номера — 2 руб. 50 коп.

Подписка принимается всеми отделениями, магазинами, киосками и уполномоченными КОГИЗ'а, Союзпечатью и во всех почтовых отделениях.